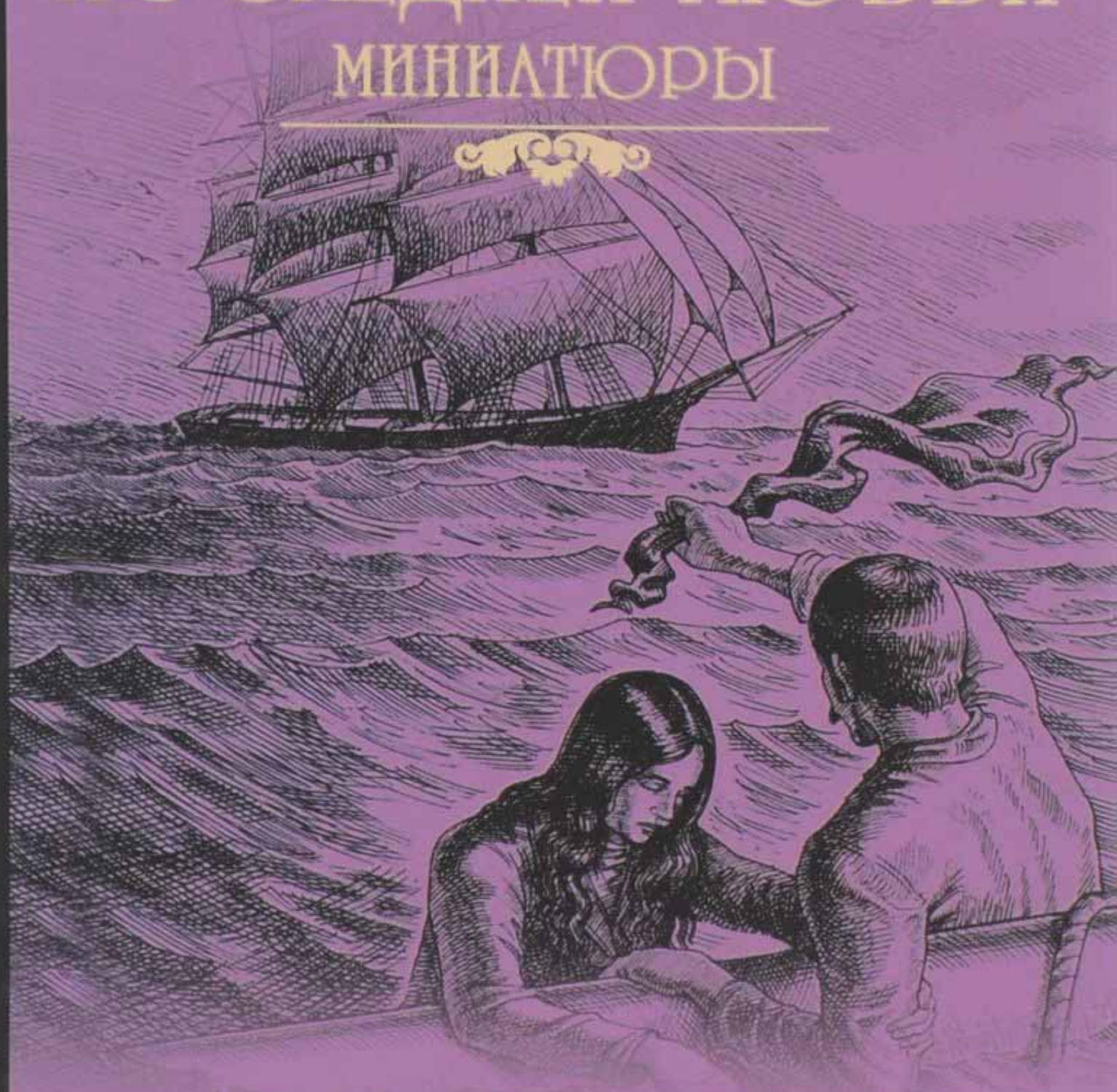


Валентин ПИКУЛЬ



РЕКВИЕМ
ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ
МИНИАТЮРЫ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ
Полное собрание сочинений



РЕКВИЕМ
ПОСЛЕДНЕЙ
ЛЮБВИ

(МИНИАТЮРЫ)



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ФАВОРИТ, книга 1

ФАВОРИТ, книга 2

НЕЧИСТАЯ СИЛА

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ. МИНИАТЮРЫ

СЛОВО И ДЕЛО, книга 1

СЛОВО И ДЕЛО, книга 2

КАТОРГА. МИНИАТЮРЫ

БОГАТСТВО. МИНИАТЮРЫ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

МООНЗУНД

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 1

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 2

ПЕРОМ И ШПАГОЙ

БАРБАРОССА

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 1

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 2

ПСЫ ГОСПОДНИ. ЖИРНАЯ, ГРЯЗНАЯ И ПРОДАЖНАЯ. ЯНЫЧАРЫ

ИЗ ТУПИКА, книга 1

ИЗ ТУПИКА, книга 2

ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ RQ-17. МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ
СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ. ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА. ЗВЕЗДЫ НАД БОЛОТОМ

КАЖДОМУ СВОЕ. МИНИАТЮРЫ

КРЕЙСЕРА. МИНИАТЮРЫ

БАЯЗЕТ

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ. МИНИАТЮРЫ

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ. МИНИАТЮРЫ

РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ. МИНИАТЮРЫ

Валентин ПИКУЛЬ



РЕКВИЕМ
ПОСЛЕДНЕЙ
ЛЮБВИ

(МИНИАТЮРЫ)



Москва • «Вече»

УДК 821 161 1-311 6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ПЗ2

Составление

А.И. Пикуль

Рисунок на обложке

Н.А. Васильева

Пикуль, В.С.

ПЗ2 **Реквием последней любви : миниатюры / Валентин Пикуль ; [сост. А.И. Пикуль]. — М.: Вече, 2015. — 416 с. — (Полное собрание сочинений).**

ISBN 978-5-4444-2987-7

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

Знак информационной продукции 12+

Исторические миниатюры Валентина Пикуля — уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества». Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею блистательных портретов женщин и других колоритных личностей, оставивших свой след в истории XVI — начала XX в.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4444-2987-7

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

© Пикуль В С , наследники, 2015

© Пикуль А И , составление, 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

Быть тебе Остроградским!

Пожалуй, рассказ предстоит обстоятельный... Жил да был в сельце Кобеляки полтавский помещик Василий Остроградский, а чинами не мог похвастать: сначала копиист, потом канцелярист почтамта, — сами видите, невелик прыщ! С женою Ириною имел он особый пригляд за сыночком Мишенькой, что бурно и даже мощно произрастал среди поросят да уток, меж арбузов да огурцов, имея наклонности совсем недетские. Не дай-то бог, ежели где увидит колодец или яму какую — сразу кидался измерить ее глубину шнурком с грузилом, который при себе имел постоянно. По этой причине родители держали его от колодцев подалее, а Мишенька, могуч не по возрасту, рвался из рук родителей, даже плакал:

— Ой, не держите меня! Желаю глубину знать...

А вот зачем ему это надобно, того объяснить не мог, но размеры любой ямы его магически привлекали. Не мог он оторваться от машущих крыльев мельницы, подсчитывая число оборотов, часами, бывало, смотрел, как льется вода над плотиной. Учили его, балбеса, в Полтаве — сначала в пансионе, а потом в гимназии, но Миша педагогов успехами никогда не восхищал, лентяй он был — каких мало! Ему учитель о Пифагоре рассказывает с умилением, а он, экий придурок, шнурком этим самым скамью под собой измеряет. Аттес-

тат Мишеньки блистал такими похвальными перлами: «не учится», «в классах не бывает», «охоты не имеет», «уроков опять не знал»... Можно понять отчаяние родителей!

— Ну, что тут поделаешь? — огорчалась маменька. — Мы ли его не баловали? Мы ли сливок да шкварок на него не жалели? А такой олух растет — стыдно людям показывать.

— Сечь его прутьями! — говорили мудрейшие родственники. — Ежели рыпаться станет, мы согласны держать его на воздушных, а родитель пушай вгоняет в него страх Господень сзади, дабы в нем великий азарт к учению возгорелся...

Думали и додумались: одна Мишке дорога — в кавалерию.

— Там и думать не надо: лошадь его сама в генералы вывезет.

В 1816 году, забрав своего придурка из гимназии, отец повез его прямо в Петербург, угрожая, что, если в гусары не примут, так отдаст в артиллерию — на прожор самому графу Аракчееву. Но по дороге в столицу встретился шурин — Сахно-Устимович.

— Нонеча век просвещенный, — ворковал он. — Сейчас не из пушек палить надобно, а мозгами раскидывать... На что Мишке гусарство? На одно вино с девками сколько денег ухлопает! А ныне в Харькове университет открыли, вот туда и сдай Мишку.

— В университет хочешь ли? — спросил отец сына.

— Нет, не хочу, — отвечал тот браво.

— Тогда поехали... в университет, — решил папенька.

Привез он своего недоросля в Харьков и сдал его в науку, словно в полк какой: авось что-нибудь да получится? Начался странный период жизни юного Остроградского: сначала вольнослушатель, через год и студент по факультету математики, он в точных науках ни бельмеса не смыслил, а навещая отчие Кобеляки, слезно умолял батюшку о военной службе:

— Ладно уж гусары или пушкари — нонеча согласен даже в полк Кременчугский пехотный... маршировать стану.

— Эва тебе! — показывал отец сыну кукиш...

Так бы и далее, наверное, канючил, если бы на втором курсе не поменял квартиру. На этот раз юнца приютил у себя адъютант наук математических Андрей Павловский, которого студенты харьковские «Аристидом» прозвали — за его любовь к справедливости. Стали они совместно математикой заниматься, формулы всяческие разрешая. Павловский, очевидно, был педагогом отличным, ибо Остроградский, лентяй и тупица, каких свет не видывал, вдруг с небывалым жаром проникся познанием науки, от которой ранее он усердно отвращался. Прошло два-три месяца, не больше, и однажды «Аристид» взял квартиранта за уши и... расцеловал:

— Мишель! Прими за истину, что говорить стану. Я едино лишь усидчивостью беру да терпением, знаниями уже достаточно обладая. А ты, знаний в математике не имея, все с налету мигом хватаешь, будто ястреб жалкого воробья в полете, и на любой вопрос, над которым я мучаюсь, отвечаешь сразу. Я-то, мой милый, трудом истины домогаюсь, а ты... ты, братец, творишь!

— Так кто ж я такой? — удивился Остроградский.

— Ты? Ты, братец, г е н и й...

Странности судьбы продолжались. Остроградскому было уже 19 годочков, когда ради получения степени кандидата он сдал одни экзамены успешно, а другие сдавать попросту не пожелал. Не хочу, мол, и все тут, не приставайте ко мне! Сам князь А.Н. Голицын, министр народного просвещения, с высот вельможных, из кресел бархатных указывал, чтобы не рыпался и сдавал все экзамены, но... Об этом, читатель, можно написать сто страниц (не преувеличиваю), можно ограничиться и десятком строчек. Я буду краток: в один из дней Остроградский выложил

аттестат перед синклитом ученых Харьковского университета и заявил, что не желает видеть свое имя в списках студентов:

— А моим аттестатом можете... подтереться!

Родители надеялись, что уж теперь-то их Мишенька согласен служить в пехоте, но Остроградский помышлял о другом:

— Мне, папенька, ехать в Париж нужда приспела.

Отец рассудил об этом желании на поэтический лад:

— Нешто наши кобелякские дивчины плохо для тебя писни спивают? Нешто вальсы парижские нашего гопака милее?

Вырос дитятко под потолок, рычал басом, перечислял имена славные, парижские: Фурье, Лаплас, Ампер, Пуассон, Коши, — возглавлял он ихние лекции в Сорбонне слушать. Зарыдала тут маменька, кручинясь, а отец подумал и... согласился:

— Мишка-то прав: по малому бить — только кулак отшибешь. Езжай, сынок, и затми Париж нашими Кобеляками!

Но возникла сильная оппозиция со стороны родственников.

— Экий бугай! — говорили они. — Любого порося в одночасье под хреном уминает, все у него есть, жить бы ему да радоваться, родителей в преклонности лет ублажая своим сердцелюбием, так нет — ему, вишь ты, еще и Париж подавай!

Вот тут и нашла коса на камень.

— Цыть! — сказал папенька. — Бывать Мишке в Париже, дабы ведали людишки тамошние, что в Кобеляках не под заборами рождаются, не кулаком крестятся и не помоями умываются...

В мае 1822 года сынок отъехал в Париж, и недели не миновало, как вернулся он в Кобеляки — босой и голодный.

— Чего так скоро? — спросил отец.

— Денег твоих, папенька, до Чернигова мне хватило. Сел в дилижанс, как все люди, но в дороге общептали меня пассажиры про-

клятые, весь багаж по кускам раздергали... Велите, папенька, обед подавать. Очень уж я по шпикку с салом соскучался.

— Нет уж! — обозлился отец. — Обедов ты от меня не дождешься. Я тебе еще раз отвую три сотенных и езжай в Париж, как хотел, чтобы сородичи надо мною не изгалялись...

С великим бережением (от воров) Остроградский прибыл в Париж, о чем вскоре известил тишайшие Кобеляки, но сам Париж никак не потряс полтавского дворянина. А папенька, видит бог, тратился на сыночка не зря. Через три года Кобеляки навестил «Аристид» харьковский — профессор Андрей Павловский, радостный.

— Василий Иванович, — сообщил он отцу, — стыдно мне за коллег своих, что проморгали природного гения. А теперь... гляньте! Вот привез я вам журнал Парижской Академии наук, прочитаю я вам, что пишут о вашем сыночке, и поплачем на радостях.

Извещаю читателя: великий Огюстен Коши, перечисляя ведущих математиков Парижа, писал об Остроградском, что этот «молодой человек из России, одаренный громадною проницательностью и весьма сведущий в исчислении бесконечно малых величин, дал нам новое доказательство» в тех сложнейших формулах, над которыми математики Парижа давно и без успеха работали.

— Шутка ли? — вопрошал Павловский. — Над этими интегралами сам великий Лаплас утруждался, а помог-то ему наш Мишель кобелякский. Каково теперь в Харькове читать, что Лаплас, отец небесной механики, зовет Мишеля *mon fils* (мой сын)...

Остроградский в ту пору жил одиноко, сторонясь удовольствий Парижа; часами он простаивал над Сенной, наблюдая за волновым течением воды, и в 1826 году Сорбонна опубликовала его научный «Мемуар о распространении волн в цилиндрическом бассейне». Ученые автора хвалили, а полиция Парижа посадила его в тюрьму

Клиши, ибо Остроградский задолжал «за харчи и постой» в отеле. Огюстен Коши сам же выкупил ученика из тюрьмы, и впредь, чтобы не сидеть на бобовой похлебке, Остроградский устроился надзирателем в учебную коллегию короля Генриха IV...

Настала весна 1828 года. Наш известный поэт Николай Языков был тогда студентом Дерптского (Юрьевского) университета. Однажды, прогуливаясь в окрестностях Дерпта, поэт увидел, что по дороге в город шагает детина громадного роста, будто Гулливер, а сам босой, драный, почти голый. Назвался он учеником великих Коши и Лапласа, следующим из Парижа до Петербурга.

— Вот, — сказал, — от самого Франкфурта марширую... Опять обшептали меня пассажиры проклятые. Видит бог — в пути не воровал, но подаванием мирским не гнушался. Теперь и до Питера, чай, близехонько. А чин у меня такой, что даже кошку не напугаешь: всего лишь коллежский регистратор...

Языков привел Остроградского к себе, русские студенты приодели его, подкормили, и он, довольный, вскинул котомку.

— Побреду далее, — сказал, благодарный. — Ежели генерала из меня не получилось, так хоть профессором стану.

— Послушайте! — окликнул его поэт. — Вы, будущий профессор, а диплом-то из Парижа имеете ли?

— Нет, — отвечал Остроградский. — Из Харькова выкинули без аттестата, из Парижа иду безо всяких дипломов... Бог не выдаст, так и свинья не съест... Спасибо вам за все, люди добрые!

Кажется, чуть ли не первый светский салон, в котором Остроградский появился, был столичный салон княгини Евдокии Голицыной, известной «принцессы Ноктюрн», которая сама была недурным математиком. Между прочим, Михаил Васильевич общества никогда не избегал, был приятным и острым собеседником, лихо танцевал с

дамами, а боялся он только... генералов. Почему так — не знаю, но при генералах он сразу немел, испуганно жался в сторонке, как бы желая остаться в неизвестности.

— Михаила Василич, что вы там жметесь?

— Идите к нам, — звали его.

— Боюсь. Там у вас... генерал.

— Так не крокодил же, не съест.

— Все равно. С генералами шутки плохи...

Думаю, тут срабатывал механизм «Табели о рангах», согласно которой каждый сверчок — знай свой шесток. А шесток Остроградского был весьма шатким: всего-то коллежский регистратор (считайте, гоголевский «Акакий Акакиевич»). А вот еще новость: сразу, как только Остроградский появился в Петербурге, он был взят под негласное наблюдение тайной полиции. Историки не знают, в чем он провинился, но грешен, наверное, был. В секретной переписке на самом высшем имперском уровне мне попала странная фраза: «возвратился из-за границы пешком и сразу обратил на себя внимание некоторыми обстоятельствами». Вот поди ж ты догадайся — что это за обстоятельства? Впрочем, по мнению историков, Остроградский до конца жизни не знал, что за ним и его словами бдительно следят вездесущие прислужники Бенкендорфа...

Ладно! Тайный надзор жандармов не мешал веселиться.

Остроградский очень скоро стал адъюнктом прикладной математики, сначала экстраординарным, а вскоре и ординарным академиком (в возрасте 29 лет). Не по чину, а по уму получил он казенную квартиру из шести комнат, в которых — хоть шаром покати, не было даже стула, чтобы присесть, и наш академик гулял по комнатам, озирая из окон широкие невские просторы. На дрова он тоже не тратился — жилье его казна и отапливала.

— Ух, жарко! — говорил он, похаживая. — Квартира есть, дрова есть, звание есть, деньги есть... Чего же еще не хватает? Ах, Господи, совсем из головы вон: женой еще не обзавелся.

Тут и беда случилась! Как на грех, появились тогда первые спички — фосфорные. Чиркнул одну из них Остроградский, а она — пшик! — и обожгла ему правый глаз фосфором. Остался он с одним глазом, а правый померк на всю жизнь и постоянно источал обильную слезу. Но даже одним глазом Остроградский жену себе высмотрел. Это была Мария Васильевна фон Люцау (так писали до революции, а сейчас ее называют урожденной фон Купфер). Невеста была из лифляндской породы, немочка аккуратная и сдобная, сочиняла стихи, играла на рояле, напевала романсы о муках любовного ожидания, а перед женихом сразу поставила железное условие:

— Согласна быть вашей супругой, если вы не станете докучать мне разговорами об этой противной математике...

И не надо! Не для того люди женятся, чтобы сообща разрешать формулы, а совсем для иных дел, более серьезных. Между тем свой брак Остроградский от родителей утаивал, и в Кобеляках, считая сына холостяком, еще долго перебирали выгодных невест, у которых в приданое готовились хутора с визжащими поросятами. «Хохол щирый», Остроградский о своем украинском происхождении не забывал и, частенько заглядывая на кухню, где орудовала прислужница Гапка, всегда готов был покушать.

— Щедрых-ведрык, — говорил кухарке, — мне бы вареник, грудочку кашки, кильце ковбаски, ще цего мало — дай и сальца!

В 1833 году родился первенец Виктор, за ним дочери — Мария, что потом была в браке Родзянко, и Ольга, ставшая впоследствии генеральшей Папа-Афонасопуло. Отца этого семейства часто осеняло

божественное вдохновение. Рассказывал, что однажды на Невском проспекте, не имея бумаги, он стал записывать математические расчеты на кожаном задке чьей-то барской кареты.

Так увлекся, что вокруг себя уже ничего не видел. Но тут карета тронулась, кучер нахлестнул лошадей, а за каретой, не стыдясь честного народа, долго бежал по Невскому великий академик гигантского роста и орал что есть мочи:

— Стой, сын гадючий! Куда повез мои формулы?..

Конечно, не все в России любили математику и не все русские умели считать, — дело не в этом, а в том, что не было в России людей, которые бы не знали об Остроградском. Полтавский житель П.И. Трипольский, земляк ученого, писал, что «имя это одними прозносилось как образец энергии, с какою он достигнул своей цели еще в молодые годы, а другими — как научный авторитет, равного которому с трудом можно найти в Европе...»

— Голова, — говорили о нем с великим респектом.

Голова была крупная, коротко остриженная, как у новобранца. Иногда надевал золотые очки, а из мертвого глаза стекала слеза. Да, неказист был Михаил Васильевич, нескладен фигурой, зато и колоссален — не только умом, но и всею дородною статью. «Платье сидело на нем мешком, а ноги напоминали слоновьи. Широкое лицо было освещено только одним глазом, но зато умным, пронизательным, даже лукавым...» Пожалуй, ни о ком из русских ученых не осталось столь много живописных свидетельств, как об Остроградском, ибо он был оригинален, как никто другой, поражая людей не только остротой мысли, но и своей, я бы сказал, «топорною» внешностью, чем-то схожий с обликом того Собакевича, каким его изображали русские иллюстраторы.

Каков был Остроградский, судите по такому примеру:

«Офицеры брали его пальто и надевали на себя вдвоем, вставляя по две руки в каждый рукав, застегивали его на себе и так вот ходили, заложив по две руки в каждый карман...»

Остроградский прославил себя как удивительный педагог!

Боюсь, что список учебных заведений, где он преподавал, покажется чересчур громоздким: Главный педагогический институт. Институт корпуса инженеров путей сообщения. Морской кадетский корпус. Военно-инженерная академия и училище. Артиллерийская академия и училище... Заметьте, в этом списке нет университета, которым Михаил Васильевич явно пренебрегал (очевидно, не забывая «харьковской» истории). Но еще он читал публичные лекции для горожан по алгебре, небесной механике, аналитической геометрии и элементарной математике. Писал тоже немало и всегда безбожными каракулями — мало кто мог понимать его почерк.

— Все махоньки люды пагано пышуть... це дурныца!

Настежь отворялись двери в аудиторию. Остроградский входил, грузно оседая в кресле профессора. Долго озирал учеников единым оком поверх золотых очков и начинал лекцию так:

— Ну, Декарты, ну, Пифагоры, ну, Лейбницы, ну... казаки!

Служитель вносил два графина с водою и два стакана с мягкой губкою. Из одного Остроградский пил, во втором мочил пальцы, чтобы протирать вечно слезившийся глаз; потом неизбежно путал стаканы и в любом смачивал губку для стирания с доски формул, а, забывшись, этой же губкой смахивал слезу со щеки. Он не курил, зато нюхал табак, а табакерку всегда забывал дома, и, где бы ни читал лекции, всегда вопрошал аудиторию одинаково:

— Жданов! Где ты? У тебя есть табачок?

Жданова, конечно, и быть не могло. Но всегда находился студент или офицер, согласный побыть в роли «Жданова», угощавший профессора доброй понюшкой. При ученом неизменно состоял поручик Герман Паукер (будущий министр путей сообщения), который иногда и начинал лекцию — вместо профессора, но вряд ли Паукер знал, что о нем говаривал Михаил Васильевич.

— Думают, что математика наука скучная, а главное в ней — умение считать. Это нелепость, ибо цифры в математике занимают самое последнее место, а сам математик — это прежде всего философ и поэт... Я ведь совсем считать не умею! — признавался Остроградский, ошеломля слушателей. — Мои ученики считают лучше меня. А вот я часто путаюсь в цифрах и, если бы экзаменовался по арифметике у того же Паукера, он бы сразу вlepил мне единицу. Но между нами большая разница: я все-таки математик, а вот Паукер никогда им не был и никогда им не станет...

Соответственно таким взглядам он и вел себя с учениками. Остроградский сразу выявлял в аудитории двух-трех человек, будущих «Декартов» и «Пифагоров», для них и читал лекции, остальных же именовал «казаками», к познанию математики неспособными. Одному из таких «казаков» Михаил Васильевич поставил самый высший балл на экзамене.

— Чему дивишься? — сказал он ему. — Ты в интегралах был неучем, таковым и помрешь, я это знаю. Но я ставлю тебе «двенадцать», ибо твои idiotские рассуждения неожиданно навели меня на одну мысль, о какой мне самому никогда бы и не додуматься... Так что, братец, от дураков тоже польза бывает!

Иногда, задумчивый, он приступал к чтению лекции на французском языке, порою же начинал рассказывать великосветские сплетни, а потом, иссякнув в хохоте, подначивал слушателей:

— Господа, может, и вы мне анекдотец расскажете?..

О нем враги говорили, что он просто лодырь, каких свет не видывал, и Остроградскому все равно о чем болтать, лишь бы скорее закончилось время лекции. Так, перед офицерами академий он чаще всего рассказывал о полководцах древности, поражая всех великолепную эрудицией, мастерски рисуя на доске схемы знаменитых сражений. Однажды Остроградский так увлекся битвою при Арколе, что не сразу заметил в дверях появление генерала — начальника военной академии.

— ...и вот, — громыхал бас Остроградского, — когда все уже дрогнули, Бонапарт вышел вперед, спрашивая бегущих: «Солдаты, вы еще не видели чуда?» — Тут он заметил генерала и быстро изобразил на доске «x. dx». — Именно в этом интеграле икс-де-икс и проявилось ч у д о его гениального решения...

Генерал мгновенно испарился, ибо иметь дело с иксами не был намерен. Да, читатель, многие считали Остроградского чудачком, и отчасти это мнение даже справедливо. Однажды он принимал экзамен у молодого инженерного офицера.

— Что-то я вас не помню. Назовитесь, милейший.

— Цезарь Кюи. Цезарь Антонович Кюи.

Остроградский мигом поставил ему «12», даже не задавая вопросов, а когда будущий композитор выразил свое недоумение, ученый попросту выставил его из аудитории — со словами:

— Иди, мой хороший. Цезарь всегда побеждал...

Марье Васильевне, жене своей, он не позволял читать статей Белинского, чтобы излишне не возбуждалась, но сам был человеком очень начитанным, литературу страстно обожал. Иногда, прервав лекцию и обтерев лицо от слез, Остроградский навзрыд читал Сумарокова или Пушкина, но особенно жаловал он Тараса Шевченко.

На экзаменах бывал то неожиданно покладист, то вдруг становился крайне придирчив, угрожая абитуриентам:

— Сидели вы тут на «Камчатке», на Камчатке и карьеру свою закончите... А дважды два сколько будет?

От этого многие офицеры из числа «казаков» заранее ложились в лазарет, притворяясь больными, только бы избежать яростного гнева Остроградского. П.Л. Чебышев, сам великий математик, не раз встречался с Остроградским за столом в доме В.Я. Буняковского (тоже математика), но чаще они пикировались меж собою, как соперники, а много позже, когда Остроградского не стало, Чебышев вспоминал о нем с большою печалью:

— Человек был, конечно, гениальный. Но он не сделал и половины того, что мог бы сделать, если бы его не засосало это утомительное «болото» постоянного преподавания...

Читатель, сведущий в истории русской науки, с ехидцей спросит меня — не желаю ли я замолчать об отношении Остроградского к Лобачевскому? Скрывать не стану: Михаил Васильевич дал резко отрицательный отзыв о теориях великого казанского геометра, идеи которого казались ему чуждыми и малопонятными. Мне думается, что Остроградский попросту не привык понимать то, что было непонятно ему с первого же прочтения...

Дабы не утомлять читателя, не стану перечислять все 48 научных трудов Остроградского, включая и работы по баллистике или даже теории вероятностей. Он был признан всем миром, стал членом академий — Туринской, Римской, Соединенных Штатов, а после Крымской кампании попал и в число «бессмертных» Парижской академии. Слава же в России была столь велика, что в ту пору поступающим в университет желали самого лучшего:

— Быть тебе Остроградским!..

Михаил Васильевич был настолько предан науке, что все мирское порою его не касалось. Сутками не выходил к семье, работая взаперти. Потому-то, когда после смерти родителей начался раздел кобеляжских имений, Остроградский даже не поехал на родину, по-слав судиться-рядиться свою жену.

— Бери, что дадут, — наказал он ей. — За кадушки да грядки не цепляйся. Нам с тобой хватит, и детям еще останется...

Мария Васильевна «выцарапала» у родичей мужа деревеньку Пашенную Кобеляжского повета, где вблизи протекал лирический Псел, но вернулась она в Петербург — сама не своя, часто поминая соседнего помещика Козельского:

— Ах, пан Козельский... ну, такой озорник! Однажды я стою вот таким манером, его даже не замечаю, конечно, и ем вишни. А он вдруг подходит и... Знаешь, что он мне сказал?

— У й д и, — сказал ей муж. — Не мешай мне думать...

Еще раз смотрю на старинную фотографию того дома, что достался ученому в Пашенной: обычная «хохлацкая» хата, жалкое подобие крылечка с претензиями на колонны, крохотные оконца. Сюда он приезжал на каникулы, чтобы насытиться спелыми кавунами, наесться галушек с варениками. Крестьяне ожидали его приездов с нетерпением. Михаил Васильевич, человек щедрый, задавал им пиры под открытым небом, одаривал молодух гребешками и лентами. Очень он любил купаться в реке, голый, скакал по берегу, крича деревенским детишкам:

— А ну, ррра-акальи такие, кто кого — калюкой!

Начиналось побоище «калюкою» (грязью), и светило научной мысли, тайный советник империи и кавалер многих орденов, весь обляпанный грязью, радовался, как ребенок, меткости попаданий. Ничто, казалось, не предвещало жизненных перемен. Впрочем, об

этой перемене сохранились две версии. Первая такова. Однажды ночью, в дальней дороге, Остроградский уселся в свою карету. Было темно, лошади тронулись, и обняв жену, он целовал ее, а «жена» помалкивала. Потом заявила:

— Вот как сладко! Только, сударь, ваша жена уехала в карете моего мужа, так что теперь можете целовать меня и далее. Видит бог, возражать я не стану...

Наверное, это один из анекдотов, каких немало о нем рассказывали. На самом деле все было проще и не столь романтично.

Мария Васильевна еще по весне выехала с детьми в Пашенную ради летнего отдыха, выехала намного ранее мужа; когда он сам приехал в имение, то жены не застал. А крестьяне подсказали ему, что она давно отбыла к соседнему помещику Козельскому. Остроградский поехал в имение своего соседа, где нашел разбросанные вещи жены, а жена и сам Козельский спрятались от него в курятнике, о чем Остроградский догадался по тому переполоху, который там устроили куры с петухами. Все стало ясно, как Божий день. Не тащить же ему жену за волосы! Остроградский вернулся в Пашенную, а вечером к нему нагрянула жена Козельского:

— Позвольте жить с вами... хотя бы гувернанткой при ваших деточках. Не могу же я оставаться при муже, который чужой женой овладел... вашей же! Не изгоняйте меня... Куда же мне теперь деваться? Не любви у вас, а жалости прошу...

Остроградский обладал железным здоровьем, никогда и ничем не болея. Петербуржцы часто видели его гуляющим в сильные морозы или под проливным дождем — даже без зонтика, а галош он не признавал, как не признавал и врачей, считая их шарлатанами. Летом 1862 года он выехал, как всегда, на родину, много купался и не желал замечать, что на спине у него назревает опасный нарыв.

Родственники уговаривали Остроградского ехать в Полтаву, чтобы показаться опытным врачам, на этом же настаивал и сельский врач О.К. Коляновский. Поддавшись на уговоры, Михаил Васильевич созвал всех крестьян на прощальные посиделки:

— Сидайте же, щоб все то добре сидало...

11 ноября Остроградский приехал в Полтаву, остановился на Колонийской улице в доме В.Н. Старицкой, своей давней знакомой. Начал было и поправляться, но 7 декабря не отказал себе в удовольствии поестъ маринованных угрей, после чего положение больного резко ухудшилось. Нарыв на спине превратился в рану.

Петербург в эти дни публиковал в газетах бюллетени о состоянии его здоровья. 20 декабря, окруженный сородичами и друзьями, Остроградский — время было к полуночи — вдруг стал волноваться, потом крикнул двоюродному брату Ивану:

— Ваня, мне мысль пришла... запиши скорее!

Но эта мысль гения, рожденная на смертном одре, осталась уже невысказанной, сопроводив Остроградского в могилу.

Гроб с его телом погрузили на сани и отвезли в деревню Пашенную, где была семейная усыпальница дворян Остроградских...

Мне осталось поведать последнее. О дочерях ученого мною уже упомянуто ранее. А вот единственный сын его Виктор не унаследовал от батюшки даже малой толики его гения, и еще молодым человеком был уволен из артиллерии за полную безграмотность — именно в математике! Виктор Остроградский умер в селе Рыбцы, будучи опекаем в «Доме призрения для бесприютных дворян» (то есть нищих дворян). Странно, что и его мать — Мария Васильевна — встретила старость тоже на чужих хлебах у графини Софьи Капнист, будучи приживалкой в ее богатом имении.

О чем мне еще сказать? Пожалуй, о той мемориальной доске, что висит на стене «академического» дома — на берегах Невы.

Но доска и есть доска, она мало что говорит.

А хорошо бы нам воскресить старое пожелание молодежи:

— Иди и учись! Быть тебе Остроградским...

Двое из одной деревни

Сейчас уже трудно восстановить истину — из далекого прошлого дошли только смутные отголоски преданий. Верить ли им? Но когда ничего не осталось, кроме легенд, приходится брать на веру даже слухи из былой, невозвратной жизни...

С чего начать? Начну просто. Жили-были два здоровущих балбеса в убогой деревушке, что неприхотливо раскинула избенки близ дорожного тракта. Один был дворянин Митя Лукин, другой — Ильюшка Байков, его же крепостной, который своего барина почитал верным приятелем, и расставаться они не собирались — дружили! Из родни Лукин имел только дядю, который, опекунствуя над недорослем, нарочно держал его в черном теле, ничем не балуя. Потому-то, наверное, сам жил в Москве, сибаритствуя, держа племянника в забвенной деревне, а крепостного ему дал только одного — словно в насмешку.

Читатель уже догадался, что с одного крепостного сытым не бывать. Тем более что ни пахать, ни сеять они не собирались, а жили как птицы небесные, что Бог подаст — то и ладно! Жили в крестьянской простоте: на одних полотах спали, из одной миски щи лаптем хлебали, одною овчиною укрывались, а кто тут дворянин, кто раб его, — об этом не думали, ибо, живущие в простоте, совместно делили свое убожество. И, отходя ко сну, согласно зевали:

— Что-то Боженка даст нам завтра? Хорошо бы дождь хлынул да грязи развезло поболее, чтобы нам, сиротинушкам, была пожива верная... Ну, спим, братец. Утро вечера мудренее...

Дорожный тракт был всегда в оживлении, одни в Москву, иные в Питер ехали, — вот они и жили, кормясь с путников. Упаси бог, не подумайте, что Лукин с Байковым проезжих грабили, — нет, они имели кормление с невообразимой гигантской лужи, которая (со времен царя Алексея Тишайшего) кисла и пузырилась как раз посреди тракта, давно закваканная лягушками. Так что, сами понимаете, все кареты или коляски прочно застревали посреди этой лужи, и, бывало, даже шестерка лошадей часами билась в грязи по самое брюхо, не в силах вытащить карету из ветхозаветной российской слякоти.

С первыми петухами Лукин и Байков, зеваючи, выходили на тракт, как на работу, и укрывались под кустами недалече от этой лужи, терпеливо ожидая добычи.

— Во, кажись, кто-то едет, — прислушивался Илья.

— Далеко не уехать, — отвечал Лукин, — и нашей лужи никому не миновать, а нам сейчас прибыль будет...

Точно! Как всегда (уже второе столетие подряд), карета застревала посреди громадной лужи, ямщик напрасно стегал лошадей, из окошек выглядывали встревоженные лица путников, и скоро слышался их крик о помощи:

— Эй, в поле! Есть ли душа живая? Помогите-и-и-и-те...

Лошади выбивались из сил, а коляска все больше погружалась в грязь, тут Лукин с Байковым вылезали из кустов, и, увидев их кулаки величиною с тыкву, проезжие первым делом не радовались, а пугались, ибо этим парням только кистеней не хватало да не свистели они Соловьем-разбойником.

— Ну-к што? — говорил Лукин. — Мы помочь завсегда рады-радешеньки, тока и вы нас, люди добрые, не забывайте...

После такой пресамбулы парни смело забирались по пояс в середину лужи — и — раз-два, взяли! — на руках выносили карету с пассажирами на сухое место, да с такой нечеловеческой, почти геркулесовой силой, что лошадям нечего было делать. Тут, вестимо, их награждали: когда гривенник дадут, когда копейку, а однажды застрял в луже очень знатный вельможа, так он даже плакал от радости и рубля не пожалел...

Митя Лукин с Ильёй Байковым об одном Бога молили: «Чтоб эта лужа ни в кои веки не пересохла, чтобы эти каналы-инженеры не вздумали дорогу чинить... Тады мы настрадаемся! А захотим, так новую лужу создадим, еще глыбже...»

Беда пришла с иной стороны — от дяди. Велел он племяннику быть в Петербурге, чтобы заполнить вакансию в Морском корпусе, и в этом решении дядя, очевидно, исходил из житейской мудрости: с глаз долой — из сердца вон!

— А как же я? — закручинился Илья Байков.

— Не горюй, — утешил его Митенька, — я тебя не покину, и до Питера потопаем вместе... Сбирайся!

Сплели они себе новые лапти, перекинули через плечи котомки с немудреным скарбом и — пешком! — отправились в столицу, где их поджидала удивительная судьба. О двух парнях из одной деревни написано очень много, и все мемуаристы сошлись в едином мнении: живи они в древние античные времена, когда в людях превыше всего ценилась атлетическая сила, ставили бы им памятники в Афинах, их статуями украшали бы Акрополь.

Читатель, с семейными преданиями отныне покончено, перейдем к официальной части, которая составлена по документам и воспоминаниям современников...

Итак — Петербург, время царствования Екатерины Великой.

На берегах Невы Дмитрий Александрович Лукин расцеловал своего товарища, со слезами простился и сказал ему так:

— Нашто мне тебя, Ильюша, в рабстве томить? Ступай-ка, братец, на волю, чтобы писаться впредь Ильёй Ивановичем...

И стал Илья Байков «вольнотпущенным», то есть ничейным: сам себе голова! Хотел было он снова подле какой-нибудь хорошей лужи пристроиться, чтобы иметь верный прибыток, но — вот беда! — улицы Петербурга таковы, будто их утюгом выгладили, а от ровных мостовых какая пожива? С детства любивший лошадей, Байков устроился при конюшнях: когда овса лошадям засыпать, когда под хвостом у кобылы помыть, был он в этом обиходе большой мастак, советы давал дельные, и потому скоро его в столичных конюшнях знали. Служил кучером у разных господ, поднакопил денег, в полиции ему паспорт выправили, стал Байков писаться «мещанином».

Иначе складывалась стезя дворянская, стезя офицерская. Произведенный в гардемарины, Лукин плавал на Балтике, под парусами ходил до Архангельска и обратно, а в 1789 году стал лейтенантом, в войне со шведами дрался во многих баталиях, а с 1794 года командовал скутером «Меркурий»... Как учился Лукин в корпусе — не знаю. Но зато мне известно, что до самой смерти читать он так и не научился. Однако памятью обладал феноменальной. Еще в корпусе, прослушав лекцию по навигации или стрельбе плутонгами, он на всю жизнь укладывал ее в своей голове. Если ему приносили диспозицию к бою, он велел читать вслух, и тут же самый мудреный текст повторял слово в слово без единой запинки. Сейчас такие головы, как у Лукина, более схожие с компьютерами, считаются чудом природы, феноменом небывалых возможностей человеческого мозга, а тогда... Тогда больше дивились силе его, а не памяти!

— Сила есть — ума не надо, — говорил он, посмеиваясь...

Конечно, они частенько встречались в Питере, дружили по-прежнему. Илья Байков женился, имел девочку, но жена пошла на базар и пропала, будто ее и не было. Лукин оженился на дворянке Анастасии Ефремовне, что происходила из голландского рода Фандер-Флитов, служивших на Руси мореходами со времен Петра I. Илья навещал своего бывшего «барина», помогал ему по хозяйству. Лукин жил бедно, а когда созывал гостей, Илья Байков заранее привозил для него сорокаведерную бочку с водой. Гости любовались из окон, как Илья вносил бочку в дом, а Лукин перенимал ее и ставил на кухне. К жене Лукина Илья относился так-сяк:

— Ой, Митенька, набедрствуешься ты с этакой девицей, гляди, как она глазами-то стреляет. Да и вертлява горазд.

— Управлюсь, — отзывался Лукин...

Дядя у него умер, и Лукин получил в наследство деревню где-то за Тулой. Решив проведать свое поместье, взял в дорогу жену с девочкой, просил Илью сопровождать его.

Декабрист Н.И. Лорер записал рассказ Байкова. В пути однажды их застала гроза, а на опушке леса вдруг засветилась окошками изба, очень просторная. Вошли. Самовар поставили. А за стенкою — голоса какие-то, Лукин и говорит: сходи, Илья, проведай, что за люди... Вошел Илья в придел избы, а там полно мрачных мужиков — все с кнутами, словно цыгане. Байков сказал Лукину, что дело нечистое:

— Я потихоньку подкрался и услышал, что первым убить меня сговариваются, потом барина с госпожой и обокрасть кибитку (Байков, чтобы Анастасия не слышала, на ушко Лукину сказал об этом).

Дмитрий Александрович даже не разволновался:

— Не станем ждать, пойдем сами и разберемся.

Вошли в придел, Лукин спрашивает:

— А что вы за люди?

— А тебе-то какое дело? — отвечали ему.

Один разбойник сразу вскочил, чтобы ударить, но Лукин раз только треснул — готов. «Илья, принимай!» — крикнул Лукин, и прямо над головой Байкова пролетел второй, треснувшись башкой в стенку. Все. Лег. Потом пошла работа, как на конвейере, Лукин встряхивал одного за другим, чтобы себя не помнили, и перебрасывал Байкову, тот отпускал последний удар, после чего выкидывал труп на улицу... Вышли, потом Лукин сказал:

— Ну и наваляли мы, Илья, аж целая поленница...

Посторонних порою обманывала обыденная внешность Дмитрия Александровича: он был даже невысок и Геркулесом (как его звали) не казался. Но силищи был непомерной: свободно разрывал цепи, кочергу закручивал в крендель, талеры ломал, словно пряники, одним пальцем превращал рубли в золотые чашечки для подсвечников, а уж вдавить пальцем гвоздь в дубовый борт корабля — это было для него пустяком. Трудно поверить: Лукин лишь одною рукой поднимал корабельную пушку в 87 пудов весом.

При этом сам никогда своих рук не распускал, оставаясь незлобивым, кровожадным в отмщении не был. Однажды вернулся он с моря после долгой отлучки и узнал, что Настасья без него привечала итальянца из неаполитанского посольства. Лукин смолчал. А во время бала в одном собрании он, проходя мимо соперника, как бы нечаянно наступил ему на ногу — этого было достаточно, чтобы соперника увезли в госпиталь, и более на глаза Настасье Ефремовне тот не показывался.

Писатель граф В.А. Соллогуб рассказывал: был в Петербурге такой весельчак Кологривов, и вот как-то в театре, где играли фран-

цузскую пьесу, он заметил скромного господина, приняв его за провинциала. Решив вызвать поощрительный смех у дам, Кологривов обратился к нему с вопросом:

— А вы разве понимаете по-французски?

— Нет, — отвечал Лукин (это был он).

— Не угодно ли, я вам переводить стану?

— Извольте...

Вызывая всеобщий хохот в зале, Кологривов стал пороть несусветную чепуху, чтобы сконфузить «провинциала», и вдруг Лукин спросил его на хорошем французском языке:

— А вы по-английски, сударь, понимаете?

— Увы.

— А по-немецки?

— Тоже.

— А не желаете, чтобы я одним пальцем переброевал вас сразу в «яму» оркестра, дабы впредь вы были вежливее... Встаньте! — Кологривов встал. — За мной! — скомандовал Лукин...

Привел его в буфет и заказал сразу два пунша с ромом.

— Пейте.

— Не могу. Слаб.

— А издеваться не слаб? Так пей...

Кончилось это тем, что Лукин вернулся в ложу (после восьми стаканов пунша) как ни в чем не бывало, а публика, расходясь из театра, видела Кологривова у подъезда — мертвецки пьяным, извергающим из себя пунш с ромом...

Между тем время шло, дети подрастали. Лукин исправно повидался в чинах, ордена навешивал, в каких только странах ни побывал во время дальних крейсерских походов. Наконец, нельзя не сказать, что спортивную (именно так!) славу Лукин обрел даже

не в России, а в Англии... Он дважды навещал эту страну, отношения с которой у России бывали сложные, и потому англичане сами задирали русских моряков. Уже тогда в Англии зародился «бокс», и англичане подначивали русских сразиться с их прославленными боксерами-драчунами.

— Ну что там один на один? — сказал им Лукин. — Ставьте против меня сразу четырех, а там поглядим-посмотрим.

Один против четырех, он вышел победителем. Правда, Лукин не знал правил бокса — и потому всех четверых, уже поверженных им, он просто повыбрасывал с ринга, словно мусор. За это Лукин и сам был побит в порту Ширнесса, что в графстве Кент. Когда возвращался он на корабль, на него накинулась целая толпа англичан и стали его... не бить, а щипать. Двух он взял за галстуки, поднял над собой и потащил к своей шлюпке. «Тысячи сильных кулаков сыпались на него со всех сторон. Дорого покупал Лукин каждый шаг к берегу, но пять матросов со шлюпки, поджидавшей его, поспешили ему на выручку, и Лукин разогнал буйную толпу... подвиг сей приумножил к нему почтение английских моряков», — писал о нем П.П. Свиньин в своих воспоминаниях. Вы думаете, что англичане, побитые, обиделись? Нисколько. Напротив, они чествовали его как героя. И больше никто в Англии русских матросов не задирали.

Вернувшись на родину, он получил чин капитана 1-го ранга и стал командовать многопушечным «Рафаилом», и здесь, на этом корабле, он сам никого пальцем не тронул, но и другим не давал обижать своих матросов.

— Если наша палуба и увидит кровь, так это будет кровь, пролитая в битвах за отечество, — говорил Лукин офицерам.

Известно, что его частенько навещали музы, но стихов Дмитрия Александровича не сохранилось...

Илья Байков стихов не писал и не обладал такой силой, как Лукин, но все же на полном скаку он осаживал даже четверку лошадей. Внешность у него была примечательной: волосы стриг в кружок, борода «лопатою», глаза живые, умные, а речь забористая, когда Бога помянет, а когда и матюкнется.

В самом конце 1801 года Илью наняли кучером придворной конюшни. Были при дворе лейб-гвардии, выносили на парадах лейб-штандарты, лечили царей лейб-медики, а для таких, как Илья, самым почетным званием было стать лейб-кучером, и вскоре это случилось... Александру I нравилось, как Илья правит лошадьми, что в санях, что на колесах — хорошо было с ним ехать.

— Здорово, Илья, — обычно говорил царь своему кучеру...

Три года он катал императора и — боже ты мой! — сколько людей стало перед ним заискивать (перед кучером заискивать!), генералы здоровались, министры спрашивали — не надо ли чего? Даже фаворитка царя, прекрасная и гордая полячка Мария Антоновна, даже она присылала конфеты его детишкам. Лейб-кучерское жалование было немалое, как у полковника, и вскоре Байков первым делом завел гувернантку для своей детворы.

Скоро Илья изучил повадки царя, перестал бояться с ним разговаривать, а император сам иногда вступал в откровенные беседы, порою подшучивая:

— А что, Илья? Капитан-то первого ранга Лукин, бывший твой барин, теперь не более тебя от казны получает?

— Да вровень катим, ноздря в ноздю, как лошади в единой упряжке. Только я-то, Ваше Величество, живу по-мужицки и мне хватает, а Митрий Ляксандрыч наемни опять ко мне приходил, сто рублей в долг взял... У него жена — мотовка!

— Друзей-то, Илья, много ли у тебя?

— Да ведь, когда сам царь лучший друг, так и все ко мне в дружбу набиваются. Я, Ваше Величество, ныне женитьбою озабочен. Есть тут одна сопливая на примете, да уж больно молода... Погодить надобно...

1807 год для русских остался памятен: армия сражалась с Наполеоном в Европе, билась она на Дунае с турками, флот воевал в Греческом архипелаге, и очень далеко ездил в этом году Илья Байков — доvez царя аж до Аустерлица, а потом вывозил его обратно в Петербург, жалкого и растерянного.

В этом же году Лукин со своим «Рафаилом» состоял при эскадре генерала Сенявина, которая героически удерживала Дарданеллы в своей блокаде. Было 18 июня 1807 года, когда корабельный писарь принес в каюту Лукина приказ адмирала.

— Читай, — сказал ему командир «Рафаила».

«... Чем ближе к неприятелю, — гласил приказ, — тем от него менее вреда; следовательно, если бы кому случилось свалиться на бордаж, то и тогда можно ожидать вящего успеха. Пришед на картечный выстрел, начинать сразу стрелять. Если неприятель под парусами, бить по парусам, если на якоре, бить в корпус».

— Хорошо, — кивнул Лукин писарю. — Я все понял...

Сражение с турецким флотом состоялось на следующий день возле Афона, почему и вошло в историю как Афонское.. Корабли русской эскадры шли в бой так плотно, что носовые бушприты задних почти лежали на кормах впереди идущих. «Рафаил» в этой битве пострадал больше других, ибо отважный Лукин Дмитрий Александрович действовал чересчур дерзко. Турецкий флагман уже горел, разбитый им, но два фрегата еще стреляли, и тогда Лукин отдал приказ: «Абордажных — вверх! Без резни не обойтись...» В этот момент он заметил, что сбит кормовой флаг, и быстро взбежал по трапу, указывая:

— Мичман Панафидин, сейчас же поднять флаг...

Это были его последние слова: вражеское ядро разорвало Лукина пополам, переломив на его поясе даже стальной офицерский кортик.

Надо же так случиться: эскадра Сенявина потеряла убитыми 76 матросов, одного гардемарина и... Лукина! Хоронили его по морскому обряду, мичман Панафидин записывал тут же: «Тяжести в ногах было мало, и тело Лукина не тонуло. Вся команда в один голос кричала: «Батюшка Дмитрий Александрович и мертвый не хочет нас оставить!» Мы все плакали. Мир тебе, почтенный и храбрый начальник. Я знал твое доброе, благородное сердце... Лукин умер завидною смертью и — за отечество! Если бы он получил лучшее воспитание, он был бы известен и как писатель: я читал его стихи — они писаны от души...»

Далеко от Петербурга плакали моряки на «Рафаиле» — далеко от Афонской горы плакал в Петербурге кучер Илья Байков, когда узнал, что «доброе Мити» не стало. Залезая на козлы, чтобы везти императора, он даже не скрывал своих рыданий.

— Вот судьба-то какова! Пока он потешал всех, кочергу в узел закручивая или тарелки ваши серебряные в трубки скатывал, все хвалили его. А как не стало человека, так хоть трава не расти.

— Илья, о ком ты? — спросил Александр I.

— Да все о нем... о Лукине. Вчерась навещал Настасью Ефремовну, и она, и дети в один голос выли. Нешто, Ваше Величество, вдову да сирот без пенсии оставите?

— Ты прав, Илья, спасибо, что напомнил. Передай вдове, что пенсия будет, а сыновей ее за счет казны в офицеры выведем... Не плачь, братец, езжай потише.

— Ннно-о-о, стоялые! — и понеслись кони...

Теперь, читатель, стану рассказывать про Илью Байкова.

Двое из одной деревни, а какие разные судьбы!

И разве справедливо, что злодейка история не донесла до нас портрета Лукина, а вот лейб-кучер Илья Байков не раз удостоился чести быть изображенным художниками. Тщательно выписаны его кафтан и солидная борода, грудь Байкова вся в медалях, и кажется, не хватает ему только кнута, чтобы завершить облик этого не последнего человека.

Обеспечив семью Лукина пенсией, царь наградил Илью Байкова, пожаловав ему участок земли на Фонтанке между Аничковым и Чернышевским мостами, из своего «кабинета» он выделил двадцать тысяч рублей — для строительства дома (позже дом Байкова снесли, чтобы не мешал на этом месте возводить корпуса Александрийского театра). Илья Иванович женился на молодой Наталье Михайловне, а приплод был хорош — пять сыновей и три дочери.

— Кудыть больше? — рассуждал Илья. — Нам хватит...

Вот уж кто немало повидал и многое знал! Как начал с Аустерлица, так в Париже и закончил, всюду следуя за российским императором, Илья даже на Венском конгрессе побывал, всякой музыки там наслушался, а все эти Берлины, Дрездены, Варшавы...

— Да ну их, — отмахивался Илья. — У нас завсегда лучше, а у них тамотко даже клюквы не допросишься. Спросил я как-то в Париже, так там меня французы даже не понимали...

Сыновей он лупил смертным боем — вожжами, чтобы себя не забывали, а дочек никогда не трогал, даже ушей им не рвал.

— Потому как сыночкам надоть ишо в университетах разные науки постигать, а дочкам всего-то и дела что замуж выйти... Тут и подумаешь, что ихние задницы дороже наших!

Слава об Илье Байкове расходилась по всей стране как о человеке добром, который бедным или обиженным никогда в помощи не от-

кажет. Ходоки до царя с прошениями и жалобами на чиновников являлись в Петербург, питая сладчайшие иллюзии, что царю-батюшке только вручи в руки бумагу — и все исправится. Но дошлые люди в столице высмеивали их наивную тщету:

— Дурни! Да кто ж вас до царя пустит? Ежели хошь, чтобы твое дело прямо в руках царя очутилось, так ступай к его лейб-кучеру Илье Байкову — этот мужик кажинный день царя катает.

Просители со «слезницами» шли к Байкову, умоляя вручить их в руки самому императору. Байков никогда не отказывался, но скоро Александру I это все надоело, и он запретил Илье передавать жалобы:

— Существует же у меня комитет для принятия прошений, так ты у себя дома свой комитет завел... Оставь это!

А люди все шли и шли к Байкову, как не помочь им?

Илья Иванович был мужик сообразительный.

— Ты вот что! — поучал он просителя. — Завтрева от Конюшенного моста не отлучайся, хоть ночуй там, а когда увидишь, что я везу императора, ты уж тут не теряйся...

На другой день, провозя Александра I мимо моста, Илья сдерживал лошадей, нарочито ругаясь:

— Эх-ма, опять шлея под хвост пристяжной попала...

Пока он наводил порядок в упряжи (или, точнее, делал вид, что наводит), проситель выбегал из-за угла и, бухнувшись на колени, уже тянул к императору свое прошение.

Александр I, конечно, разгадал эти уловки:

— Илья! Узнаю твои штуки.

— Какие штуки? — удивлялся Байков, лейб-кучер. — Рази ж я виноват, ежели шлея под хвост левой кобыле попала?

— То шлея у тебя, то постромки... гони дальше!

— Куда гнать-то, Ваше Императорское Величество?

— Да к Марье Антоновне... будто сам не знаешь...

Знаменитое наводнение в Петербурге 1824 года сделало царя мрачным, озабоченным, он как-то признался:

— Ну, Илья, пожил. Скоро и конец...

Рожденный в год великого петербургского потопа, в 1777 году, он верил, что второе наводнение предвещает ему близкую кончину. Вскоре он велел готовить лошадей к очень дальней дороге — в Таганрог. Когда же отъехали малость от Петербурга, царь велел Илье остановить лошадей и долго-долго взирал на оставленную столицу, словно прощался с нею, а приехав в Таганрог, он и скончался...

Илье Байкову выпало везти его прах обратно. На последний проезд от Москвы до столицы был приготовлен траурный катафалк, а князь Юсупов стал кричать на Байкова:

— Слезай, уже отъездился! У нас в Москве свой кучер приготовлен, а ты с бородой своей — будто раскольник.

— Так что мне, князь, бриться? — отругивался Илья. — Никуда я не слезу. Возил с бородой, отвезу с бородой и до могилы.

Московский губернатор князь Дмитрий Голицын сказал:

— Да оставьте вы его бороду! Нашли время торговаться...

В толпе провожавших москвичей был и Булгаков:

— Ах, Илья, Илья! — сказал он. — Что-то поседел ты, состарился... Понимаю — нелегко на дрогах сидеть.

— Спасибо, что пожалел, Александр Яковлевич, — ответил Байков. — Вот довезу до Питера, а там... отъездился!

Это правда. Николай I, вступив на престол, одарил Байкова бархатным кафтаном с золотым шитьем, но завел себе другого лейб-кучера. Илья Иванович, окруженный большим семейством, умер весной 1838 года и был погребен на Волковом кладбище. Памятная

колонна, поставленная над его могилой, еще в начале нашего века была уже близка к разрушению...

Двое из одной деревни закончили свой жизненный путь.

Мне осталось сказать последнее. Самое последнее... Потомство лейб-кучера Ильи Байкова, люди грамотные и добрые, получили очень хорошее образование, среди его сыновей можно было встретить видных чиновников, живописцев и офицеров.

Сыновья же Лукина благодаря стараниям Ильи Байкова были пристроены в Пажеский корпус, из которого вышли офицерами. Нам больше известен его сын Константин, причастный к движению декабристов; награжденный золотым оружием за храбрость, он скончался от ран в 1881 году. Другой сын Лукина — Николай, он рано вышел в отставку, удачно женился в Москве на богатой девушке Леночке Скуратовой, о них можно прочесть много интересного в мемуарах Екатерины Сабанесвой.

Перед войной в Ленинграде был достаточно известен спортсмен Николай Александрович Лукин, прямой потомок «русского Геркулеса». Он стал чемпионом России еще до революции, а в советское время работал инженером на заводах, но часто выступал в цирке, поднимая огромные тяжести, заодно участвовал и в чемпионатах по классической борьбе.

Умер он от голода во время ленинградской блокады.

«Ошибка» доктора Боткина

Все было спокойно, и ничто не предвещало беды...

Пять приемных дней в неделю — это, конечно, многовато для каждого врача, а тем более для такого, каким был маститый клини-

цист Сергей Петрович Боткин. Возвращаясь по вечерам со службы, уже достаточно утомленный, он с трудом протискивался в свою квартиру через плотную очередь жаждущих от него исцеления, а бывали и такие дни, когда очередь больных начиналась на лестнице.

— Позвольте пройти, — вежливо говорил Боткин. — Не сомневайтесь, приму всех, но прежде пообедаю и выкурю сигару.

Иногда до полуночи принимал больных, после чего принимал к возлюбленной виолончели, уверовав, что музыка лучше любой ванны снимает мозговую усталость. Редкий день Боткина выдавался свободным; трамваев тогда не было, конка далее Литейного моста не ходила, петербуржцы довольствовались прогулками в Летнем саду, где сверкал иллюминацией ресторан Балашова, а с Невы веяло прохладой.

— Катя, — сказал однажды Боткин жене, гуляя с ней по аллеям и ежеминутно раскланиваясь со знакомыми или совсем незнакомыми, которые издали снимали перед ним котелки, — помнишь ли, дорогая, что я не так давно говорил тебе о Реште?

— Да, это город в Персии, но к чему ты Решт вспомнил?

— Я получил на днях странное письмо...

— Неужели из Решта?

— Нет, от городского головы волжского Царицына некоего господина Мельникова, который бьет тревогу, ибо с низовий Волги приходят слухи о том, что в станице Ветлянской умирают люди... похоже, что от чумы.

Боткин был женат вторым браком на княжне Оболенской, для нее он был тоже вторым мужем; некрасивая, но умная женщина в очках, похожая на курсистку, она многое понимала в заботах мужа-врача, но сейчас понимать его не хотела:

— Чума? В конце века науки и прогресса? Верить ли?

— Верить надо, — отвечал он подавленно. — Чума не признает ни времени, ни пространства, а ее пути остаются для нас, грешных, неисповедимы, как и пути Господни...

Сергей Петрович был слишком известен, по этой причине двери любых кабинетов были перед ним широко распахнуты, и в один из дней осени 1878 года врач потревожил покой министра внутренних дел Макова, спросив его:

— Лев Саввич, известно ли вам, что творится в Ветлянке?

Маков покраснел, ибо не знал, где такая Ветлянка, но, поборов смущение, он сделал вид, что извещен достаточно. На всякий случай Боткин вложил в него ничтожную долю правды, которой хватило с избытком, чтобы министр схватился за голову.

— Только прошу вас, никому не говорите, — взмолился он. — Ведь если в этой обнаглевшей Европе узнают, что у нас все уже есть и даже чумою обзавелись, так бедную Россию опять будут обливать помоями, а нас, великороссов, будут величать «дикими азиатами»...

1878 год близился к своему ужасному завершению.

Астраханская губерния — край необъятный, издавна славный тем, что кормил вкусной рыбкой всю мать-Россию; тут в гигантских чанах с рассолом тузлука солилась рыбка большая и маленькая, волжская или каспийская, тут существовал обильный промысел тюленьего боя, а гужбанье с пристани, грузчики-тяжеловесы, угрожали миллионерам-рыботорговцам такими словами:

— Ты, найденыш, ежели и дале нас одною паюсной икрой кормить станешь, так мы тебе, вот те крест святой, такую стачку устроим, что не возрадуешься... Вари кашу!

Губернией управлял Николай Биппен, который (по мнению служившего при нем чиновника Н.Г. Вучетича) «был крайне осторожен, робок и мнителен, его всегда смущало опасение — как на то или иное его действие посмотрят в Петербурге?..». Узнав о непонятной смертности в Ветлянке, он хотел было вмешаться, но тут атаман Астраханского казачьего войска грудью встал на защиту станицы:

— Неча! Тамотко сидит мой бравый полковник Плеханов, не чета всем вам, ён и без вас знает, когда кому и как помирать... Ветлянка — это наше казачье владение!

А рыбороторговцы устроили гвалт в приемной губернатора:

— Да нету там никакой чумы! Это тилигенты в очках придумали, чтобы им за чуму от академий разных премий надавали побольше... Ведь ежели рыбку-то не вывозить куды на прожор, так она загниет в тузлуке, мы же мильёны потеряем... сами сдохнем. Таки дела!

Правитель губернской канцелярии, пылкий грузин Давид Чичинадзе, оказался дальновиднее всех, он вызвал двух городских врачей — М.Л. Морозова и Григорьева, сказал им, смеясь:

— Слушайте! Пока там наш губернатор отлаивается от грозного атамана, а купцам только и дела, чтобы селедку солить, я, господа, желаю вам доброго пути до Ветлянки, чтобы на месте вы как врачи и разобрались — от чего мрут там людишки?..

Ни врачи тогда, ни историки позже так и не выяснили пути-дороги, по которым чума вторглась в пределы благословенной Астраханской губернии. Совсем недавно отгремела война России с Турцией, и они думали, что чуму занесли казаки, сражавшиеся под Карсом, а под Карсом она объявилась среди турецких солдат, занесенная ими из Месопотамии; другие утверждали, что чума приплыла по волнам Каспийского моря из Персии, где не так давно она как

следует погостила в городе Реште... Вучетич, человек думающий, позже писал о чумной эпидемии, объявившейся в Ветлянке: «Она действительно была загадочной для нашей хваленой бюрократии, всегда способной лишь запутывать, осложнять и затемнять всякое дело, лишь бы по возможности умалить сам факт бедствия народа в своих личных интересах...»

Казачья станица Ветлянская (или проще — Ветлянка, как ее называли) со времен веселой Елизаветы процветала на правом берегу Волги — как раз посередине пути между Астраханью и Царицыном; станицу населяли казаки и рыбаки, а плывущие парохомом видели, что в Ветлянке ветер во всю ивановскую раскручивает крылья сразу двадцати мельниц, значит, живут и не тужат, ибо есть что молоть. Именно из этой рыбо-мукомольной благодати местный священник и известил царицынского голову, своего родственника, о том, что в Ветлянской станице творится что-то неладное: люди стали помирать, коротко отмучившись жаром, слабостью, головными болями, распуханием желез, у иных же случался бред и судороги. В станице было тогда два доктора — Кох и Деннер: первый умер, а второй... второй — убежал!

Вскоре священник снова известил голову Мельникова о том, что вокруг него все умирают, он решил описывать все случаи смерти, а когда пробьет его час, он все написанное упрячет в верхний ящик комода, чтобы люди узнали правду... Жена Мельникова, дама многопудовая, возглавляла местное общество Красного Креста, голова сказал ей:

— Понимаешь ли, моя ласточка? Коли это чума и она движется вверх по течению Волги, то на очереди наш Царицын, потом — Саратов, а затем... страшно сказать!

— Страшно, — отвечала жена, содрогаясь могучим телом.

Содрогаясь всеми фибрами доброй души, Мельников сообщил о событиях в Ветлянке знаменитому Боткину, тот уведомил о них Макова, но министр боялся беспокоить чумой императора. Не дождавшись решения Петербурга, Мельников своей волей снарядил в станицу Ветлянскую не врача, а лекаря Васильева.

— Ты, дружок, осмотрись там, — напутствовал его голова, — возьми казаков и двух сестер милосердия. А моя женушка от Красного Креста посылает с тобой в Ветлянку обувь, чаек, сахарок, что там еще послать? Ну бельишко... Давай, дружок, поцелуемся на прощание. Век тебя не забуду!

Поцеловались. Через несколько дней в Царицын пришло письмо Васильева — жуткое. Ветлянскими казаками управлял Плеханов, полковник Астраханского казачьего войска; он сказал, что болен (через щелку двери), а лекаря к себе не допустил.

— Ты что? Сам не видишь, что конец света приходит? — сказал Плеханов. — Делай, что хочешь, а меня забудь...

А что делать лекарю, который привез умирающим пшено, чаек, сахарок и бельишко? «По дороге, — сообщил он в Царицын, — мне попадалось множество трупов... в домах больные и мертвые. Погребать умерших никто не соглашается. Матери, жены, отцы, дети — все боятся больных. Бросают дома и семейства, бегут в степь. После долгих усилий я едва нашел двух пьяниц, которые согласились хоронить тела...» Эпидемия охватила уже весь Енотаевский уезд, люди, до этого здоровые, умирали в два-три часа, помощи ниоткуда не было, и лекарь Васильев тоже скрылся.

Тут в Ветлянку нагрянули brave астраханские врачи — Григорьев с Морозовым, но признаков чумы, описанных в инструкциях по ее излечению, они не обнаружили. Мертвых полно, а чумы нет. Покойники и больные никак не укладывались в рамки инструкции:

опухоли (бубон) отсутствуют, дыхание затруднено, временами кровохарканье, а в боку у всех колотье.

Один гиппократ спрашивал другого гиппократа:

— Что же мы, коллега, станем писать начальству? В руководстве по выявлению признаков чумы сказано совсем иное.

— Да, ничего похожего с тем, что мы наблюдаем. Скорее всего в Ветлянке не чума, а — пневмотифус...

Так и писали, что в Ветлянке чумы нет, зато есть повальная пневмония (пневмотифус). Этим извещением врачи успокоили себя, утешили начальство и вызвали приступ бурной радости в Петербурге; наверное, им бы довелось таскать «Анну на шею», если бы Григорьев однажды не сказал Морозову:

— Что-то сегодня в боку постреливает.

— А мне, коллега, признаюсь, дышится скверно...

Поговорили и разом умерли (считай, не от чумы, а от этого самого спасительного «пневмотифуса»). Паника охватила соседние станицы, люди бежали куда глаза глядят, ночевали в стогах сена, копали для жительства ямы — только бы избежать неминуемой смерти. Ветлинский казак Петр Щербаков вспоминал:

— Время было лютое. Все по домам заперлись, носа на улицу высунуть боялись. А если глянешь на улицу, так сразу гробов двадцать увидишь. Везут их двое — пьянь-пьянцовская, у них гармошки, и они песни поют, на мертвых сидючи... Да, — заключал Щербаков, — я уж повоевал в жизни, всего насмотрелся. Конечно, на войне страшно, зато в Ветлянке было куда как страшнее.

Тут казаки изловили в степи лекаря Васильева и, сидя верхом, нагайками погнали его обратно в Ветлянку:

— Коли ты дохтур, так лечи, мать твою так.

— Братцы, да не доктор же я, а только лекарь.

— Ты глупее нас не притворяйся, мы сами безграмотные.

— Да боюсь я, братцы, боюсь, — плакал Васильев.

— Мы все боимся, — хлестали его казаки...

Н. Мельников писал, что за отсутствие рвения Васильева «хотели было предать суду, но ввиду оказанных им впоследствии заслуг дело оставили без последствий». 19 декабря из Астрахани приехал в Ветлянку медицинский инспектор Егор Цвингман, дядька серьезный, который сразу и точно определил: чума! Диагноз был поставлен, но эпидемия, охватывая станицы правого берега Волги, уже переметнулась и на левобережье — в село Пришиб, а там рядом — кочевья калмыков, «черная смерть», когда-то не раз обезлюдившая Европу, вторглась в дымные и нечистоплотные улусы. Только теперь в величественном Санкт-Петербурге забили тревогу...

Всеобщая паника обретала государственные масштабы, правда, еще не выходя из границ самого государства. 23 декабря Петербург распорядился заключить Енотовский уезд под охрану воинского оцепления, чтобы ни один житель не вздумал искать спасение в бегстве. В заснеженной степи кордоны были расставлены, костры разведены, но станичный люд, доказывая свою неустрашимость, все равно разбегался во все стороны, разнося эпидемию дальше... Николай Карлович Гире, возглавляющий тогда внешнюю политику России, боялся, кажется, не столько самой чумы, сколько того, как станут отзываться о нашей чуме в Европе.

— О-о, вы еще не знаете канцлера Бисмарка! — говорил он, закатывая глаза. — Но теперь вы его узнаете... для него эта Ветлянка как раз кстати, чтобы лишний раз нагадить России, а венские Габсбурги послушны ему, как дети строгой бонне... Наконец, в Турции и Персии чумы нет, и там смеются над нами, откуда она, эта чума, взялась?

Лев Саввич Маков велел созвать совещание:

— Из-за амбиций этого Бисмарка не скрывать же нам перед всей Европой, что — да! — у нас чума, что — да! — лекарств нету, что — да, наконец! — врачей в тех краях тоже мало...

На совещании медиков с чиновниками МВД Боткин признал ветлянскую эпидемию чумною (безо всяких сомнений), напомнив, что знаменитая чума в Москве во времена Екатерины Великой тоже начиналась с того, что тогдашние врачи трусливо боялись чуму называть чумою, дабы не потревожить сладкий сон высочайших вельмож Санкт-Петербурга.

— Развитие в России чумы, — здесь я дословно цитирую слова Сергея Петровича, — в тех размерах, в каких она появлялась в прошлые столетия, невероятно (ныне), однако возможно появление в различных частях России большего или меньшего числа заболеваний чумной болезнью...

Итак, тревога объявлена! А куда, спрашивается, девать астраханскую рыбку или икру, если рыботорговцы Астрахани всюду натываются на штыки кордонов? Неисчислимы (и, конечно, миллионные!) уловы рыбы и баррикады бочек с икрой пропадают на пристанях, а в столицах уже воротятся от стерляжьей ухи, уже не желают есть икру ложками, ибо... испугались чумы. Сотни торговых домов в Астрахани пошли по миру, мигом разоренные, на бирже возникла паника, кто-то играл на повышение, кто-то рвал сотенные из рук, выигрывая на повышении курса.

— Господа! — орали на бирже. — Эта Ветлянка нам даром не обойдется... Разве не слыхали, что говорят в Париже? Падение русского курса неизбежно... готовьтесь плакать!

Бисмарк, вестимо, не упустил удобного случая, чтобы не использовать ветлянскую чуму как отличный предлог для экономической изоляции России (за которой, возможно, последует блокада полити-

ческая?). Германия и послушная ей Австрия мгновенно расставили на границах кордоны, отказываясь от русских товаров, таможенные строгости были усилены, а наплыв русских туристов и путешественников до крайности ограничен. «Все это, — писал современник, — вместе взятое, отразилось потом миллионными убытками на русской торговле и промышленности». Европейцы же, далекие от каверз берлинской политики, восприняли карантинные меры против России — как долгожданный сигнал к наведению порядка у себя дома: в нейтральных странах начался генеральный аврал по уборке дворов и улиц, срочно выгребались помойные ямы, не чищенные с походов Наполеона, мэры городов не гнушались проверять чистоту общественных нужников... Так что, дорогой читатель, пусть Европа еще скажет нам спасибо за то, что своей чумой мы помогли ей в соблюдении гигиены и чистоты!

Боткин оставался в столице, но многие врачи покинули ее, чтобы бороться с ветлянской чумой. Среди отъезжавших был и заслуженный профессор Эдуард Эйхвальд, основатель клинического института в столице. Доктор Василий Бертенсон оставил описание сборов профессора в дорогу и те «предосторожности, которыми хотел окружить себя даже такой серьезный клиницист — вроде наглухо закрытой одежды с проведенною в рот ему трубкою для дыхания, какие употреблялись еще в средние века».

— Вы прямо в Ветлянку? — спросил Боткин.

— Сначала в Царицын, — отвечал Эйхвальд.

— Вы там не напугайте жителей своим видом, иначе из Царицына побегут так же, как бегают из Ветлянки...

Царицын в эти дни тоже был окружен кордонами, а 24 января 1879 года император Александр принял у себя в кабинете героя минувшей войны — генерала Михаила Тариеловича Лорис-Меликова.

Это был умный и доброжелательный человек армянского происхождения, никогда не мечтавший о громкой карьере.

— Граф, — сказал ему царь, — до этого прискорбного случая с Ветлянкой не было отбою от желающих стать губернатором в Астрахани, где ворочают миллионами, но теперь трудно найти человека, который бы захотел получить эту губернию... Надеюсь, четырех миллионов вам хватит?

Лорис-Меликов был назначен временным генерал-губернатором Астрахани, Саратова и Самары, которым угрожала чума, а город Царицын он избрал для квартирования своего штаба. Генерала провожали, как смертника, осыпая перрон вокзала цветами, поэты слагали в честь его прочувственные экспромты, а дамы даже не пытались скрывать своих слез.

— Дамы и господа, — заверил провожавших Лорис-Меликов, — пусть эта ветлянская чума станет последней для матушки-России... Предлагаю не стесняться и дружно провозгласить: ура!..

27 января в сонме генералов и врачей Лорис-Меликов прибыл в Царицын, а буквально на следующий день из Ветлянки его известили, что во всей Астраханской губернии не возникло ни единого случая заболевания с чумным признаком. Конечно, это было случайное совпадение, а чума прекратилась не потому, что испугалась прибытия отважного генерала. Но зато прекращение чумных заболеваний испугало самого генерала.

— Господа, — сказал Лорис-Меликов, — к нам из Европы спешит авторитетная комиссия ученых врачей, а... что мы им покажем? Ведь они едут не просто так, а... надо им что-то показать! Европа должна убедиться, что Россия их не обманывала: чума была.

«Вырывать же трупы умерших от эпидемии из глубоко засыпанных и залитых известью могил никто не мог и подумать, ибо это

было бы в то время делом рискованным и безумным», — отмечал свидетель тех событий. Давид Чичинадзе принес «радостную» весть:

— Ваше сиятельство, — доложил он с поклоном, — чума, кажется, сама позаботилась, чтобы Международная комиссия осталась нами довольна... Вдруг очутилась девица Анна Обойденова, и таким образом она вся — к услугам ученых Европы.

— Обрадовал... дурак какой-то, — ворчал потом Лорис-Меликов. — Сегодня Обойденова, завтра Найденова, если так пойдет и далее, так нам вовеки от карантинных не избавиться...

Настрадался и городской голова Мельников! Вот уж не думал он, что его захудалый и пыльный Царицын, в котором полно всяческих оборванцев и нищих с живописными заплатками, этот волшебный град (будущая «твердыня на Волге») станет принимать у себя светил европейской медицины. Как посыпались они разом, будто мусор из дырявого мешка, — только и поспевай встречать на вокзале, только успевай размещать по квартирам обывателей, выискивая такие, где клопов и тараканов поменьше... Международную комиссию составляли профессор и ученые Вены, Бухареста, Парижа, Берлина и прочих столиц, которые никаких лекарств не привезли, зато они доставили на берега Волги немало советов. Кроме раздачи бесплатных советов, особой пользы от делегатов не было, но с их слов было понятно, что от решения комиссии зависит снятие санитарных кордонов на рубежах России...

Много позже Мельников своим гостям рассказывал:

— Надоели они мне тогда порядочно, да ведь, сами понимаете, гостей не выгонишь. Если уж честно говорить, эти ученые дальше Сарепты и не ездили, так и сидели в Царицыне на моей шее. Лишь некоторые, что гнались за «азиатской» экзотикой, добрались аж до

Астрахани, где тамошние купцы им балыки в рот совали, а черной икрой готовы были ботинки им чистить...

Навигация в 1879 году началась еще в феврале, ибо Волга вскрылась раньше обычного, и граф Лорис-Меликов пароходом прокатился до Астрахани со всей свитой, набиравшей «прогонные»; говорят, что попутно заглянул он и в вымершую Ветлянку. На всем пути следования генерал-губернатора занималось зловещее зарево пожаров — граф безжалостно спалил все «чумные» дома, движимое и недвижимое имущество, чтобы уничтожить все зародыши эпидемии. При этом, не скроем, Лорис-Меликов с небывалой щедростью оплачивал владельцам полную стоимость всего сожженного, так что никаких конфликтов с «погорельцами» у него не возникало, а из суммы в четыре миллиона граф израсходовал на устройство пожаров и компенсацию сгоревшего всего 308 000 рублей...

Принято считать, что чума отступила от Волги сама, обессиленная. Но Россия не оставалась равнодушной к Ветлянке, «на чуму» ехали со всех концов страны ученые, врачи, фельдшеры, сестры милосердия и добровольцы-студенты, согласные рисковать своей жизнью. Заключительный итог этой схватки с эпидемией был подведен профессором Эйхвальдом, который 6 марта оповестил Россию о том, что «эпидемия в Астраханской губернии кончена, а кордоны сняты». Об этом узнали из газет, и вывод Эйхвальда был торжественно заверен подписями членов Международной комиссии...

Между тем, читатель, в стране тогда нарастало движение народолюбцев, и после того, как Степан Халтурин пытался взорвать Зимний дворец с его обитателями, император Александр II назначил графа Лорис-Меликова диктатором. Конечно, в России понимали, что Ветлянка придала графу некий ореол героизма и потому — вот

парадокс! — чума породила диктатора. Но, боже мой, что тут началось на Кавказе... Кавказцев обуял дикий восторг от того, что армянин, их земляк, возвысился над русским народом. Теперь русские слышали от них даже стихи:

— Разве сама не знаешь? Ты слюшай: один Кура — один Терек, один Лорис — один Мелик... Если бы не наш Лорис, вы бы там от чумы все окочурились. Тебе, кацо, это мало?

Конечно, Михаил Тариелович таким дураком никогда не был и угнетать русский народ не собирался. В обществе диктатора прозвали «бархатным», ибо, даже угрожая, он гладил виновного по головке, а время его правления вошло в историю под названием «диктатура сердца». Первомартовская бомба народовольцев, взорвавшая Александра II, взорвала и карьеру этого человека...

Веселого во всем этом, читатель, мало.

Конец же нашего рассказа будет попросту печальным...

Тот же чиновник Н.Г. Вучетич, на которого я однажды ссылался, писал: «Я недаром подчеркнул эпитет «загадочной» эпидемии... Над ветлянской чумой ломали головы 120 врачей, вместе с профессорами, и никто из них не знал и, наверное, не знает по сие время, откуда взялась эта чума?..» Возникшая на самом отшибе империи, она, как это ни странно, имела трагический финал в столице.

Сергей Петрович Боткин, сам в Ветлянку не ездивший, был, однако, хорошо информирован о тамошних делах. Его настораживал рецидив чумы — в самый канун приезда Международной комиссии, когда казалось, что с чумою уже покончено.

— Катенька, — говорил он как-то жене, — не странно ли, что в Ветлянке вдруг заболела юная казачка Анюта Обойденова, чему даже обрадовались приезжие из Европы, желавшие убедиться в бо-

лезни наглядно. Анюта была исследована, а гнойные бубоны в ее паху вскрывал чуть ли не сам знаменитый берлинский профессор Август Гирш.

— Казачка осталась жива?

— Да. Пора ей замуж.

— А тебя волнует... — начала была жена.

— Меня волнует, что недавно в Петербурге случилось несколько подозрительных смертей, вроде бы тифозного происхождения, но если вдуматься, то они в чем-то схожи с облегченной формой той же ветлянской чумы...

Карточки больных тогда именовались «скорбными листами»; графики колебаний температуры были едва ли не главным мерилем в распознавании болезни, но кривые синусоиды этих графиков вдруг (вдруг!) перестали соответствовать общей картине развития тифов. Боткин еще остерегался ставить точный диагноз.

— Пока я лишь наблюдаю, — говорил он студентам в клинике, — и, если приду к какому-либо выводу, я, господа студенты, не премину известить вас о них сразу же...

Помимо врачебной практики, Боткин славился в Петербурге своими лекциями в Медико-хирургической академии; на эти лекции сходились не только врачи или студенты, их посещали множество петербуржцев, увлеченных наукою, и громадный амфитеатр аудитории, рассчитанный на полтысячи слушателей, не вмещал всех желающих слушать великого врача. Доктор П.А. Грацианов вспоминал, как с этой теснотницей «боролся» сам Боткин, энергичной походкой входивший на кафедру.

— Как это ни прискорбно, — были его первые слова, — но посторонних, вне моего курса академии, я очень прошу оставить аудиторию, а теперь продолжим тему о...

В этой фразе Боткин не делал паузы, сразу же приступая к лекции, а потому «посторонние», боясь ему помешать, уже не спешили к выходу, оставаясь слушать и далее. Было, кажется, 13 февраля 1879 года — угроза ветлянской чумы еще существовала, в этот день у Сергея Петровича был обычный прием студентов в клинике, и тут — внимание! — был представлен очередной больной, являющий нечто звероподобное в своей неопрятной наружности, человек с блуждающими от страха глазами, а разбухшее лицо этого типа говорило не в пользу его трезвости, было видно, что он «приложился вчера», а, попробуй такого выпустить на улицу, он «приложится» снова...

— Рекомендую, господа, — представил Боткин пациента, — перед нами столичный дворник Наум Прокофьев... Кстати, любезный, где вы изволите иметь место своего проживания?

— Да тута... недалече... эвон...

— Простите, где это ваше «эвон»?

Выяснилось, что Наум Прокофьев машет метлой и собирает в совок лошадиные кругляши не где-нибудь на задворках, а в самом центре столицы — в Михайловском (Инженерном) замке, где располагалось Артиллерийское училище.

— Там же, в этом замке, и проживаете?

— Угу. Имею жительство. В подвале, конешно.

— Вы один там или...?

Увы, дворник проживал не один, вместе с ним подвал замка населяли семейные солдаты с детьми. Взгляд Боткина, обращенный к студентам, был слишком выразительным. А по мере того, как задавались им вопросы, а ординатор заполнял «скорбный лист» признаниями дворника, среди студентов началось раздвоение: смельчаки, влюбленные в риск науки, придвинулись ближе к Боткину, а трусливые

жались к дверям. Лишь ординатор строчил как ни в чем не бывало, ибо «чумовые признаки» были ему уже знакомы. Сергей Петрович, заложив руки за спину и низко опустив голову, долго молчал. Думал. Как объяснить этим молодым людям, что дворник являет собой полноценную клиническую картину... ч у м ы... Пусть даже в облегченной ее форме, но... Последовал еще один вопрос к пациенту:

— Господин Прокофьев, а эти солдаты откуда взялись?

— Да «слабосильная команда». После войны...

Там был Каре и чума в Месопотамии, а здесь кручи Балкан, опять же война с турками... Пора ставить беспощадный диагноз. Резкий поворот к столику ординатора:

— Запишите: чума в первичной ослабленной степени...

П.А. Грацианов, наблюдавший всю эту сцену, писал, что Боткин вряд ли «поспешил» (в чем его упрекали тогда очень многие). «Слушатели профессора, — писал он, — отлично знали, что из уст Боткина не мог выйти поспешный или необдуманый диагноз, тем более такой, который неминуемо должен был наделать шуму...» Это хорошо понимал и сам Сергей Петрович:

— Вы, надеюсь, из опроса больного уже достаточно поняли, каков будет диагноз. Но я прошу вас, господа, не распространяться о нем в обществе, понаблюдаем далее...

Болтун нашелся! Вечером того же дня в габсбургской Вене мальчишки, торговавшие газетами, оглушали прохожих истошными криками: «Der Pestfall In Petersburg!» (чума в Петербурге!). А с бульваров Вены, пронизанных музыкой вальсов, молва о чуме рикошетом вернулась обратно, и столичный градоначальник А.Е. Зуров, совсем не злодей, напротив, человек добропорядочный, повидался с Боткиным, пораженный не менее самого Боткина.

— Сергей Петрович, ваше мнение ко многому нас обязывает. Стоит ли вам столь категорично называть эту болезнь дворника обязательной чумой? Неужели в медицине так трудно подыскать какой-либо более утешительный синоним?

— Александр Елпидифорович, — отвечал Боткин, — ни мне, ни вам тем более не дано право придумывать для чумы новое название. Не верите мне? Так созывайте врачебную комиссию...

Но комиссия подтвердила диагноз Боткина в том, что Наум Прокофьев является носителем чумной инфекции в той ослабленной стадии, что предшествует началу чумной эпидемии. Всех солдат с женами и детьми погнали из подвала Михайловского замка, под строгим конвоем вывезли из столицы, строго изолировав, а сам виновник их выселения так и не осознал, что он сделал в жизни такого хорошего, почему теперь за ним все ухаживают, словно за барином. Наум Прокофьев лежал в отдельной палате, окруженный врачами, сиделками и студентами, которые палаты не покидали. О самочувствии дворника они писали реляции на листах бумаги, показывая написанное через стекло, и так же — через стекло — прочитывали указание от профессора Боткина...

Сначала болезнь развивалась, как и положено, но однажды Боткин прочитал, что наметилось резкое улучшение, и больше всех обрадовался этому градоначальник Зуров:

— Сергей Петрович, а вы случайно не ошиблись?

Новая комиссия о чуме уже не заикалась. Все газеты, забыв про дворника, ополчились на Боткина, обвиняя его в «ошибке». Кампанию травли начал Катков, его «Московские Ведомости» выставили врача на всеобщее посмешище, а суть катковской злобы выявилась, кажется, в самой последней фразе его статьи: «Телеграф из Берлина уже возвещает о новых мерах строгостей России, подготовляемых тамошним правительством».

Ага! Не здесь ли и кроется суть гнева Каткова?..

Врач Н.А. Белоголовый, друг и почитатель Боткина, писал, «что его славное и ничем до сих пор незапятнанное имя, которым так справедливо гордилась Россия и вся русская наука, сразу сделалось мишенью ежедневных нападков и самых обидных оскорблений...». Давно известно, что у талантливых тружеников всегда немало подлых завистников, которые до поры до времени помалкивают, но, стоит чуть оступиться, как они толкают, чтобы видеть тебя непременно упавшим. Разом были забыты все прежние заслуги, с каким-то жесточенным наслаждением имя Боткина растаптывали в грязи. Сергей Петрович всегда был доверчив, по-детски добродушный ко всем людям, он желал видеть в них только хорошее, а теперь в недоумении спрашивал жену:

— Катя, отчего в людях столько жестокости?..

По словам Белоголового, «он лишился сна, аппетита, все его нравственное существо было потрясено» несправедливостью, с какой его, вчерашнего кумира, казнили и распинали. Сплетни и клевета сделали свое дело. Теперь, возвращаясь домой, Сергей Петрович уже не протискивался через толпу больных, желавших от него излечения, лишь одинокие старухи глядели жалобно:

— Спаси нас, батюшка Сергей Петрович...

В один из дней он поднес к стеклу записку, в которой спрашивал — как здоровье Наума Прокофьева? «Поправляется», — написал в ответ ординатор, и Боткин молитвенно перекрестился:

— Так я же ведь смерти ему и не желал...

Между тем газетная клевета иногда смахивала на политические доносы, а слово не воробей — его не поймает. Сергея Петровича без зазрения совести винили в отсутствии патриотизма (?), в тайных связях с нигилистами (?), будто он играет на бирже (?) и потому, мол,

злодейски решил уронить курс русского рубля (?); наконец, фантазия врагов дошла до такой степени, что Боткина обвинили даже в том, что он выдумал (?) чуму в Ветлянке — на страх России и на пользу ее врагам...

Наум Прокофьев был выписан из клиники и ушел домой своими ногами, снова подметая панели перед Михайловским замком...

Сергей Петрович после этого прожил еще десять лет, но силы его были уже подорваны — травлей! Он, великий клинист, спасавший многих людей от смерти, скончался от приступа грудной жабы (нынешней стенокардии). Но даже лежа на смертном одре, Боткин оставался уверен в точности своего рокового диагноза, и жена слышала от него последние слова:

— Ошибки с моей стороны не было. Я только не смог разгадать самой природы этого странного заболевания... Помнишь ли казачку Аньюту Обойдену? Ведь она тоже выздоровела...

Давние споры об этой «ошибке» доктора Боткина, временами угасая, иногда снова возникают и в наше время, словно пламя из пепла тех костров, что давно загашены. Сейчас некоторые из ученых склонны думать, что дворник Наум Прокофьев переболел туляремией, которая в ту пору еще не была известна медицине. Но для нас имя Боткина сохранилось в святости...

Ртутный король России

В 1868 году научный мир Европы испытал нервное потрясение: в знаменитой лейпцигской фирме братьев Брокгаузов случился пожар, истребивший немало трудов ученых, уже готовых для типографского набора. Тогда же в поезде, идущем в Берлин, франтоватый молодой господин с элегантной бородкой встретил горько плакавше-

го старика. Успокоившись, тот сказал, что его слезы всегда можно понять, а тем более простить их:

— Заодно уже представляюсь — берлинский профессор Ценкер, двадцать лет жизни посвятивший составлению арабо-немецкого лексикона, который фирма Брокгаузов превратила в пепел.

— Представляюсь и я, — сказал франт, раскуривая сигару. — Александр Ауэрбах, горный инженер. Только что выбрался из рудников Плауэнской долины, где взорвались гремучие газы, убившие в штреках сразу триста шахтеров... Герр Ценкер, после этого несчастья у Брокгаузов что вы намерены предпринять?

— Судя по всему, вы тоже из немцев, а потому знаете, как мы, немцы, упрямы. Я вернусь в Берлин и стану составлять лексикон заново, чтобы угробить еще двадцать лет жизни.

Ауэрбах, как бы выражая сочувствие профессору, выдержал паузу, отвечая затем, что он себя немцем не считает:

— Я сын врача из города Кашина и тверской дворянин. А вы — мой коллега по несчастью! Я составил таблицы микроскопического определения минералов, весьма горячо одобренные Горной академией Фрейберга, и вот... эти мои таблицы сгорели в одном пламени вместе с вашим арабо-немецким лексиконом.

— Ужас! — воскликнул Ценкер. — Наверное, вы, как и я, намерены восстановить сгоревшее? Сколько вам потребуется лет?

— Не лет, а недель, — усмехнулся Ауэрбах. — Но я, профессор, слишком берегу свое время, и здесь невольно проявляется моя широкая русская натура: я решил плюнуть на эти таблицы, чтобы заняться практической работой на благо России...

Бедный Ценкер! Он так и умер, не успев воскресить свой лексикон, а инженер Ауэрбах, исходя из гениального российского принципа «плевать на все!», сразу забыл о своих таблицах и укатил домой,

чтобы со временем сделаться в обожаемой им России не кем-нибудь, а — «ртутным королем».

Да, читатель, были у нас разные короли — чайные Боткины, железочугунные Мальцевы, мануфактурные Морозовы, игольные Гиршманы, булочные Филипповы, стекольные Бахметевы, сахарные Бродские, фарфоровые Кузнецовы, гастрономические Елисеевы и прочие. А наш герой всколыхнул в сонных недрах земли тяжкие и ленивые облака ртути — вредной и всем нам очень нужной.

— Да что там ртуть! — говорил Ауэрбах под старость. — Вы бы посмотрели, за что я смолоду ни брался? Если бы у нас в Неве крокодилы водились, я бы наверняка устроил на них охоту, чтобы выделывать прекрасные дамские сумки...

Дедушка владел фаянсовой фабрикой в деревне Кузнецова, папа был доктором, а мама — дочь полковника Берггольца (из саратовских дворян). Детей тогда не баловали, на шее родителей они не засиживались. Саше Ауэрбаху не было и двенадцати лет, когда его спровадили в Горный корпус, и не было ему двадцати, когда выпустили из Корпуса в чине поручика. Казна сразу отсчитала ему 21 000 рублей, его послали бурить у Царева кургана на Волге, чтобы допытаться — есть ли там уголь? При этом поручик истратил лишь 16 000 рублей, награжденный за экономию орденом Св. Станислава. Горный корпус стал тогда просто институтом, военные чины отменили, Ауэрбах превратился в титулярного советника, которому, если верить словам известного романа, на генеральскую дочь лучше и не засматриваться...

Профессор П.В. Еремеев как-то поманил его пальцем:

— Идите-ка сюда, милейший... Так же нельзя! — сказал он. — Всей России-матушки вам все равно не пробурить, и нельзя забывать

о будущем. Я держу вакантной должность адъюнкта по кафедре минералогии, а вы... О чем думаете, милейший?

Склонный к подвижности, очень активный, может, Ауэрбах и не стал бы «возиться» с диссертацией, но сказочный мир турмалинов заманил его в волшебную игру минералов, и диссертацию он защитил, когда ему исполнилось 24 года. Еремеев сказал:

— Очень хорошо, милейший. Но ученый только тогда становится ученым, когда он пронаблюдает, что делают его коллеги за границей. Вот и езжайте. Я дам вам рекомендации к профессорам Деклазо, Рихтеру и Штрауфу... Сколько вам надобно времени?

— Хотя бы годик, — прикинул Ауэрбах.

На целый год его отправили в Европу, и вскоре «Горный Журнал» стал получать от него научные статьи. Ауэрбах исследовал целестин, Лабрадор и топаз, изобрел гониометр для измерения кристаллов, в Горной академии Фрейберга он слушал лекции, осмотрел в Европе все горные коллекции, которым составил научную опись — для публикации, а потом вернулся на родину.

— Ну-с, милейший, — встретил его Еремеев, — приступайте... Вам светит очень яркая звезда профессуры!

Читать лекции студентам он не любил. Как раз в те годы началась «угольная горячка», искали залежи каменного угля в Подмосковном бассейне, куда хлынули иностранцы и русские. Ауэрбах выезжал на разведку запасов угля, соблазненный гонорарами от лондонского банкирского дома «Томсон и Боннар», но вскоре переметнулся к французам, которые уговорили его оставить профессуру, о чем он известил профессора Еремеева.

— Павел Владимирович, — сказал он, — вы на меня не сердитесь, но стоять на одном месте не могу, я должен танцевать.

— Ну, и черт с вами... танцуйте!

Французам он доказал, что качество подмосковных углей ниже тех, что таятся в недрах Донецкого бассейна. В это же время — проездом через Тульские края — Ауэрбах встретился с сестрами Берс, через них познакомился с молодым Львом Толстым, который тогда еще не взирал на мир из-под насупленных бровей, а был молодым и веселым офицером в отставке. У сестер Берс гостила Софья Берггольц (племянница писателя Евгения Маркова), и вся эта компания устроила пикник в вечернем лесу. Ауэрбаху очень понравилась Сонечка: улучив момент, он сказал ей:

— Я еще не знаю вас, но знаю вашу фамилию, ибо моя матушка носила ее же в девичестве. Однако... Что бы мне сделать для вас? Хотите, я подожгу вон тот стог сена?

— Зачем? — удивилась девушка.

— Тогда вы не сразу меня забудете...

В январе 1872 года они уже сыграли свадьбу и отправились на юг — тогда на юг ездили не отдыхать, а работать.

В дороге Ауэрбах говорил жене, посмеиваясь:

— Не взыщи, моя прелесть, но волшебной жизни не посулю: поскучай в Таганроге, а я буду мотаться по холмам Донбасса...

Первые русские рельсы, по которым помчалась Россия, были прокатаны в Юзовке (ныне город Донецк), где англичанин Джон Юз владел и угольными копиями. Хотя этот Юз и просил называть его «Иваном Ивановичем», но русский язык он так и не освоил. Ауэрбах в поисках угля», конечно, не раз навещал Юзовку, где колония англичан имела клуб, устраивала конные скачки, евреи обзавелись синагогой и хедерами, а русские, если им не хватало места в бараках, отрывали норы, будто кроты, а из недр земли они посылали всех «подальше». Александр Андреевич в записках своих не забыл отметить, что «у русских англичане заимствовали только одно: нашу брань и питье водки, которая пришлось

~~англичанам~~ по вкусу и которой они так злоупотребляли, что многих из них Юзу пришлось отправить обратно в Англию...»

Наконец, Ауэрбах сыскал два угольных месторождения — коксового близ Юзовки, а второй уголь (с пламенным горением) нашел ближе к Днепру. Но земли, которые он пронзал бурами, были не казенными — частными. Петр Николаевич Горлов, основатель знаменитой «Горловки», где он заложил могучие шахты (носившие потом имена Ленина и Сталина), — вот этот горный инженер, отлично знавший всю область (позже названную Сталинской), однажды предупредил Ауэрбаха, когда они совместно парились в бане:

— Уголь, найденный вами, укрылся от людей на землях братьев Рутченко и господина Шабельского. А эти помещики не дураки, чтобы своих огурцов и помидоров лишаться, лишь бы доставить удовольствие нашей французской компании... Понимаете?

Ауэрбах понимал и, прихватив из Таганрога жену, не раз мотался в Париж, доказывая прижимистым французам, что Рутченко и Шабельский пока еще скромны в своих желаниях, но пройдет время, в этих местах гугукнет паровоз, и тогда...

— ...Тогда огурцы с помидорами будут стоить дороже! У господина же Шабельского еще многотысячное стадо тонкорунных овец, которых на мясо он резать не станет... Где их пасти? Вы, французы, живущие в Париже, желаете сэкономить су, тогда как через год-два вы потеряете тысячи франков...

Возвращаясь из Парижа, Ауэрбах был в дурном настроении.

— Соня, ты была ли когда бедной? — спросил он жену.

— Нет, Саша, а... что?

— Думается, ублажать этих европейцев мне скоро надоест, просить же профессора Еремеева о возвращении на кафедру минералов стыдно, и вот... Не придется ли нам сидеть на бобах?

— У тебя, дорогой, слишком широкие замашки, ты больше похож на купца, а никак не на дворянина, — упрекнула его жена. — Твой папа в Кашине, ты сам мне рассказывал, брал с пациентов по гривеннику, и нужды вы не испытывали. А ты гребешь деньги лопатой и... Впрочем, я тебя люблю, и последний бобик разделим пополам. Но прежде скажи — что ты еще задумал?

— Скоро узнаешь, — озадачил Ауэрбах...

Скоро он порвал с французской компанией, решив пожить, как он говорил, «на подножном корму». Это случилось в 1876 году; тогда же он с женою перебрался жить в Петербург.

— Между тем я могу быть доволен, — рассуждал он. — Именно моими стараниями в Таганроге состоялся первый съезд горнопромышленников, и мы, горные инженеры, всколыхнули Россию! Скоро весь Донбасс начнет укладывать рельсы и шпалы новых дорог. Я уже вижу русский Манчестер с портами в Азовском море.

Говорить о Донбассе и умолчать о шахтерах было бы непростительно. Появилась как бы новая порода тружеников на Руси, и первые шахтеры были скорее изгоями общества, у которых паспорт лучше не спрашивать, иначе сразу «получишь в соску».

Паспорта как таковые еще не играли большой роли в жизни русского народа. Когда Ауэрбах впервые появился в Таганроге, он послал с дворником паспорт в полицию — ради его прописки. Почти сразу прибежал к нему пристав, даже перепуганный:

— Господин Ауэрбах, что случилось? Мы в полиции головы ломаем и никак не поймем, з а ч е м вы паспорт прислали?

— Как зачем? — удивился инженер. — Ведь я впервые у вас в Таганроге, так должны же в полиции знать, что я не жулик, не аферист, не шулер... вот и прислал — для прописки.

Пристав почти умолял его забрать паспорт обратно:

— Да Бог с вами! Мы-то все гадали — что вам от нас понадобилось? Живите себе на здоровьице, кому какое дело?

Так было с дворянином Ауэрбахом. Иное дело — шахтеры, у которых паспортов не было. Вернее, у крестьян, что пошли в шахтеры ради заработка, паспорта имелись, но каждый год их следовало отсылать обратно в деревню для обмена, а сельские писари новых не присылали, ибо подати не оплачены, а денег семье своей прислал крохи... Тут бродяги или беглые учили:

— На што тебе, лаптю экому, ишо паспорт иметь? Здесь и так хорошо, а домой, дурак, не пиши, чтобы с тебя податей не тягали. Жена-то? Да ну их, баб энтих! Заводи «мамаму» себе...

Когда Ауэрбах служил в Донбассе, Софья Павловна содержала у себя на кухне сразу трех беспаспортных: саперного поручика, от жены бежавшего, попа-расстригу, утекнувшего от гнева синодского, и купеческого сынка, от долгов удравшего, — все трое хозяйке раков ловили, чтобы она их с кухни не прогоняла. На шахтах Александра Андреевича лишь 100–150 человек имели паспорта, остальные же при найме говорили о паспорте так:

— Б ы л! Но жена померла — с собою взяла...

Ауэрбах писал: «Сознавая, что от голодного нельзя требовать хорошей работы, я кормил своих шахтеров возможно лучше, отпуская на каждого по фунту мяса в день и давая им в обед по чарке водки». А соседние шахтовладельцы, кормившие своих работяг «кандёром» из пшенки без масла, «чуть в революционеры не произвели меня из-за этого вот фунта мяса...».

Александр Андреевич жене говорил:

— Рабочий может быть доволен хозяином лишь в том случае, если увидит, что я могу присесть к их столу и поесть заодно с ними и с таким же аппетитом, с каким ем домашнюю пищу...

Он прав! Так же поступал он и с виновными. Зная, как шахтеры боятся суда, Ауэрбах никогда не призывал полицию:

— Вмешиваться не стану — разберитесь сами.

«За разные проказы и буйства артельный суд в большинстве случаев приговаривал товарищей к телесному наказанию», и секли друзья своих друзей так, что полиция могла бы позавидовать. Воровства среди шахтеров никогда не было, а если такое случалось, вора выводили на базарную площадь, привязывали его на весь день к столбу, а на грудь ему вешали доску с надписью:

НЕ ВОРУЙ, СВОЛОЧЬ

Жилища у шахтеров Донбасса были попросту ужасные («у хорошего хозяина, — писал Ауэрбах, — скотина содержалась намного лучше, нежели наши несчастные шахтеры»), и потому он построил для них в Кураховке чистые добротные казармы, где для каждого был отведен угол. И случилось чудо: его углекопы вдруг стали бриться и ходить в баню, завели котелки и даже тросточки, а пьянство уменьшилось. Иные форсили часами перед девицами, вынимая их из кармашка жилета когда надо и не надо:

— Не желаете ли, мамзель, узнать точное время? Уж больно вы пронзили мое сердце, а потому извольте — уже полвосьмого. Как раз время прогуляться нам до канавы, а потом и обратно...

Многие вызвали из деревень свои семьи, Ауэрбах выстроил для таких шахтеров отдельные домики, довольный тем, что довольны люди, и сами же углекопы потом ему признавались:

— Коли вы из землянок нас выгнали да на чистую постель уклали, так нам самим жить по-людски захотелось, чтобы прохожие от нас не шарахались. Ну, а коли когда и расколем бутылку, так вы не сердчайте на пьяных... без этого нам нельзя!

...Вся эта прежняя жизнь в Донбассе поминалась потом на столичных пажитях, как лакомый кусок молодости, а будущее настораживало. Ауэрбаха причислили чиновником в Главное горное управление, но делами не отягощали. Однако уже подрастали трое его сыновей — пора о них думать. Александр Андреевич заранее предупредил жену, что судьба, оторвав его от юга, поворачивается к северу: его начали соблазнять службою миллионер Асташев, графы Шувалов и Воронцов-Дашков, владевшие золотыми приисками в тех краях, где хорошо бы волков морозить.

— Сонечка, — сказал он жене, — мне уже скоро тридцать пять лет, но до сей поры мои знания и моя житейская сноровка обогащали только других. Не пора ли, я думаю, взяться за дело, чтобы обеспечить детей и принести пользу Отечеству?

Софья Павловна однажды ездила в Тамбов, чтобы навестить своих родителей, а вернувшись в столицу, сообщила мужу, что наследники тамбовского богача Башмакова, недавно умершего, желали бы видеть его своим управляющим. Будучи в Мариинском театре, Ауэрбах случайно встретил балетомана Скальковского, дельца и писателя, тоже из горных инженеров.

— Костя, брать ли мне башмаковские прииски?

— Тамошняя медь дороже золота, — пояснил Скальковский.

— Чего в округе не хватает?

— Ума и морали.

— Ты рассуждаешь, как писатель, а меня волнует иное...

Богословский округ (ныне там городишко Карпинск) в давние времена принадлежал масону Походяшину, который делился доходами со знаменитым Н.И. Новиковым, издававшим книги для мистического понимания. Сколько лет прошло с той поры, а этот

округ, вписанный в северный угол Пермской губернии, оставался для русских так же ведом, как и жюль-верновская Патагония...

— Надо ехать, — сказал Ауэрбах, — в эту дыру.

— Что ты, милый, всегда выбираешь какие-то «дыры»?

— Но через эти «дыры» лучше видится будущее России...

Приехав, Ауэрбах понял, что здесь уже наступил конец света. Сам поселок заброшен, половина домов заколочена, жители разбежались, на дорогах грабили, население в основном составляли потомки каторжан или беглые, на приезжих они глядели, как волки на барашков, было лето, на вершинах окрестных гор, поросших хвойным лесом, снег еще не растаял, еда была отвратительная, хлеб невыпеченный, на приисках шевелилось золотишко, удобное для хищений, а сам медеплавильный завод напоминал громадный сарай.

Ауэрбаха прежде всего поразила всеобщая нищета, виною чему были ничтожные заработки. Он даже ужаснулся, когда в цехе завода поговорил с пожилым плавильщиком.

— Сколько часов ты жарись у плавильных печей?

— С шести утра до шести вечера.

— А сколько тебе платят в этом пекле?

— В день загребаю сорок пять копеек.

— Тут и загребать-то нечего. А сколько хлеб стоит?

— За пуд эдак рубля полтора.

— Как же ты живешь, братец?

— Как все, так и я...

Все жили отвратительно. И стало уж совсем тошно, когда вечером подслушал с улицы обычный диалог двух аборигенов:

— Слышь! А где Степан-то?

— Да он дома севодни. Пьяный лежит.

— А ты кудыть?

— Похмеляться к Федору... Пошли вместе?

— Да я пошел бы. Не могу.

— Чего так?

— Меня Иван звал.

— А что у Ивана?

— Обещал выпивку. Вот, иду.

— Я тоже. Пошел. Прощай, брат!

— Будь здоров, друг ситный.

— Заходи когда, — слышалось с улицы. — Может, выпьем.

— Зайду. Вместе похмелимся...

Свою первую встречу с местными властями Ауэрбах начал словами:

— Так жить нельзя. Пока не повысим ставки рабочим, пока водку не заменим театром и душеспасительными лекциями, от Богословска ничего ожидать нельзя, а сам округ обречен на вымирание. Жалуетесь, что бегут? Верно. Я бы и сам убежал.

— Александр Андреевич, — отвечали ему, — вы человек новый, всех наших дел знать не можете, а тут такая шваль собралась, что им не театр, а веревку надобно, чтобы всех перевешать...

Вернувшись в Петербург, Ауэрбах удрученно сказал жене:

— Мои беспаспортные шахтеры Донбасса, беглые и бродяги, сейчас представляются мне лишь наивными идеалистами по сравнению с теми, кого я увидел в Богословском горном округе...

Но, уже раздорясь тем, что его, как последнего дурачка, высмеяли, сочтя Дон Кихотом, Александр Андреевич теперь уже сам просил назначить его богословским горным начальником.

— Только не мешайте, — предупредил он наследников покойного камергера Башмакова. — А тебе, — сказал он Софье Павловне, — предстоит какой-то немалый срок пожить вдали от меня...

Начал он круто, объявив рабочим, что станет платить не по-денно, а лишь сдельно — по наглядным результатам труда. И сразу возник бунт, ибо порядки еще со времен Походяшина казались всем нерушимы, а в словах Ауэрбаха рабочие усматривали хитрый подвох. С этого времени он получал подметные письма с угрозами убить его. Но Ауэрбах не уступил никому, целый год прожив в небывалом напряжении нервов, зато тот же плавильщик стал получать не гроши, а сразу полтора рубля. После этого рабочие прониклись полным уважением и преданностью к А. А., слово которого стало для них законом, а всякое его распоряжение исполнялось беспрекословно. До появления Ауэрбаха Богословский завод давал 17 000 пудов меди, а он довел выплавку до 50 000 пудов, и произошло второе чудо — перестали убегать, напротив, люди съезжались в Богословск, закованные дома вновь задымили печами, пришлось строить новые — так возникали новые улицы.

Александр Андреевич собрал на базаре народную сходку.

— Теперь, когда вы у меня малость разжились, я стану вас грабить... Не смейтесь! С этого дня каждый из вас будет отдавать два процента приработка в пользу общественного капитала, чтобы обеспечить пострадавших в труде, кого бревном придавило или обожгло у горна, чтобы создать при заводе детские ясли и, наконец, чтобы вы, звери, по вечерам в театр ходили...

Теперь на все были согласны! Потому что поверили.

Проездом через Пермь он навестил губернатора.

— Что вы еще придумали? — осведомился тот.

— Увы, не я придумал электричество, не мною изобретен водопровод, но все это необходимо для того, чтобы в моем Богословске люди жили не хуже, чем рабочие в Бельгии... смешно?

— Нет, — сказал губернатор. — У меня для вас новость, вернее, две новости сразу. Первая: для создания Сибирской магистрали скоро понадобится неслыханное количество рельс, и одному Джону Юзу не справиться. Так что подумайте на досуге о налаживании рельсо-проката. Вторая же новость такова: наследники Башмакова решили продавать весь Богословский округ.

— Обратно в казну?

— По слухам, — отвечал губернатор, — Богословские заводы, как и золотые прииски, покупает какая-то очень знатная дама. Впрочем, в Петербурге вы все в подробностях и узнаете...

Подробности таковы. Когда-то к порогу дома банкира Штиглица подкинули двух девочек-младенцев, и одна из них, Надежда Михайловна, стала женою статс-секретаря Половцева, который ее приданое тратил на создание знаменитого училища Штиглица (а ныне, читатель, названного именем Веры Мухиной).

Надежда Михайловна, узнав о появлении Ауэрбаха в столице, просила навестить ее в лужском имении Ранги — на берегу озера, где плавали белые и черные лебеди, она жила в сказочном дворце, наполненном сокровищами искусства (теперь там колхоз, а дивные скульптурные изваяния сам видел в кучах навоза на скотном дворе). Половцева сказала Ауэрбаху, что покупает Богословский округ за шесть миллионов рублей.

— Дешево, правда? — поиграла она глазами.

— Сущяя ерунда! — бодрым смехом откликнулся Ауэрбах.

— А я хотела вас видеть, чтобы просить остаться управляющим округом. Обещаю слушаться вас, словно пайныка...

Ауэрбах понял: там, где о шести миллионах говорят как о шести рублях, можно не стесняться в расходах. Он сказал женщине, что согласен остаться в Богословске с условием, если мадам Половцева уделит толику на создание железной дороги.

— На сколько же верст вы ее планируете?

— Чуть более двухсот. Богословский завод протянет рельсы до станции Кушва Уральской железной дороги, а на реках Сосьва и Тавда надобно вам заводить собственное пароходство.

— Что еще?

— Электричество. Водопровод. Канализация. И... театр.

— Согласно и на театр, — отвечала Надежда Михайловна.

Ауэрбах поспешил повидаться с И.А. Тиме, профессором Горного института (это отец известной нашей актрисы Е.И. Тиме).

— Иван Августович, — сказал он ему, — я предлагаю вам прогулку по Европе, чтобы, высмотрев все самое лучшее в рельсопрокатном производстве, вы все это лучшее закупили для оборудования Богословских заводов. В средствах прошу не стесняться: мадам Половцеву нам все равно не разорить...

Профессор Тиме поклялся денег не жалеть. Был уже поздний вечер, когда Александр Андреевич, усталый за день от беготни, вернулся домой на Фонтанку, и жена еще в прихожей шепнула, что его давненько поджидает приятель молодости.

— Может, я ошибаюсь, но кажется, он пришел выпивший и, очевидно, выжидает тебя, чтобы еще выпить.

— А-а, догадываюсь, что это Алеша Миненков. Здорово, дружище! — сказал Ауэрбах, заранее распахивая объятия, чтобы облобызать друга юности. — Ты откуда сейчас, бродяга?

— Прямо из Бахмута.

— Выпить хочешь?

— Не откажусь.

— Давненько не виделись. Рассказывай, что у тебя?

Рассказ А.В. Миненкова был печален, а выпивка печали его не развеяла. Он сообщил, что открыл под Бахмутом месторождение

ртути (пожалуй, первое и пока единственное в России!), а теперь не ведает, как ему с этой ртутью развязаться.

— А что? Или многие отравились этой заразой?

— Хуже, — сказал Миненков. — Месторождение на крестьянской земле. Помещиков нету. Сам я небогат, посему составил товарищество на паях с местными дворянами. Но они, твари эдакие, потолкались вокруг да около, в успех разработок ртути не слишком-то уверовали, и компания распалась. А крестьянский «мир» хватает меня за глотку, чтобы платил по договору, за наем их земель. У меня же одни долги и боюсь суда. Будь другом, пристрой меня в своем Богословском округе. Ей-ей, а?

Ауэрбах подумал. Прикинул за и против. Ответил:

— Чудак ты, Алешка! Надо искать иной выход... Лучше я сейчас дам тебе толику денег для уплаты долгов, а ты... о чем думаешь?

— Продать эту ртуть и больше с нею не связываться.

— Так вот, — заключил Ауэрбах, — ты ртуть не продавай.

— А почему?

— Я сам куплю у тебя этот прииск.

Договорились, что Миненков вернется в Бахмут и, как только сойдет снег, сразу вызовет его к себе телеграммой.

— Извещай фразу «снег сошел» — и я пойму.

Так вредная и полезная ртуть вошла в его жизнь!

Но о короне ртутного короля Ауэрбах еще не помышлял...

Софья Павловна, навещавшая мужа в Богословске, заметила на улицах попрошаек-сирот, от местных женщин она узнала, что девицы беременеют, а чтобы избежать позора вселенского, делают себе аборт, отчего многие и помирают. Об этом говорила с мужем

еще при наследниках Башмакова, которые не были тароваты на дела милосердия, и Александр Андреевич отвечал жене:

— Не спорю, родильный приют надобен. Но денежки на него ты, дорогая, выкладывай из своего ридикюля...

Когда же округ стал владением Половцевых, он завел в городе приют для сирот, со всей округи в Богословск свозили бездомных детей, девочек обучали уходу за коровами, мальчики осваивали ремесла, осенью дети ходили в лес, собирая грибы и ягоды на зиму. А мадам Половцева была человеком щедрым:

— Даю вам карт-бланш на любую сумму и делайте что хотите, ибо я сама из подкидышей, потому и понимаю, как необходимо для утверждения нравственности все доброе... Простите, Александр Андреевич, я, кажется, вас перебила?

— Да нет, — сказал Ауэрбах, — у меня не выходит из головы грешная мысль о создании в Богословске театра, наконец, рабочим надобно читать лекции — о природе, по истории, всякие.

— Да, да, да! И пусть театр будет бесплатным.

— Ни в коем случае! — горячо возражал Ауэрбах. — Когда в наших аптеках дают больным бесплатные лекарства — так надо. Но нельзя развращать людей мыслью о доступности мира искусства. Нет! Пусть рабочий с женою выложат в кассе хотя бы гривенник, чтобы знали — музы берут с людей пошлину...

Платный театр он создал, а вот лекции для рабочих нарочно сделал бесплатными, зато в дверях клуба поставил дядю Васю, чрезвычайно опытного по части выпивки и похмельки, и тот, за версту почуяв неладное, вопрошал со всей строгостью:

— А ну — дыхни, мать твою за ногу! Выпил — незя.

— Дядь Вась, да это ишо опосля вчерашнего.

— Приходи завтра, и чтобы — ни-ни, иначе незя...

А жизнь шла своим чередом. У хорошего хозяина ничто даром не пропадает. Вот увидел Ауэрбах дым из фабричной трубы:

— Сколько ж добра на ветер вылетает! Надо подумать...

Сера, улетавшая в поднебесье при обжиге медных руд, побудила строить заводик для ее переработки. Зато из дыма явилась серная кислота, значит, для торговли ею потребны особые бутылки, нужно стеклянное производство. Но кислоты избыток, значит, опять ломай голову, Ауэрбах, думай, на то ты и хозяин.

— Чем черт не шутит! Пусть будет у нас и фосфорный завод, чтобы использовать избытки серной кислоты на месте.

— Для фосфора потребуется немало кости, — подсказали ему.

— А на что Сибирь-матушка, в которой чего-чего, а уж костей-то всегда наберется. Организуйте закупку...

Главное же сейчас — чугуноплавильный завод, чтобы дать Сибири гигантское количество рельсов для уникальной железнодорожной трассы. Одно цеплялось за другое, а люди едут и едут, значит, нужны жилища. За одну зиму дома срубили, по весне их поставили в ряд, вот тебе и улица, по вечерам освещенная электричеством, а в домах — водопровод и канализация... Однажды летом 1894 года Богословск посетила сама Надежда Михайловна Половцева и удивилась обществу этого города: ее встречали на пристани профессора, инженеры, студенты, артисты. Приехала же она не просто так, а ради серьезного разговора, о чем Ауэрбах и догадался с первого же вопроса женщины:

— Александр Андреевич, как вы ко мне относитесь?

— Видит бог — очень хорошо!

Половцева намекнула, что слишком много денег вылетело на строительство металлургического завода и нового города при этом заводе.

— Уйма денег! — согласился Ауэрбах, кивая.

— И у меня возникло желание... не совсем скромное, может быть, но вы должны понять маленькое тщеславие женщины.

Она покраснела. Ауэрбах распушил бороду, развел руками:

— О чем разговор! Кто платит за музыку, для того и все оркестры играют. Не смущайтесь. Говорите. Слушаю.

— Я хочу, — скромно потупилась Надежда Михайловна, — чтобы завод назвали НАДЕЖДИНСКИМ, а сам город — НАДЕЖДИНСКОМ...

Теперь город Надеждинск называется Серовым (в память о летчице А.С. Серове). В январе 1896 года старый Богословск начал прокатку рельсов, хотя столичные газеты каркали, что ничего не получится, что Ауэрбах фантазер, а Надеждинские заводы сорвут все планы укладки рельсов вдоль Сибирской магистрали.

— Никакой прогресс невозможен, — утверждал в эти дни Ауэрбах, — если в людях не развито чувство гражданского долга, а главной пружиной активности человека всегда есть и будет его бескорыстная любовь к Отечеству...

В эти же дни Надежда Михайловна Половцева вознаградила Ауэрбаха премией в 125 000 рублей. Эти денежки «плакали» для Софьи Павловны, сразу отложенные супругом для другого дела.

— Догадываюсь, тебя потянуло в Бахмут, — сказала жена.

— Нет, моя милая, на этот раз в Испанию.

Алешка Миненков вовремя известил о том, что «снег сошел», и Ауэрбах тогда же — по весне — осмотрел бахмутские месторождения ртути. Сомнений не было: можно смело закладывать шахты, чтобы добывать руды, насыщенные ртутью. После этого он и отправился в Испанию — в знаменитый Альмаден, где находился главный ртутный прииск, поставлявший ртуть всему миру.

В дороге Ауэрбах припомнил даже Плиния, у которого сказано, что Древний Рим когда-то закупал в Испании громадное количество ртути — громадное!

— Им-то она зачем понадобилась? Правда, — рассуждал Миненков, — в древности, пардон, лечили запоры вливанием в больного ртути, благо она своей тяжестью способна выбить из человека любую «пробку», возникшую от обжорства...

Ауэрбах от истории возвращался к насущной практике:

— Россия до сих пор своей ртути не имеет, а если нашей ртути хватит только на градусники или на то, чтобы выделывать зеркала, — так и это хорошо...

Осмотрев Альмаден, навестили и австрийскую Идрию, где тоже была добыча ртути; по дороге на родину Ауэрбах был задумчив: опыт испанцев, хотя и древнейший, ничего не дал ему, зато вот новейший опыт австрийцев он решил перенять для себя.

— Премия от мадам Половцовой прилась кстати, — сказал он жене по возвращении. — К этой премии, Сонечка, приложим все наши сбережения, чтобы Россия обрела свою ртуть...

Но ему предстоял тяжелый разговор с Надеждой Михайловной Половцовой. Красивая и эффектная женщина, она предстала перед ним, словно сошедшая с тех портретов, что писали с нее Жалабер, Крамской и Каролус-Дюран.

— Итак, — начал Ауэрбах, — завод и город, закрепившие ваше имя в истории государства, я для вас, мадам, построил. Поезда из Санкт-Петербурга до Владивостока катятся по вашим рельсам. У вас своя флотилия из восьми пароходов и сорока барж. В богадельнях и приютах Богословского округа старики и дети молят Бога о вашем здравии, а я... я пришел с вами прощаться.

— Вы чем-то недовольны, мой друг?

— Напротив, мадам, я доволен всем. Но, поймите меня правильно, таков уж у меня беспокойный характер: я не могу долго стоять на одном месте — я должен танцевать!

— Так вы и танцуйте... в паре со мной.

Ауэрбах внятно растолковал женщине: Богословск, где главное уже сделано, становится для него тесен, словно клетка для зверя, а ему необходим простор для новых прыжков.

— Наконец, пора мне подумать и о возрасте, который заставляет меня спешить, и вы, дражайшая Надежда Михайловна, не пытайтесь удерживать меня. Лучше расстанемся друзьями.

Расстались. Но Миненкова он уже не отпуская от себя:

— Ты первым начал, вот и надрывайся заодно со мною. Если ранее годовое потребление ртути Россией не превышало четырех тысяч пудов, так давай, братец, и мы станем пока придерживаться в добыче ртути именно этой цифры...

Русский рынок получил свою ртуть, но дешевизна ее добычи заставила Ауэрбаха думать о вывозе ее на рынок европейский, вступая в единоборство с ртутью испанской и австрийской. От завода протянулись подъездные пути — и ртуть, коварная и обольстительная, словно порочная женщина, тяжело и густо, переливаясь фальшивым серебром, потекла за границу. Уже в 1897 году Александр Андреевич получил 37 600 пудов ртути.

У с п е х! Первый в России ртутный завод под Бахмутом доставил ему ордена, почет и чин действительного статского советника, приравненный к званию генеральскому.

— Боже мой, — хохотала жена, — помнишь ли тот забавный пикник с Берсами и Львом Толстым в ночном лесу, когда ты, безумец, хотел поджечь стог сена в мою честь? Разве думала я тогда, что ты сделаешь из меня генеральшу? Ведь живи я в былые времена, и я бы

имела право ездить на шестерке лошадей с форейтором, оружием благим матом: «Пади, пади, пади!..»

Газеты России не забыли отметить коронацию нового короля — р т у т н о г о! Ауэрбах сразу остудил веселье жены:

— Я вынужден взять из Госбанка ссуду в полмиллиона рублей, а чтобы гасить проценты, мне предстоит потесниться, образуя акционерное общество «А.А. Ауэрбах и К°»...

Главный пакет акций он удержал при себе. Наверное, Ауэрбах вышел бы победителем из любых финансовых передраг, если бы не война с Японией и не забастовки на транспорте. Война забрала для своих нужд весь подвижной состав железных дорог, а стачки путейцев завершили паралич ртутного завода. Он взывал к правительству, чтобы ссудило хотя бы триста тысяч рублей — ради спасения завода. Но денег не дали, и он спустил пакет акций по дешевке, униженный этим, а те, которым достались его же акции, заставили Ауэрбаха еще более потесниться.

— Что же теперь с нами будет? — тревожилась жена.

— С нами? Не знаю. Зато со мною все уже ясно: из кресла председателя акционерного общества я вынужден перебраться на колченогий и шаткий стул рядового члена правления...

Наконец неизбежное случилось.

— Я... разорен, — объявил Ауэрбах жене. — Наше счастье, что сыновей успели поставить на ноги, а мы... Не лучше ли утешиться сознанием, что когда-то я был «королем»?

— Что же осталось нам? — тоскливо спрашивала она.

— Не огорчайся! В этой чудесной жизни все закономерно, и впереди нас ожидает прекрасная пора осеннего увядания. Надо обязательно предупредить сыновей, чтобы не теряли времени на пустяки, чтобы поторопились, ибо жизнь человеческая коротка...

Читатель, советую еще раз глянуть на портрет Ауэрбаха, исполненный его большим другом — передвижником Н.А. Ярошенко: чувствуете, сколько ума, сколько энергии заключено даже в позе этого беспокойного человека, а в ворохе деловых бумаг на его столе загаились конторские счета, чтобы сначала подсчитывать победные прибыли, а потом с небывалым презрением откидывать трескучие костяшки убытков.

Александр Андреевич Ауэрбах скончался в 1916 году.

Мне очень хорошо запомнились слова Ауэрбаха, ныне звучащие несколько банально:

— ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА — ЧЕСТНО ИСПОЛНИТЬ ДОЛГ ПЕРЕД СВОИМ НАРОДОМ И ПЕРЕД СВОИМ ОТЕЧЕСТВОМ...

А теперь, читатель, подумаем: так ли уж банальны эти слова?

Ведь они были сказаны не худшими людьми, а лучшими.

И произносились от чистого сердца — без подсказки свыше.

Что человек думал, то он и говорил...

Последние из Ягеллонов

Б а р и... Я не знаю, посещают ли этот город в Калабрии наши туристы. Но до революции русские паломники ежегодно бывали в Бари, чтобы поклониться его христианским святыням; из Одессы их доставлял в Италию пароход «Палестинского общества», а билеты богомольцам продавали по заниженным ценам. Наши бабушки и дедушки, даже деревенские, хорошо знали этот город с его храмом Николая Чудотворца, и неудивительно, что в ту пору многие жители Бари владели русским языком. Наконец в 1944 году в Бари

по-хозяйски базировались наши самолеты и жили наши летчики, которые, совместно с американскими, обслуживали в горах Югославии армию маршала Тито.

Конечно, во все времена древняя базилика Николая охотно посещалась людьми, в числе ее памятников всех поражала беломраморной помпезностью усыпальница Боны Сфорца, которая была женою польского короля Сигизмунда Старого... Тут я вынужден остановиться, чтобы напомнить: Польша — наша старинная соседка, иногда скандальная и крикливая, но с которой нам все равно никогда не расстаться; сама же история Польши столь тесно переплетена с нашей, что не знать прошлого поляков — хотя бы в общих чертах! — просто непозволительно.

Но однажды я заметил, что мой приятель (человек вроде бы достаточно образованный) небрежно перелистал красочный альбом картин знаменитого Яна Матейко и... зевнул.

— Зеваешь? Не любишь этого художника?

— Люблю, — скромно сознался приятель. — Но, к сожалению, смысл его исторических полотен теряется в бездне моего незнания. Вот тут некая Сфорца принимает лекарство от врача, а вот какая-то Барбара Радзивилл... красивая бабенка! Помилуй, откуда нам знать эти имена, если мы и свои-то растеряли, заучив со школьной скамьи лишь такие «светлые» личности, как Иван Грозный да Петр Первый, которые клещами палачей да легендарными дубинами прививали европейский лоск нашим достославным предкам, желавшим едино лишь сытости и покоя...

Мне осталось только вздохнуть. Что сказать в ответ, если читатели иногда спрашивают меня — откуда взялась на Руси принцесса Анна Леопольдовна, сына которой благополучно зарезали, почему вызвали из Голштинии сумасбродного Петра III, своих, что ли,

дураков не хватало?.. Грустно все это. Но одной грустью делу просвещения не поможешь. Тем более что рассказ о Боне Сфорца я уже начал. Она овдовела в 1548 году, когда скончался ее муж Сигизмунд Старый, сын Ягеллончика...

Катафалк с телом усопшего стоял в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове; суровые рыцари в боевых доспехах склонили хорунжи (знамена) Краковии, Подолии, Мазовии, Познани, Вольши, Померании, Пруссии и прочих земель польских.

Жалобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли свечи к знаменам, и они разом вспыхнули, сгорая в буйном и жарком пламени. Тут раздался цокот копыт — по ступеням лестницы прямо в собор въехал на лошади воевода Ян Тарло в панцире; поверх его шлема торчала большая черная свеча, коптившая едким дымом.

В руке Тарло блеснул длинный меч:

— Да здравствует круль Сигизмунд-Август!

Имя нового короля, сына покойного, было названо, и канцлер с подскарбием разломали государственные печати — в знак того, что старое королевье кончилось. Сигизмунд-Август снял с алтаря отцовские регалии, и согласно обычаю он расшвырял их, как негодный хлам, по углам собора. В это же мгновение герцог Прусский и маркграф Бранденбургский (вассалы польские) выхватили из ножен свои мечи. С языческим упоением они сокрушали реликвии былой власти над ними. Громко зарыдали триста наемных плакальщиц. Над головами множества людей слоями перемещался угар тысяч свечей и дым сгоревших хорунжей.

Бона Сфорца вдруг резко шагнула вперед и алчно сорвала с груди покойного мужа золотую цепь с драгоценным крестом:

— Не отдам земле — это не ваше, а из рода Сфорца...

В дни траура король навестил мать в королевском замке.

Еще красивая, стройная женщина, она встретила сына стоя; ее надменный подбородок утопал в складках жесткой испанской фрезы. Молодой король приложился к руке матери, целуя ее поверх перчатки, украшенной гербами Сфорца, Борджиа и Медичи, близко родственных меж собою.

— Покойный отец мой, — начал он деловой разговор, — совсем недавно выплатил дань Гиреям крымским, чтобы они дали нам пожить спокойно. Но, получив дань, вероломные татары уже вторглись в наши южные «кресы», угоня в Крым многие тысячи пленников. Теперь, если выкупать их на рынках Кафы*, нужны деньги, а наша казна пуста...

— Чего ты хочешь, глупец? — жестко спросила Бона.

— Я желаю знать: насколько справедливы те слухи, что вы, моя мать, отправили миллионы дукатов в Милан и в «золотую контору» аугсбургских банкиров Фуггеров?

Бона Сфорца безразлично смотрела в угол.

— Какие вести из Московии? — спросила отвлеченно.

— Иван Васильевич венчал себя царским титулом, а Крымским ханством начал владеть кровожадный Девлет-Гирей. Но я... жду. Я жду ответа о казне Польши, бесследно пропавшей.

Скрип двери выдал гнусное любопытство врача Папагоди, но Бона сделала знак рукою, чтобы сейчас он не мешал.

— Я не только Сфорца, — отвечала мать, гневно дыша, — во мне течет кровь королей Арагонских, кровь благочестивых Медичи и Борджиа, и еще никто не осмеливался попрекать нас в воровстве... Ступай прочь! Зачем ты велел закладывать лошадей?

* Кафа — нынешний город Феодосия, с давних времен был главным рынком работорговли, где татары продавали русских, украинских и польских женщин для восточных гаремов.

— Я отъезжаю в Вильно.

Боной Сфорца овладел яростный, дикий крик:

— Твое место в Кракове или в Варшаве... Или тебе так уж не терпится снова обнюхать свою сучку Барбару Радзивилл, которую всю измял бородатый верзила Гаштольд, даже в постели не снимавший шлема и панциря?

Король бледнел от страшных оскорблений матери.

— Но я люблю эту прекрасную женщину, — отвечал он тихо.

— Ах, эта любовь! — с издевкою произнесла Бона. — Меня за твоего отца сватал сам великий германский император Карл, и тебе надобно искать жену из рода могучих Габсбургов, пусть из Вены или из Толедо. Бери любую принцессу из баварских или пфальцских Виттельсбахов, по тебе тоскует вдовая герцогиня Пармская, наконец, вся Италия полна волшебных невест из Мантуи, Пьяченцы и Флоренции, а ты... К о г о ты избрал?

— Я никогда не оставлю Барбару, — заявил сын.

— А-а-а, — снова закричала мать, — тебе милее всех эта дикарка из деревни Дубинки, где она расцвела заодно с горохом и вонючей капустой... Чем она прельстила тебя?

— Тем, что Барбара любит меня.

— Тебя любила и первая жена — Елизавета Австрийская.

— Да! — вспыхнул король, обозленный словами матери. — Да, любила... Но вы сначала разлучили меня с нею, а потом извели по-таенным ядом из наследия благочестивых Борджиа.

Дверь распахнулась, вбежала Анна Ягеллонка, сестра молодого короля. Рухнула на колени между братом и матерью:

— Умоляю... не надо! Даже в комнатах фрауциммер слышно каждое ваше слово, и лакеи смеются... Сжальтесь! Не позорьте же перед холопами свое достоинство Ягеллонов...

— Хорошо, — согласился Сигизмунд-Август, нервно одернув на себе короткий литовский жупан. — Мертвых уже не вернуть из гробов, но еще можно вернуть те коронные деньги, что тайно погребены в сундуках аугсбургских Фугтеров.

Бона Сфорца злорадно расхохоталась в лицо сыну:

— Ты ничего не получишь. И пусть пропадет эта проклятая Польша, где холодный ветер задувает свечи в убогих каплицах и где полно еретиков, помешанных на ереси Лютера...

После отъезда сына она тоже велела закладывать лошадей. Ее сопровождали незамужние дочери — Анна и Екатерина Ягеллонки. Спины лошадей, потные, были накрыты шкурами леопардов.

— Едем в замок Визны, — сказала Сфорца. Под полозьями саней отчаянно закрипел подталый снег. — О, как я несчастна! Но вы, дочери, будете несчастнее своей матери... Я изнемогла вдали от солнца прекрасного Милана. Как жить в этой стране, если к востоку от нее — варварская Московия, а из германских княжеств наползает на Полонию лютеранская ересь. Я не пожалела бы и миллиона золотых дукатов, чтобы в городах моего королевства освещали мне путь костры святой инквизиции.

...Было время гуманизма и невежества, дыхание Ренессанса коснулось даже туманных болот Полесья, а ветры из Европы доносили дым костров папского изуверства. Правда, в Польше тоже разгорались костры: заживо сжигали колдуний, упырей, ворожеек и отравителей. Но казни еще не касались «еретиков» лютеранской веры, поляки тогда были веротерпимы, и Реформация быстро овладевала умами магнатов и «быдла». Бона Сфорца сказала:

— Без псов Господних нам не обойтись...

«Псами Господними» называли себя иезуиты.

В каминах мрачного замка Визны жарко потрескивали дрова, но все равно было зябко. Бона Сфорца накрыла голову испанским беретом из черного бархата, ее платье — платье вдовы — было густо осыпано дождем ювелирных «слез», отлитых при дворе испанского короля Филиппа II из чистого мексиканского серебра.

Махра Вогель, ее приемная дочь, тихо играла на лютне.

— Когда-то и я трогала эти струны, — сказала Бона, вычурно ступая на высоких котурнах. — Но все прошло... все, все, все! Теперь я жду гонца из Вильны, а он все не едет.

— Может, его убили в дороге, — подсказала Махра.

— Такое у нас бывает... часто, — согласилась Бона.

Она выглянула в окно: за рекою чернели подталые пашни, дремучие леса стыли за ними, незыблемые, как и величие древней Полонии. Наконец она дождалась гонца, который скакал пять суток подряд, скомканый вальтрап под его седлом был заляпан грязью, как и он сам. Гонец протянул пакет:

— Из Литвы, ваша королевская ясность.

— Кто послал тебя ко мне?

— Петр Кмит, маршал коронный.

— Что ты привез?

— То, о чем знают уже все. Король и ваш сын Сигизмунд-Август ввел Барбару Радзивилл в Виленский дворец, публично объявив ее своей женою и великой княгиней Литовской...

Нет, ничто не изменилось в лице Боны Сфорца.

— Ты устал? Ты хочешь спать? — пожалела она гонца.

— Да, устал. Хочу спать и — пить...

Сфорца перевернула на пальце перстень, сама наполнила бокал прохладной венджиной и протянула его гонцу:

— Пей. С вином ты уснешь крепко...

Потом из окна она проследила, как гонец, выйдя из замка, шел через двор. Ноги его вдруг подкосились — он рухнул и уже не двигался. В палатах появился маршалок замка:

— Гонец умер. Еще такой молодой... жалко!

— Но он ведь слишком утомился в дороге...

Перстень на ее пальце вдруг начал менять окраску, быстро темнея. Махра Вогель перестала играть на лютне:

— Что пишут из Литвы?

— Дурные вести — у нас будет молодая королева, и сам Всевышний наказал гонца, прибывшего с этой вестью.

Теперь осталось дело за малым: возмутить шляхту и сейм, всегда алчных до золота, чтобы они не признавали брака ее сына. Петр Кмит был давним конфидентом Боны, по его почину быстро собрался сейм. Подкупленные шляхтичи требовали от Сигизмунда-Августа, чтобы он оставил Барбару Радзивилл.

— Эта паненка, — кричали ему, — уже брачевалась со старым Гаштольдом, что был воеводой в Трокае на Виленщине, так зачем нашему королю клевать вишни, уже надклеванные ястребом?

Сигизмунд оставался непреклонен в своем решении:

— Болтуны и пьяницы, замолчите! Я ведь не только последний внук Ягеллончика, но я еще и человек, как и все мы... грешные. А любовь — дело сердца и совести каждого христианина. И вы знаете: да, я безумно люблю Барбару...

Напрасно люблинский воевода Тарло рвал на себе кунтуш:

— Сегодня она только княгиня Литовская, а завтра ты назовешь ее нашею королевой... Пересчитай мои рубцы и шрамы, король! Я сражался за наши вольности с татарами, с германцами, с москочитами, когда тебя еще не было на этом свете. Так мне ли, старому воину, кланяться твоей захудалой паненке?

Сигизмунд-Август усмехнулся с высоты престола:

— Воевода! Барбара достаточно умна и образованна, чтобы даже не замечать, если ты не удостоишь ее своим поклоном...

Во время этого «рокоша» Бона Сфорца сидела в ложе, укрывая за ширмой своего фаворита и врача Папагоди, который был поверенным всех ее тайн и всех ее страстей. Сейм уже расходился, и тогда Бона с кроткой улыбкой подошла к сыну.

— Я уважаю твое чувство к женщине, покорившей тебя, — сказала она прослезясь. — Будь же так добр: навести меня вместе с Барбарой, я посмотрю на нее, и мы станем друзьями...

Здесь уместно сказать: при свиданиях с матерью король не снимал перчаток, ибо в перстнях ее таились тончайшие ядовитые шипы — достаточно одного незаметного укула, чтобы мать отправила на тот свет родного же сына. Сигизмунд-Август отвечал, что согласен навестить ее вместе с Барбарой:

— Но прошу вас не блистать перед ней перстнями...

Барбара, желая понравиться свекрови, украсила голову венком из ярких ягод красной калины — это был символ девственности и светлой любви. Бона расцеловала красавицу:

— Ах, как чудесны эти языческие прихоти древней сарматской жизни! А я начинаю верить, что ваша светлая любовь к моему сыну чиста и непорочна, — добавила Бона с усмешкою.

Стол был накрыт к угощению, в центре его лежала на золотом блюде жирная медвежья лапа, хорошо пропаренная в пчелином меду и в сливках. Но Барбара, предупрежденная мужем об искусстве врача Папагоди, всем яствам предпочла яблоко... только яблоко! Да, сегодня перстней на пальцах Боны не было. Бона взяла нож, разрезая яблоко надвое, и при этом мило сказала:

— Разделим его в знак нашей будущей дружбы...

Наследница заветов преступных Борджиа, она хорошо знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здоровой, съев свою половину яблока, а любимая Барбара Радзивилл вскоре же начала заживо разлагаться. Ее прекрасное лицо, ставшее сизо-багровым, отвратительно разбухло, губы безобразно раздвинулись, распухая; наконец, ее дивные лучистые глаза лопнули и стекли по щекам, как содержимое расколотых куриных яиц. От женщины исходило невыносимое зловоние, но король не покинул ее до самой смерти и потом всю долгую дорогу — от Кракова до Вильны — ехал верхом на лошади, сопровождая гроб с ее телом...

Барбара была отравлена в 1551 году, а вскоре Сигизмунд-Август, дважды овдовевший, прогнал от себя и третью жену Екатерину из дома венских Габсбургов, брак с которой силой навязала ему мать. Но вслед за изгнанием жены король — в жесточайших попреках! — начал изгонять из Польши и свою мать:

— Только не забудьте забрать и своего любимца Папагоди, которого лучше бы именовать не исцелителем, а могильщиком...

Заодно с любовником Бона Сфорца вывезла из Польши несметные богатства, награбленные еще при жизни Сигизмунда Старого. Семья миланских герцогов Сфорца не пожелала видеть экс-королеву в своем Милане, и Бона перебралась в Бари, где завела пышный двор. Близилось ее шестидесятилетие, но Бона еще мечтала об удовольствиях, для чего и заботилась о возвращении молодости, над секретом которой немало хлопотал Папагоди в своей тайной лаборатории. Вскоре, узнав о ее богатствах, испанский король Филипп II выпросил у нее в долг 420 000 золотых дукатов, и Бона охотно отдала их королю, зная, что эти деньги пойдут на искоренение «ереси», чтобы жарче разгорались огни инквизиции.

— Мы распалим в Европе такие костры до небес, что даже у ангелов на небесах обуглятся их ноги! — восклицала она.

После этого, получив личное благословение папы римского, Бона Сфорца собралась нежиться на солнце еще много-много лет. Был уже конец 1557 года, когда врач Папагоди, веселый и красивый, поднес ей кубок с эликсиром для омоложения.

— Выпейте, — сказал он нежно. — Глупо принимать ванны из крови невинных девочек, как это делают некоторые знатные дамы, если вернуть живость юности можно через такой вот декокт, который я приготовил для вас по самым древним рецептам...

Это был отличный декокт — пополам с ядом. Как тут не воскликнуть: «O tempora, o mores!»

Смерть Боны Сфорца совпала с возникновением Ливонской войны, которую слишком рьяно повел Иван Грозный; но, вводя свои войска в земли Прибалтики, царь невольно затрагивал интересы и польской короны, а сама Польша — и даже ее воинственная шляхта — к войне с Россией никак не была готова.

Сигизмунд-Август отмахивался от разговоров о пушках:

— Увы, все пушки заряжаются не порохом, а деньгами...

Он почти слезно умолял банкиров Фуггеров (этих предтечей династии Ротшильдов), чтобы они, мерзавцы, вернули Польше деньги, вложенные в их банк его матерью, но Фуггеры нагло отрицали наличие вклада. Король обратился в Мадрид к Филиппу II, чтобы тот, благородный Габсбург, вернул долги матери...

Король Испании даже НЕ ответил королю Польши!

Ливонская война, столь опрометчиво затеянная русским царем, затянулась на многие годы, но Сигизмунд-Август не помышлял о победах. Отчаявшись в жизни, презренный даже для самого себя,

король ужасался при мысли, что останется последним Ягеллоном, и бросился в омут распутства; пьяный, он кричал по ночам:

— Умру, и... кому достанется Речь Посполитая?

Он окружил себя волхвами, кудесниками и магами. Знаменитый алхимик и чародей пан Твардовский (этот польский Фауст) окуривал короля синим дымом, и тогда перед ним возникал дух Барбары Радзивилл. Отделясь от стены, она, почти лучезарная, тянула к нему руки, и король, отбросив чашу с вином, кидался навстречу женщине, а потом скреб пальцами холодную стенку:

— Не мучай! Приди... еще хоть раз. Вернись...

Сигизмунд-Август скончался в 1572 году, и, как сообщает наш великолепный историк С.М. Соловьев, он умер в позорной нищете: «В казне его не нашлось денег, чтобы заплатить за похороны, не нашлось ни одной золотой цепи, ни одного даже кольца, которые должно было надеть на покойника». После смерти последнего Ягеллона в Польше наступило опасное «бескрулевье», в котором сразу появилось немало претендентов на его корону — в том числе хлопотал о ней и русский царь Иван Грозный, вождевший «почти» от Екатерины Ягеллонки.

Но в короли поляки избрали парижского вертопраха Генриха Валуа, сына Екатерины Медичи, который, поразвратничав в Варшаве, однажды ночью бежал из Польши, и новое «бескрулевье» завершилось избранием в короли Стефана Батория, согласившегося жениться на беззубой старухе Анне Ягеллонке. А «невеста» русского царя — Екатерина Ягеллонка — стала женою шведского короля Юхана III, и вот они оба, мужья Ягеллонок, стали побеждать слабую армию Ивана Грозного...

Здесь мне желательно сказать о другом! Ровно через 26 лет после вырождения Ягеллонов безобразно выродилась на русском престоле и правящая династия Рюриковичей; но, согласитесь, есть что-то

общее в том, что эти династии, когда-то могучие, завершали свой кровавый путь в презренном маразме слабоумия, в пакости самого гнилостного разврата.

Не вернуться ли нам в древний городок Бари?

Может быть, теперь, когда в нашей стране верующие обретают свободу совести, может быть, повторяю, возобновятся поездки паломников по местам древнейших христианских святынь, и, может быть, они навесвят и город Бари, где увидят Бону Сфорца, стоящую на коленях поверх гробницы со своими же костями.

В этом случае хотел бы предостеречь, что кланяться перед Боной Сфорца не надо — она не святая! Эта зловещая дама сделала все, чтобы на земле не осталось Ягеллонов...

Под золотым дождем

Князь Дмитрий Голицын, русский посол в Гааге и знаток искусств, сообщал в небывалом раздражении, что 1771 год стал для Эрмитажа горестным. Картины из собрания Гаррита Браамкампа, закупленные им недавно для императрицы, погибли заодно с кораблем, который на пути в Петербург разбило бурей у берегов финских. Голицын писал, что есть особая причина несчастья, увеличивающая его страдания: «Это — набожность! Да, именно набожность... Море было бурное. Но когда настал час молить, капитан все бросил и отправился орать свои псалмы с остальным экипажем. И в самый разгар его молитв корабль разбило о рифы... Причина несчастья, — заключал атеист Голицын, — столь великолепна, что доставляет мне удовольствие».

По Европе блуждали слухи, будто Екатерина II послала водолазов-ныряльщиков на поиски погибшего корабля, чтобы спасти драгоценные полотна, но эти сплетни оказались ложными. Императрица

отнеслась к потере сокровищ не так горячо, как ее безбожник-дипломат. «Я не любительница, я просто жадная», — откровенно говорила она о своем собрании Эрмитажа. О катастрофе с кораблем императрица известила Вольтера. «В подобных случаях, — писала она, — нет другого убежища, кроме того, как стараться забыть злополучия...» Но уже в январе 1772 года Вольтер отвечал императрице: «Позвольте сказать, что Вы непостижимы! Едва успело Балтийское море поглотить картины, купленные в Голландии на шестьдесят тысяч ефимков, а Вы уже приказываете привезти (картины) из Франции на четыреста пятьдесят тысяч ливров... Не знаю я, — непритворно удивлялся Вольтер, — откуда Вы берете столько денег?»

Деньги-то были казенные, а Эрмитаж создавался как личная коллекция императрицы. В собрание образцов искусства Екатерина II вкладывала громадный политический смысл: в пору народных смут и кровавых войн, неурожаев и стихийных бедствий, если она, владычица государства, бухает деньги на покупку картин, значит, в Европе станут думать: ого, дела Русской империи превосходны... Когда же Дени Дидро из Парижа подсказал о распродаже галереи умершего герцога Пьера Кроза, Екатерина еще колебалась. Но в Петербурге у нее был хороший советчик — граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Вот его она и спросила:

— Стоит ли тратить деньги на картины от Кроза?

Миних был автором первого научного каталога Эрмитажа: приятель Руссо, он собирал для Дидро материалы по экономике России; не доверять его знаниям и его вкусу царица не могла.

— Не ошибусь, — отвечал Миних, — если скажу, что после Орлеанской галереи частное собрание Кроза было лучшим в Париже. Так что платите не раздумывая! Там одного Рембрандта семь картин, там сразу две «Данаи» — Рембрандта и Тициана.

— Уж я-то их не провороню, — решила Екатерина...

...В июне 1985 года советские газеты оповестили читателей, что какой-то негодяй или безумец плеснул кислотой на рембрандтовскую «Данаю». Что заставило его уродовать красоту женщины? Но тут же я вспомнил, что в 1976 году — не у нас, а в музее Амстердама! — некий мерзавец, бывший учитель истории, нанес 13 ножевых ран гениальной картине Рембрандта «Ночной дозор». Заодно мне вспомнилось и то злодейское поругание, которому в залах Третьяковской галереи подверглась картина Ильи Репина — царь Иван Грозный убивает своего сына Ивана; в данном случае повинен спятивший богомаз Абрам Балашов. Но примечательно, что никто не обливал кислотой квадратики и кружочки на картинах Кандинского, никто не бросался с ножом на «шедевры» Шагала, у которого по небу летают коровы и женихи с невестами! Удары маньяков и недоумков всегда были направлены на гигантов — от Рембрандта до Репина. Великое и талантливое нас, нормальных людей, восхищает, но бездарности и психопаты ненавидят великое и талантливое...

Все это, вместе взятое, привело меня к мысли — поведать историю оскорбленной рембрандтовской «Данаи», любимой самим ее создателем и всеми нами.

Рембрандт был влюблен. Рембрандт был еще беден.

Вот его дневной рацион: кусок сыра и селедка с хлебом.

— Достаточно, — говорил мастер. — Теперь работать...

Саския была из богатой семьи с претензиями на аристократизм, а Рембрандт сыном мельника, с которым семья Саскии не слишком хотела породниться. В гневе праведном на людскую пошлость художник написал картину на библейскую тему — как Самсон угрожал отцу возлюбленной. Рембрандт автопортретировал себя в виде

Самсона, показывающего кулак. Но смысл был далек от легенд. «Отдайте мне Саскию!» — требовал он...

Саския вошла в его дом в 1633 году, когда имя Рембрандта в Голландии уже обрело весомую известность. Он был вполне обеспечен заказами, потому тысячи флоринов, принесенных Саскией в приданое, не обогатили его, а лишь закрепили его положение в чванном обществе бюргеров. Добившись любви патрицианки, художник окружал ее небывалой роскошью. Рембрандт любил Саскию очень сильно, он украшал ее земные прелести жемчугами и бриллиантами. Рисовал и писал с нее множество портретов, в каждом из них стараясь выявить все лучшее, что характерно для женщины, счастливой в упоении счастливого брака. Да, он ее очень любил...

Свой дом в Амстердаме живописец превратил в антикварную лавку редкостей; стены были обвешаны подлинниками величайших живописцев прошлого, шкафы он заполнил ценнейшими гравюрными увражами. Здесь было все, что нужно для возбуждения творческих порывов, и Рембрандт наслаждался лицезрением рыцарских доспехов, чучелами заморских птиц, узорами персидских ковров, раковинами с загадочных островов, его пальцы нежно касались японских ваз, он трогал поющие грани волшебного венецианского стекла, его ученики могли отдыхать, играя на музыкальных инструментах почти всех народов мира.

В этом чудесном доме искусств Саския оживляла быт мастера своим чарующим смехом. А через три года после свадьбы Рембрандт украсил мастерскую новым торжественным полотном.

Это и была наша «Даная»!

Казалось, и конца не будет семейному счастью, но все дети умирали в младенчестве. Саския несла в своем теле неизлечимую

болезнь, и в 1642 году она родила Рембрандту последнего сына — Титуса... Титус выжил, но его мать умерла.

Траурная пелена загасила краски мира, бывшие радости погрузились в глубокую тень. Чья-то рука вдруг опустилась на плечо, и художник обернулся... Перед ним стояла Гертье Диркс — молодая, крепкая, здоровая. И протягивала бокал с вином.

— И это пройдет, мастер, — утешала она. — Пейте...

Рембрандт раньше не удостоивал служанку вниманием.

— Я выпью... Саския взяла тебя в няни Титуса, но я не знаю, кто ты и откуда пришла в мой дом?

— Я вдова корабельного трубача, который так усердно дул в свою трубу, пока не лопнул, как свиной пузырь... Э! Стоит ли мне жалеть об этом негоднике, прости его Боже...

Скоро друзья художника заметили, что Гертье отяготила свой пояс связкою домашних ключей, она держалась слишком уверенно, — как хозяйка. В этой молодой женщине было что-то и подкупающее, иногда она казалась даже красивой. Как бы то ни было, но Рембрандт не тяготился ее любовью. Наверное, он был даже благодарен ей за то, что ласковой заботой она отвлекла его от страданий, вернула ему вдохновение, пальцы мастера снова потянулись к палитре.

Но практичная Гертье Диркс слишком настойчиво стучалась в сердце мастера, она разбудила в Рембрандте совсем иные творческие мотивы, ранее ему никак не свойственные. Так появились картины, в которых женская нагота пленительно засветилась с полотен. Вот она, эта Гертье: раздобревшая, словно кухарка, от хорошей жизни в чужом и богатом доме, толстая и плотная, она лежит в постели, отдергивая полог... Рембрандт обрел новый взгляд на женщину, изменился характер его творчества, и в 1646 году он переписал «Данаю»!

Впрочем, все складывалось хорошо, пока в доме Рембрандта не появилась новая служанка — Хендрике Стоффельс.

— Я дочь простого сержанта, — поведала она о себе, — он служил на границе с Вестфалией... Не прогоняйте меня! Мне так уютно в вашем доме, наполненном сокровищами.

Рембрандт погладил ее по голове, как ребенка:

— Не бойся... если ты добра, буду и я добр к тебе.

Гертье Диркс, уже обвешав себя драгоценностями из шкатулки покойной Саскии, ощутила угрозу своему положению.

— Не пора ли нам идти под венец? — настаивала она...

В скромной опрятной служанке Гертье распознала свою соперницу. Ревность перешла в открытую злобу, от злобы недалеко и до подлой мести. Осенью 1649 года Рембрандта вызвали в «Камеру семейных ссор» (была в Амстердаме такая!), и здесь перед синклитом судей Гертье потребовала:

— Пусть он женится на мне, вот и кольцо от него, которое я всегда носила как обручальное. А если не может жениться, так пусть возьмет меня на свое содержание...

Суд постановил: Рембрандту следует выплачивать истице по 200 гульденов ежегодно. Но Гертье недолго злорадствовала: через год ее обвинили во многих грехах, и она оказалась в тюрьме. Утешительницей Рембрандта стала Хендрике.

— Помни, — говорила она, — что бы ни случилось с тобою, я всегда буду рядом... В счастье и в беде, но — рядом!

Хендрике заслуживала большой любви — честная, самоотверженная, она ничего не требовала для себя, зато отдавала Рембрандту все... Сюда никак не подходит слово «расплата», но мне кажется, Рембрандт все-таки расплатился с нею галереей ее портретов, на которых она предстает то в одеждах из золотой парчи, то выступая

из потемок в простом фартуке, зябко пряча в рукавах натруженные руки... Настал год 1654-й, когда Хендрикке принесла Рембрандту дочь — Корнелию!

Пуританская элита Амстердама, все эти юристы, антиквары, негоцианты, менялы, священники, бюргеры и банкиры, — все эти фарисеи (скажем точнее!) были возмущены.

Хендрикке вызвали в духовную консисторию:

— Распутница и прелюбодейка, соседи обходят тебя на улицах стороною, как чумную... Клянись же перед священным распятием, что покинешь дом Рембрандта, дабы никогда более не осквернять житейскую мораль своей грязной порочностью.

— Нет, не уйду! — гордо отвечала женщина...

Она вернулась к нему, шатаясь, падая от беды.

— Что сделали с тобою? — встревожился Рембрандт.

— Они сделали... отлучили меня от церковного причастия. Я теперь, как собака, не могу войти даже в церковь. Но они не могли лишить меня святого причастия к жизни Рембрандта...

Через все препоны, через свой женский позор чудесным откровением пришла Хендрикке к нам из прошлого мира и осталась навеки с нами — потрясающей «Вирсавией», заманчивой «Купальщицей», «Венерой, ласкающей амура», — она, запечатленная на этих полотнах, обрела заслуженное бессмертие.

Но дела самого Рембрандта становились все хуже: фарисеи не прощали ему Хендрикке, им не нравилось, что их мещанским вкусом Рембрандт прививает свои вкусы. О нем стали болтать всякую ерунду, заказчики уже вмешивались в его работу:

— Почему вы не гладко кладете краски?

— Но я же не красильщик, а живописец, — бесился Рембрандт.

Его навестил сосед, богатейший сапожник.

— Что вам надо здесь? Что вы шляетесь по комнатам?

— Я куплю ваш дом. Мне он нравится.

— Кто вам сказал, что мой дом продается?

— Соседи. Они сказали, что вы в долгах...

Саскии выпала вся полнота семейного счастья, даже Гертье получила свою долю довольства, зато бедной Хендрикье выпало пережить самое тяжкое. В дом-музей ворвалась яростная и жадная толпа кредиторов, подкрепленная сворой юристов, и они беспощадно описывали имущество художника. Все растащили! Но самое гнусное, самое мерзкое было в том, что среди грабителей появилась и Гертье Диркс, хватавшаяся за испанские стулья, обитые голубым бархатом, за редкостные клинки из Дамаска, она утащила мраморный рукомоиник, она вытряхивала белье Рембрандта из орехового комода... Она восторгалась:

— Не хотел быть моим мужем, мазилка! Теперь все мое...

Именно ее подпись стоит под документом, объявлявшим по всей стране о банкротстве Рембрандта. Его, великого голландца, Голландия выбросила из дома, который он создал; он, плачущий, вытащил узел с пожитками на улицу... Теперь в его дом въезжал торжествующий хам-сапожник! Но среди всех потерянных вещей навсегда ушла от взора Рембрандта и картина «Даная». Наверное, он мог бы сказать ей:

— Прощай, любовь... прощай, молодость!

«Даная» ушла, и кисть мастера уже никогда ее не коснулась. Сложными путями картина переходила из рук в руки, пока из парижского собрания Кроза не оказалась в нашем Эрмитаже.

За окнами Зимнего дворца сиренево вечерело...

Картины от герцога Кроза сразу обогатили собрание Эрмитажа. Екатерина с графом Минихом обозревала покупки. Возле рембрандтовской «Даная» она вскинула лорнет к глазам:

— Быть того не может! Не спорю — картина хороша, но... Где же золотой дождь, которым Зевс осыпал Данаю, после чего бедняжка сия и забрюхатела, вскорости породив героя — Персея!

Миних пожал плечами, неуверенно хмыкнув:

— Дождя нет, матушка. И сам не пойму, отчего Рембрандт, столь точный живописец, забыл о золотом дожде, проливающимся на узницу, жертву своего злого отца. Однако в коллекции Кроза эта «Даная» висела подле «Данаи» тициановской... Значит, у самого владельца таких сомнений не возникало!

Екатерина перевела лорнет на творение Тициана.

— Ну, тут все точно, — сказала она. — Червонцы так и сыпят с неба, будто Даная угодила под золотой ливень... Недаром ее служанка подставила под него свой большущий мешок!

Миних, близорукий, приблизился к полотну Рембрандта, он почти обнюхивал картину, и Екатерина расхохоталась:

— Что вы там еще обнаружили, граф?

— Странно! — отвечал Миних. — Даная должна бы смотреть кверху, обозревая золотой дождь, но ее взгляд на картине обращен прямо перед собой... Получается, матушка, так, что эта несчастная ожидает любви земной, а не небесной!

— Да, — согласилась императрица посмеиваясь, — что-то чересчур странно ведет себя наша Даная...

Итак, стоило картине Рембрандта украсить залы Эрмитажа, как сразу начались загадки. А загадки перешли в раздел непроницаемой тайны, покров с которой не сорван до конца и поныне. На всякий случай я заглянул в популярную «Историю искусств» П.П. Гнедича, который писал, что Даная «представляет молоденькую (?), но почти безобразную (?) женщину, лежащую в кровати на левом боку. Старуха с большим мешком и связкою ключей отдергивает полог кровати,

и через образовавшееся отверстие врывается солнечный луч, озаряющее тело лежащей... Все догадки знатоков о том, что это жена Товия или что это Даная, не имеют никакого серьезного значения...» Вот те на! Именно этот коварный вопрос — Даная, или не Даная? — больше всего и занимает исследователей, как прежде, так и теперь... К этому вопросу можно добавить и второй, весьма существенный: кто из женщин позировал живописцу для его «Данаи»?

Историки сначала как следует взялись за старуху, непонятно зачем отдергивающую кроватный полог:

— При чем здесь ключи, если служанка была заточена вместе с Данаей, а узница не могла иметь ключей... Наконец, если нет золотого дождя, то к чему она держит мешок?

XVIII век открыл полемику вокруг этой картины, а XIX век продолжил ее, но уже в более резкой форме. Требовали даже переменить название, в 1836 году из Англии поступило в Россию деловое предложение атрибутировать «Данаю» попроще — «В ожидании любовника». Под конец века, и без того бурного, полемика обострилась. Если бы можно было прислушаться к разноголосице мнений, то, наверное, диалог выглядел бы так:

— Это кто угодно, только не Даная... Скорее, это Далила, ожидающая любовного визита Самсона.

— Или жена Пантефрия, ожидающая юного Иосифа.

— Вирсавия! Это Вирсавия ждет своего Давида.

— Дамы и господа! Вы все ошибаетесь: это просто грязная библейская девка Лия, которую обещал навестить Иаков, вот она и раскрылась заранее в трепетном ожидании.

— Пойдите, коллега, а если это — Мессалина?

— Да нет, это библейская Агарь.

— А почему не обычная языческая Венера?

— Кем бы ни была эта женщина, но, простите, Даная без золотого дождя — это уже не Даная. И почему, я спрашиваю вас, золотой амурчик, прикованный к ее постели, горько рыдает, хотя ему надо бы радоваться...

Наконец обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки Данаи — обручальное кольцо. Тут уже все полетело кувырком. «Героиня картины — замужняя женщина. Можно ли представить себе, чтобы Рембрандт столь вольно трактовал тему Данаи? Это решительно немыслимо», — писали историки искусств.

— Минуту внимания! — требовали у них знатоки. — В парижской коллекции Кроза картина уже именовалась «Данасей», мало того, она висела над дверями подле «Данаи» тичиановской... Не была ли прихоть владельца именно так назвать полотно Рембрандта, чтобы устроить приятный пандан к Тициану?

— Не забывайте о кольце, черт вас побери!

— А вы не забывайте о том, что при описи имущества Рембрандта была изъята картина по названию именно «Даная».

— Так и что нам с того? Наверное, была у Рембрандта картина «Даная», которая до нас просто не дошла...

— Да нет, дошла! Вот же она висит в Эрмитаже.

— А вы мне докажите, что это именно она...

Достоин удивления, что все эти долгие годы, невзирая на жесткие споры, возникавшие вокруг достоверности Данаи, Эрмитаж названия ее никогда не менял, продолжая называть картину тем именем, с каким она попала в собственность русской императрицы. Пожалуй, нет смысла излагать все версии, высказанные об этой картине, ибо любая из версий тут же опровергалась другой версией, которая казалась более убедительной...

Нашлись историки, судящие чересчур здраво:

— К чему споры? Не лучше ли согласиться с тем, что Рембрандт изобразил бытовую картинку... Ну, была женщина. Ну, долго не видела мужа. Ну, муж сейчас придет. Ну и что?

В новом времени появились новейшие возможности.

Юрий Иванович Кузнецов, советский искусствовед, решил высветить тайны и загадки Данаи лучами рентгена.

Рентгеноскопический анализ — минута почти сокровенная...

— Ну вот и просыпался золотой дождь! — разглядел Кузнецов. — Теперь ясно, ради чего служанка держит мешок...

Аппарат высветил лицо Данаи, и в ее чертах вдруг проступила сама... Саския. Неужели? Неужели опять она? Да, в лучах рентгена возникла прежняя Саския — мало похожая на ту женщину, которую мы привыкли видеть в эрмитажной «Данае».

Рентген продолжал фиксировать сокрытое ранее:

— В первом варианте картины Данаи имела прическу, какую мы видим и на портрете Саскии из Дрезденской галереи. А вот и ожерелье на шее, тоже известное по портретам Саскии!

Под рентгеном выявилось, что Данаи-Саския раньше смотрела не прямо перед собой, а именно вверх — на золотой дождь.

Аппарат переместил свои лучи на ее руку:

— Положение руки совсем другое! В первоначальном варианте Данаи держит руку ладонью вниз — жест прощания, а в картине, уже исправленной, ладонь обращена кверху — призывно...

Наконец, рентген определил важную деталь: раньше бедра Данаи были стыдливо прикрыты покрывалом, и это было понятно, ибо художник оберегал сокровенность своей Саскии.

— Когда же он «сорвал» с нее покрывало?

— Когда разделил одиночество с Гертье Диркс, тогда же изменил

и черты лица Данаи, более близкие к типу лица той же Гертье... Амур рыдает, оплакивая счастливое прошлое!

Стало ясно: было две Данаи на одном полотне, как было и два чувства одного человека, одного художника.

Казалось бы, вопрос разрешен. Но выводы Ю.И. Кузнецова подверглись критике. В. Сложеникин так и озаглавил статью: «Все же это не Даная!» Он писал: «Перед нами не Даная, а жена Кандавла, ожидающая Гигеса...» Мне кажется, пусть Даная и далее возбуждает споры; в каждой тайне прошлого открывается стратегический простор для разгадок того, что давно и, кажется, уже безвозвратно потеряно...

Голландию эпохи Рембрандта принято считать свободной страной свободных граждан. Справедливее было бы именовать ее «купеческой республикой», где младенцу еще в колыбели дарили копилку, дабы он с детства возлюбил накопление денег. Человек в такой торгашеской стране считался добропорядочным и благородным только в том случае, если его кошелек распирало от избытков в нем золотых гульденов. Рембрандт, уже обнищавший, превратился в отверженного. Но по-прежнему гордо и вызывающе звучат для нас его вещице слова:

— Знайте же, люди! Когда я хочу мыслить по-настоящему, я никогда не ищу почета, а только свободы. Только свободы...

Рядом с ним шествовала по жизни Хендрике, и это его поддерживало. Но в 1663 году она умерла. Мы открываем самую печальную страницу бытия: Рембрандт *продал* надгробие любимой когда-то Саскии, чтобы оплатить могильщикам выкапывание могилы для любимой Хендрике. Был долгий путь с кладбища...

— Что осталось теперь? Мне теперь ничего не осталось, кроме жизни, которая заканчивается для всех одинаково.

Горько! Титус женился, но после свадьбы умер и Титус; его вдова родила ему внучку Титию и тоже скончалась... Горько!

А ведь была жизнь, была слава, была любовь.

Ах, какая дивная была жизнь! И не страшился грозить кулаком он, еще молодой, жадным накопителям денег.

— Все было, но... все еще будет! — говорил Рембрандт.

После его кончины аккуратные нотариусы Амстердама не забыли составить подробную опись его имущества: в ней значились стулья и носовые платки. Против каждой вещи было написано слово оценщика: «дешево»! Теперь эту опись с небывалой гордостью показывают иностранным туристам.

— Наша национальная святыня! — хвастают гиды.

То, что стулья и носовые платки стоили очень дешево, это в Голландии знают, а вот показать могилу Рембрандта не могут.

— Зато в архивах Амстердама свято оберегается протокол о полном банкротстве Рембрандта... тоже святыня!

Люди, которые похваляются этим, наверное, далеки от понимания трагедии художника. В путеводителях по Амстердаму обязательно значится посещение «дома, в котором жил великий Рембрандт». Но правильнее, на мой взгляд, писать иначе: «Дом, из которого выгнали великого Рембрандта!»

...После революции в голодном Переяславле наш замечательный мастер Д.Н. Кардовский читал молодежи лекции.

Это были возвышенные лекции о Рембрандте.

— Нам повезло! — говорил он. — Наша страна имеет большую литературу о Рембрандте, наши музеи и даже частные собрания хранят полотна бессмертного живописца...

Кардовский рассказывал о конце Рембрандта, который после смерти Хендрике «остался совсем один, с седой головой...». Он был

оклеветан врагами и завистниками, он едва ли был утешен слабым сочувствием лицемерных друзей. Рембрандт, говорил Кардовский, «опустился, стал бродить по ночным кабакам и там напиваться до бесчувствия, наконец он умер в крайней нужде».

Не пора ли, читатель, навестить в Эрмитаже его Данаю?

Теперь мы увидим в ней не только то, что видели раньше...

Будем беречь ее! Она стоит любого золотого дождя...

Славное имя — «Берегиня»

Пусть не свирепеют наши гордые мужчины, если я скажу, что женское здоровье гораздо важнее мужского. У древних славян, наших предков, женщину почитали славным именем — «Берегиня». В самом деле, кто бережет семейный очаг, кто перевязывает раны, кто накормит, кто сошьет одежду, кто наведет порядок в доме, кто примирит ссору в семье? Ко всему этому издревле приспособлена женщина, и, когда она болеет, дом рушится, мужчина, выпавший из-под женского контроля, превращается в «тряпку», а семья теряет то главное, что скрепляло ее воедино. Следовательно, «берегиня» хранит всех нас, а мы обязаны беречь свою «берегиню». Если же рассуждать о женском равноправии, то оно возможно только в том случае, когда женщина в обществе будет стоять выше мужчины — на пьедестале! А мы, зазнавшиеся охламоны, проходя мимо, должны снимать шляпы и кланяться ей. Вот тогда и будет подлинное равноправие...

Много лет погруженный в боевое и политическое прошлое России, я, конечно, не раз сталкивался с болезнями давнего времени, какими страдали литературные герои. Мое внимание не задерживалось на недугах аристократов вроде загадочной «хирагры», я не вникал в простонародные, мало понятные для меня «прострелы —

зато я приходил в ужас от стихийных бедствий нации, приносимых эпидемиями чумы, холеры и оспы. Но так уж получилось, что мое внимание в истории народного здоровья не заметило женских болезней, выделенных в особые разделы медицины — гинекологию и акушерство. Конечно, не было на Руси города или деревни, где не нашлось бы «повивальной бабки», умеющей принять ребенка из лона роженицы, но... Но тут возникает вопрос: когда же от этих примитивных «повитух» наша держава обрела подлинно научные методы акушерства?

Поставив женщину на высокий пьедестал, я в своем рассказе не собираюсь сажать ее в гинекологическое кресло. Это уж не мое дело! Но в завершение своей преамбулы приведу лишь один, очень выразительный пример: уже сто лет назад русская гинекология стояла на уровне лучших европейских образцов этой науки. А в Европе XVIII века Страсбург готовил лучших акушеров в мире.

История давняя! После виктории под Полтавой русская армия неожиданно имела тайного союзника — господаря молдавского, князя Дмитрия Кантемира, обещавшего царю помочь своим ополчением и провиантом. Но русская армия (вместе с императором, с Екатериной, его женою, и ее статс-дамами) попала в нерасторжимый капкан янычарской орды, и только богатый выкуп спас нашу армию от позорной капитуляции. Кантемир бежал в русский лагерь — вместе с женой и детьми; людей истомил изнуряющий зной, а гигантские тучи саранчи пожрали всю траву, и русская кавалерия пала от бескормицы...

Петр I вывел армию из кольца окружения; в ее обозе выехала на Русь и семья молдавского господаря. Сам же князь Дмитрий Кантемир — ему сейчас в Румынии ставят памятники! — был человеком умным, владел многими языками, писал книги... Женатый на Кас-

сандре Кантакузиной, он уже имел немалое потомство; среди его сыновей обрел для себя новую родину князь Антиох Кантемир, в будущем знаменитый русский поэт, а тогда трехлетний мальчик. Петр I щедро наградил своего неудачливого молдавского союзника именьями; Кантемиры жили в подмосковной усадьбе Черная Грязь, где был хороший барский особняк. Но испытания судьбы слишком отразились на жене господаря — Кассандра вскоре умерла. Изрядно погоревав, Дмитрий Кантемир в возрасте 55 лет влюбился в княжну Анастасию Ивановну Трубецкую.

Короткая справка: отец невесты попал в плен к шведам еще в битве при Нарве, и семья его поселилась в Стокгольме, чтобы разделить с ним все тяготы чужеземного плена. Юная Анастасия Трубецкая привлекла вдовца молодостью и европейским лоском, приобретенным ею в Стокгольме. Его свадьба с княжной была отпразднована в январе 1717 года; при этом замечу, что жених принадлежал к редким трезвенникам, и даже император не мог заставить его испить горькую чашу на свадьбе. Сам не пил и не позволял участвовать в ассамблеях ни молодой жене, ни подрастающим детям. Но семейная идиллия бывшего господаря была недолгой: в августе 1723 года Анастасия Ивановна овдовела, от брака с Дмитрием Кантемиром у нее осталась дочь, нареченная двойным именем — Смарагда-Екатерина.

Вот эта женщина и будет достойна нашего внимания!

Она родилась в 1719 году, была образованна и красива, почему гневная императрица Анна Иоанновна, весьма ревнивая к чужой красоте, запретила ей носить локоны в прическе и сверкать при дворе фамильными драгоценностями. В музее подмосковного города Истры сохранился ее портрет в молодости: я согласен, что в такую женщину — да! — можно влюбиться до безумия. Сочетание русской

породы от матери с кровью отца-молдаванина подарило девушке чудесную внешность. Но женихов что-то не было. Вернее, их было великое множество, словно карасей в пруду, но кавалеров отпугивала холодная непрístupность Смарагды, ее начитанность в философии и даже четкая латынь, к которой она не раз прибегала в разговоре с неотесанными женихами, зарившимися на ее приданое...

Минула мрачная бироновщина, на престоле воцарилась «дщерь Петрова» — императрица Елизавета Петровна, и в жизни многое изменилось. Смарагде уже не приходилось скрывать свои локоны, она смело накидывала на себя горностаевую мантию, скрепляя ее возле плеча алмазным аграфом, доставшимся ей по наследству из шкатулки турецкой султанши. Наверное, молодая женщина делилась перед зеркалом потаенными мыслями:

— Ах, красота! Но... кому нужна ты? Если бы ищущие моей руки и моего сердца знали мою беду, мое непоправимое горе!

На ее столе появились книги по медицине. Смарагду привлекали «материи» женского здоровья. По секрету от других она пыталась распознать причины своего недуга. В 1744 году княжна Кантемир была назначена в камер-фрейлины. Наверное, своей придворной карьерой она была обязана матери: Анастасия Ивановна, близкая подруга императрицы Елизаветы, конечно, порадела о дочери, мечтавшая составить ей выгодную партию.

— Но я, маменька, еще не влюблена, — отвечала дочь...

Смарагда влюбилась слишком поздно, когда ей исполнилось уже тридцать лет, а по тем временам, когда девочки в 13 или в 14 лет бывали уже замужними, такая невеста считалась «перестарком». Предметом ее увлечения стал бравый капитан Измайловского полка — князь Дмитрий Михайлович Голицын, который латыни не испугался, а в знании Вольтера мог бы еще поспорить и с невестой.

Их свадьба состоялась при дворе, присутствовала не только царица, любившая выпить, но были приглашены даже иностранные дипломаты при русском дворе. Елизавета закатила пиршество на двести знатных персон.

Невеста выглядела печальной. Голицын спросил:

— О чем грустишь, душа моя?

— Ах, сударь, не скрою от вас причину уныния...

В первую же брачную ночь Смарагда со слезами призналась мужу, что смолоду ее угнетают женские немочи.

— Деток у нас не будет, — заплакала она.

Дмитрий Голицын, под стать жене, был человеком незаурядным, просвещенным, и он не стал делать из болезни жены семейную драму, ничем и никогда не упрекнул бесплодную женщину.

— Однако же, — сказал он, читая газету из Гамбурга, — такие немочи излечивают на водах Барежа или Пломбьера...

В 1757 году супруги Голицыны отъехали в чужие края и после неудачного лечения на водах оказались в Париже. Историк Н.М. Романов писал, что Смарагда произвела в столице Франции большое впечатление — и необычной красотой, и тонким умом; она держала в своем доме открытый салон для знаменитостей Франции, посвящая свои роскошные вечера беседам о политике, искусствах и достижениях физики. Мария Лещинская, королева Франции, «приняла княгиню Голицыну без всякой церемонии, в шлафроке, в своей спальне... в тот же день она была и у маркизы Помпадурши...». Смею думать, что подобная «вольность» была допущена этикетом Версаля сознательно, ибо в те годы шла Семилетняя война: Россия и Франция — в едином союзе — сражались против стойкой и крепкой армии прусского короля. Внимание русской красавице оказывалось из политических соображений. А вскоре ее муж, князь Дмитрий

Михайлович Голицын, занял ответственный пост русского посла в Париже!

Но светская жизнь Версаля мало тешила Смарагду, и скоро Париж был взволнован слухами о ее интимной дружбе с трагической актрисой Клерон — женщиной сложной судьбы и очень характерной как личность. При дворе короля Людовика XV титулованные бездельники судачили:

— Как же так? Утонченная аристократка по отцу, по матери и по мужу стала главной наперсницей этой разнузданной плебейки Клерон, порожденной ткачихой от сержанта, которая до появления в «Комеди Франсез» была жалкой ученицей портнихи...

На самом же деле Клерон была самой яркой звездой Парижа, когда на французской сцене царствовали Мольер, Расин и сам Вольтер, которого она, не боясь гнева королей, посещала в его Фернее. Клерон с блеском отражала эпоху Просвещения, поддерживаемая не только Вольтером, писавшим для нее трагедии; она была слишком чуткой к мнению просветителей-энциклопедистов, ставивших ее талант чрезвычайно высоко. Актеры тогда считались париями большого света, их даже не хоронили на кладбищах, а закапывали по ночам на городских свалках, под грудой отбросов города, словно грязную падаль, и Клерон всю жизнь вела страстную борьбу против бесправия актеров, за что позже и поплатилась слишком жестоко...

— Вам, дорогая, — говаривала ей Смарагда, — надо бы ехать в Россию, я уже писала императрице Елизавете о ваших страданиях, и русская сцена всегда к вашим услугам...

Это правда: Елизавета Петровна сама хлопотала, чтобы Клерон украсила русскую сцену. Голицына дарила подруге богатые подарки из России, кутала ее плечи в драгоценные сибирские меха и «не мог-

ла двух часов без нее пробыть». Смарагда заказала живописцу Ван Лоо портрет актрисы в роли Медеи, парящей в облаках (гравюры с этой картины публиковались в нашей печати). Тогда же художник написал портрет самой княгини. Сейчас он выставлен для всеобщего обозрения в московском Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, и вы, читатель, приглядитесь к этой великолепно-парадной живописи: на фоне торжественной драпировки, сидя в кресле, Смарагда небрежно опирается на клавишину, на ее коленях пригласилась маленькая собачка...

Говоря о дружбе двух женщин, я недаром употребил слово «интимная»: помимо вопросов искусства, их связывал еще и общий недуг — женские болезни. Эта близкая дружба вызвала в Париже не одни лишь толки, но и кривотолки, которые лучше называть грязными сплетнями. Смарагда признавалась Клерон:

— Я чувствую, как угасают мои жизненные силы.

— Мои тоже, — отвечала Клерон. — Не ездите в Женеву.

— Почему, дорогая?

— Я уже побывала там, надеясь получить облегчение от услуг знаменитого акушера Троншена, но он не взялся меня лечить, зато угрожал смертью, если я не оставлю сцену.

— Нет, я не поеду к Троншену, — сказала Смарагда. — Мое счастье, что у меня все понимающий муж и... вы!

Голицына скончалась осенью 1761 года — еще молодой, в расцвете своей красоты и женского обаяния, но уже измученная недугом. Парижская пресса уведомила читателей об отчаянии Клерон, заболевшей после смерти подруги. Дмитрий Михайлович замуровал тело жены, облив его воском, и отвез в Петербург, где она и была погребена. После этого вдовец навестил в Зимнем дворце умирающую императрицу Елизавету.

— Государыня, — сказал ей князь, — моя покойная жена оставила духовное завещание — не совсем обычное! Страдая в жизни деликатными немочами, она пожелала избавиться от подобных страданий других женщин. Ею оставлен немалый капитал ради совершенствования «повивального» дела в России.

Набожная Елизавета перекрестилась:

— Так с одного капитала-то баба здоровой не станет! Эвон, жена твоя... или денег у нее не хватало?

— В том-то и дело, матушка, — отвечал Голицын. — Покойная просила употребить деньги на то, чтобы питомцы Московского университета, склонные к медицине, ехали в Страсбург, славный своим акушерством. Но при этом Смарагда завещала, что на ее капитал должны учиться не прибудные люди, а только природные русские и жители Белой или Малой Руси (белорусы и украинцы)...

Д.М. Голицын из Парижа был переведен послом в Вену, где 30 лет подряд представлял интересы Отечества. В Москве он отстроил грандиозное здание больницы, которая в народе так и называлась — «Голицынская»; на ее сооружение дипломат отдал 850 тысяч рублей, личные доходы со своих вотчин и все доходы, получаемые им от владения двумя тысячами крепостных. В эту же больницу князь передал богатейшую картинную галерею, которая сама по себе составила редкостные собрания западной и русской живописи. К сожалению, его наследники оказались большими мотами и разбазарили всю картинную галерею по аукционам, так что ко времени революции 1917 года в больнице сохранилось лишь несколько портретов. Сам же создатель больницы был погребен в склепе, выкопанном в подвалах своей больницы. Но это еще не конец нашей истории...

Советские историки медицины не забывают помянуть добрым словом Смарагду-Екатерину Голицыну, на средства которой по-

лучили образование основоположники акушерства в России. Мне понятно, почему она в завещании выделила свою неперемную волю — учиться в Страсбурге должны только уроженцы России. Я нарочно раскрыл список врачей XVIII века, составленный Яковом Чистовичем, и был поражен: сплошь иностранцы! Они как бы оккупировали медицину в России, и лишь изредка встречались имена русских врачей, поиски которых были столь же затруднены, как, наверное, и поиски женьшеня в таежных делях...

Первым из русских ученых-акушеров я назову Нестора Максимовича, обогатившего свою фамилию латинской приставкой «Амбодик». Сын украинского священника, он сам поехал учиться в Европу, а стипендию княгини Голицыной стал получать уже в Страсбургском университете. Амбодик вернулся на родину с самым лестным аттестатом, но в России иноземцы мыкали его по военным госпиталям, пока он не учинил им скандала:

— Да что вы меня при солдатах содержите, ежели никто из них рожать не собирается! Не ради солдат готовил я себя к искусству повивальному, вот и определите меня по надобности.

В столице он стал обучать акушеров, читал научные лекции на русском языке, что тогда уже казалось неслыханной дерзостью; он первым ввел в практику наложение акушерских щипцов при трудных родах. Лекции его всегда были публичными, их посещали многие женщины, а дабы не оскорблять их стыдливости, Максимович-Амбодик заказал скульптору «фантом» женского таза, из лона которого наглядно появлялся макет младенца, выточенный из дерева. В 1782 году Нестор Максимович стал профессором «повивального искусства», его школа со временем выросла в Повивальный институт. Наконец появилась книга Максимовича под названием «Искус-

ство повиванья, или Наука о бабичьем деле», — первый в России капитальный труд о женском здоровье.

Ознакомясь с этой книгой, я сказал себе:

— Какой там акушер? Так может писать только поэт...

Я не ошибся. Максимович-Амбодик воспел свое дело в стихах, рагуя в них за здоровье матери и ребенка. Он был неутомим в своих трудах, и при нем гинекология прочно спаялась с развитием русской педиатрии. Женщинам он внушал:

— Милая моя! Сотворить дитя да родить его — это лишь начало дела, на то и дура способна. А вам предстоит сберечь себя, помнить, что молоко ваше суть лучшее кормление в мире. Научитесь правильно пеленать и одевать свое чадо, как гулять с ним, чем накормить, не забывайте о детских забавах...

Вы думаете, что Максимович-Амбодик стал главным в своем институте? Ничего подобного: наезжие врачи и явные шарлатаны держали его в черном теле, а начальником института стал венский пройдоха Иосиф Моренгейм. Когда собеседники не понимали его латыни, он переходил на язык немецкий, а когда не понимали и немецкого, Моренгейм выходил из себя:

— О, шорт! Ты есть глупый... турак!

Больше всего он заботился о получении казенных дров, а себя причислял к хирургам. Но коли возьмется за операцию, то человека обязательно зарежет. Завидуя славе Максимовича-Амбодика, Моренгейм тоже сочинил книгу по акушерству, но выпустил ее в свет с портретом императрицы на титульном листе, как будто Екатерина II была в стране главной роженицей. Наконец в Петербурге дознались, что Моренгейм самозванец, он не имел даже лекарского диплома и — на свою беду — потребовал дровишек на зиму от самого Павла I. А каков был этот император, читателям рассказывать не надо — они сами знают.

— Чтоб и духа его здесь не было! — закричал царь...

Судьба второго голицынского стипендиата, Александра Шумлян-ского, сложилась почти трагически. Еще в Страсбурге он наслушался всяких ужасов о тирании в медицине, о гонениях на русских врачей, которых не мытьем, так катаньем изгоняли из науки по дальним гарнизонам. Шумлянский закупил в Европе нужные инструменты, но тронулся в путь лишь тогда, когда узнал, что ему обещана вакансия лектора в Москве при Воспитательном доме. Он возвращался на родину уже признанным акушером Европы, Париж почтил его титулом «члена-корреспондента».

— Неужели и меня сломают? — говорил Шумлянский...

С л о м а л и! Вакансия оказалась ложной, от его услуг всюду отказывались, Шумлянский жил впроголодь. Однажды ему посулили кафедру акушерства в Калининском училище Петербурга:

— Но там все ученики — одни немцы, а потому, любезный дру-жище, свои лекции вам предстоит читать по-немецки.

— Ладно, — согласился Шумлянский. — Есть-пить надо...

Но и в этой кафедре тоже вскоре отказали:

— У вас большие претензии! А на эту кафедру имеются уже два кандидата — Иоган Лобенвейн и Томас Гофман...

Над Шумлянским попросту издевались. Дабы не умереть с голо-ду, в нищете, он существовал гонорарами за переводы книг с других языков. Наконец барон Фитингоф, заправлявший всей медициной в России, позволил ему вести кафедру терапии в Москве.

— Да ведь к акушерству готовил я себя!

— Как вам угодно, — отвечал Фитингоф...

Дали кафедру и опять отняли, а барон объяснил:

— Ваше место надо освободить для врача Пеккена...

Наверное, Смарагда Голицына недаром заклинала в своем завещании, чтобы на ее капиталы учились непременно русские, ибо догадывалась о чужеземном засилье в медицине. Шумлянский уже изнемог в борьбе, его здоровье было подорвано постоянной нуждой, и лишь незадолго до смерти его сделали «градским акушером» в Москве (память о нем очень долго хранилась среди москвичей). Шумлянский ступил на порог смерти, когда Медицинская коллегия наконец-то признала его заслуги, избрав его в почетные члены Коллегии «за таланты его, трудолюбие и ученость и некоторые прославившиеся его сочинения».

— Это венок на мою могилу, — предрек Шумлянский...

Горько писать об этом, но писать надо, чтобы наши читатели (и особенно женщины) знали, с каким трудом, в каких муках зарождалась охрана женского здоровья в нашей стране. Но поступь времени было не задержать, русская наука не стояла на месте — она двигалась заодно с Россией. Древний опыт наших сельских «повитух» завершился победой научной гинекологии. Здесь нет смысла перечислять корифеев русской и советской науки о женском здоровье — их славные имена увековечены на мемориальных досках тех больниц и тех институтов, где они работали на благо отчизны.

Скажем точнее — на благо женщины!

Я заканчиваю историю тем, с чего и начал: здоровье женщины да будет для нас всегда священным, ибо здоровая женщина — это здоровая семья, это здоровье всей нации. «Берегиня» бережет нас, мужчин, а мы, мужчины, обязаны беречь свою «берегиню».

...Но все-таки, читатель, если будете в Истре или в Москве, навестите музеи, чтобы глянуть на портреты Смарагды-Екатерины Голицыной: да, очень красивая женщина.

Очень красивая и... очень несчастная!

Маланьина свадьба

Недавно я был искренно удивлен, узнав, что некий Дениска по прозвищу Батырь (Богатырь), новгородский раскольник, бежавший на Дон от преследования властей, первым браком был женат на дочери знаменитого атамана Степана Разина.

Звали ее слишком вычурно для того времени — Евгенией, и, по слухам, она обладала столь несносным характером, что бедный Батырь не знал, как от нее избавиться. Нравы на Дону были тогда примитивные, а разводов не ведали. После очередной домашней баталии взял Дениска свою неугомонную Степановну за шиворот и силком оттащил на майдан, где шумела ярмарка.

— Эй, кому жинка нужна боевая? — вопрошал он, и, конечно, нашлись храбрецы, которые прямо с базара увели Степановну для ведения домашнего хозяйства и прочего...

От этого-то Дениски пошел дворянский род Денисовых, а позже образовался знатный род графов Орловых-Денисовых. Я перебираю легендарные донские родословия: Платовы, Ефремовы, Грековы, Орловы, Карповы, Егоровы, Иловайские, Кутейниковы, Денисовы, Ханжонковы — все донцы-молодцы, которые из казаков сделались генералами, обрели потомственное дворянство, а иные украсились символикой аристократических титулов.

Но... что мы теперь знаем о них? Мало. Забыли.

А разве не приходилось вам слышать, как, увидев щедро накрытый стол, гости восторженно восклицают:

— Да здесь всего хватит даже на маланьину свадьбу!

Мелания — слово греческое, означает оно «черная, мрачная, жестокая», но в народном говоре это имя произносят как Маланья, и я буду придерживаться такого же написания. Маланью часто поми-

нают в народе, а вот спроси любого — кто такая была эта Маланья, в ответ только пожмут плечами в недоумении, не зная, что Маланья — лицо историческое, и она, думаю, стоит того, дабы поведать о ней бесхитростно...

Читатель, надеюсь, простит мне, если я окунусь в старину-матушку, дабы выявить истоки рода Ефремовых. Жил да был московский купец Ефрем Петров, которому большей прибыли захотелось, ради чего около 1670 года он переселился в Черкасск — стародавнюю столицу донской вольницы, где имели жительство ее грозные атаманы. Иностранцы прозвали этот город «донской Венецией», благо каждую весну Дон широко разливался, из воды торчали луковницы храмов и крыши богатых «куреней» с купами цветущих левад-садов. Дон хорошо кормил людей стерлядями и раками, а кто побогаче, тому подавали к столу лебедей...

Вот тут Ефрем Петров и развернулся во всю свою ширь.

Жили казаки шумно, сытно и пьяно — только успевай наливать да торговать, себя не забывая. Ефрем торговал столь прибыльно, что в большую силу вошел — старшиной стал. Но конец жизни Ефрема обнаружим в 1708 году, когда Кондратий Булавин поднял восстание на Дону, а казаки порешили Ефрема повесить «за неправду и многие разорения». Основатель династии повис и висел долго, пока веревка не перегнила...

Но его сын Данила обрел по имени батюшки фамилию и стал писаться Ефремовым. «Многие разорения» для казаков обратились от отца к сыну великим богатством. И стало это богатство почти сказочным, когда императрица Анна Иоанновна благословила его в атаманы. И был у атамана сын Степан, внук повешенного, вот они и прибрали Тихий Дон к своим рукам, столь загребущим, что отныне всюду торговали их лавки, лилось вино в их кабаках, крутились на

реках их водяные мельницы, а в необозримых степях скакали их тысячные табуны лошадей. Возводили Ефремовы такие «куренья», что лучше называть их дворцами, а отличались они по цвету раскраски — Белый, Зеленый, Красный.

Данила Ефремов славился удачью и хитростью; он отличился еще в Северной войне, с налету захватив штаб-квартиру шведского короля Карла XII; когда же калмыцкая орда Довдук-Омбу вдруг откочевала на Кубань, чтобы подчиниться султану, Ефремов сам поехал в ставку хана, уговорив его вернуть калмыков на их прежние волжские кочевья. В царствование Елизаветы атаман Данила обрел чин генерал-майора, из военных походов он возами свозил к себе «добычу», а русских мужиков, бежавших на Дон ради «воли казачьей», атаман безжалостно закабалял, делая их своими крепостными, и — богател, богател, богател... Данила скончался в 1755 году, передав атаманский «пернач» (символ власти) своему сыну Степану.

Степан Данилович повершил отца. Да и везло ему так, как никому. Угроздило же его летом 1762 года возглавить делегацию донских старшин, посланных ко двору с лебедями и вкусными рыбками. А тут как раз случилась престольная суматоха: Екатерина Алексеевна муженька своего свергла с престола, сама воссев на нем как владычица империи, а старшины, не будь дураками, поддержали ее своим горлопанством, и тогда же — в это жаркое лето — царица заметила Степана Даниловича:

— Коли ты атаман после покойного батюшки, так я на Дон полагаться стану, яко на свою лейб-гвардию полагаюсь, а ты мне руку целуй да не забудь моей милости...

Отец и сын, обласканные свыше, 44 года подряд на Дону атаманствовали, это было «золотое время» Ефремовых, которые сделались местной аристократией — не хочешь, да поклонись им! Десять лет прошло с того дня, как лобызал Степан Данилович длани им-

ператрицы, много воды утекло, а Тихий Дон уже волновался. Издревле казаки привыкли жить по своей воле, а тут пошел слух, будто Войско Донское обратят в регулярное. Как раз в эти годы шла война с Турцией, из Петербурга понукали Ефремова (и не раз!), чтобы слал донцов на войну, но он, потакая «вольностям» казацким, все указы из Военной коллегии клал под сукно, говоря войсковому писарю:

— Не забудь, куды я сховал их. Придет время — достанем и честь будем, а пока указы эти хлеба не просят...

Дальше — больше! Ефремов препятствовал и строительству крепости Св. Дмитрия Ростовского (будущего города Ростова-на-Дону), всячески ратуя за обособленность донского казачества от властей столичных, считая, что «Дон — сам себе голова, а других голов и не надобно». Дон как бы выпал из-под контроля государственной власти, а щедрые взятки, которые давал атаман, делали его почти неуязвимым, и потому Степан Ефремов творил на Дону все, что его левая пятка пожелает...

Но однажды Степан Данилович решил прогуляться по улицам Черкаска да заодно на базар заглянуть — нет ли там драки? И тут он приметил казачку красоты писаной, стояла она посередь базара, держа на локте связки громыхающих бубликов.

Донской атаман от такой красы даже оторопел.

— Кто такая? — грозно спросил он.

— Маланья, — подсказал писарь...

Вот тут-то и началось! Пропал атаман.

Конечно, атаман не сразу на девку накинулся.

— Дешевы ли бублики? — спросил ради знакомства.

Казачка глазами повела, брови вскинула, носик вздернула — ну такая язва, не приведи господь бог. Ответила:

— Вижу, что тебе, атаман, не бублик надобен, а дырка от бублика. Так покупай, коли грошей у тебя хватит...

Ефремов такой наглости не ожидал, но уж больно понравилась ему эта дерзость. Он приник к уху девичьему, нашептывая:

— Слышь, а... пойдешь ли за меня?

Маланья подбоченилась, бедром вильнув:

— Да старый ты... на што мне гриба такого?

Степан Данилович произведен на свет был после Полтавы, Маланья годков на двадцать была моложе, а по тем временам мужчина даже в сорокалетнем возрасте считался уже стариком. Очень обиделся атаман, старым грибом названный. Но гордыню смирил, убеждая девицу ласково:

— Вникай, Маланья: я уже двух жонок схоронил, а тебя, яко пушинку, беречь стану, и ты сама-то подумай, что в положении атаманши тебе немалые услады достанутся.

— А покажи... услады свои! — раззадорила его Маланья.

Тут Степан Данилович развернулся и треснул кулаком в ухо писаря, чтобы не прислушивался к их любезной беседе.

— Идем, коли так, — велел он девице. — Я тебе такое покажу... не помри только от радости!

Привел молодуху в свой дом, строенный в стиле итальянского барокко, распалил свечку, и спустились они в подвал. А там, в подвале, пока Маланья свечку держала, атаман, похваляясь силою богатырской, кидал к ногам ее мешки тяжкие — какие с серебром, какие с золотыми червонцами; открывал перед ней ларцы, сплошь засыпанные жемчугами; отмыкал гигантские сундуки со сверкающими мехами и свитками шелка персидского. Наконец устал ворочать тяжести, сел в углу и заплакал:

— Нешто тебе не жалко меня, Маланья? Да я ради тебя... Убью, ежели за меня не пойдешь! Ты сама-то видишь ли, что все твоим

будет? А ежели мало, так мы еще награбащаем... Как по батюшке-то тебя величать прикажешь?

— Карповной, — отвечала Маланья, прикидывая на руку тяжелые нитки жемчуга и ожерелья — столь же легко и проворно, как еще вчера навешивала на себя гремящие связки бубликов. — А детки-то у нас будут ли? — деловито спросила она, словно заглядывая в свое прекрасное будущее.

Свеча догорела, и во мраке слышались клятвы атамана:

— Да я... да мы... Ах, Маланья! Себя не пожалею. Ты уж только не возгордись, а я себя покажу в лучшем виде...

Свадьба была такая, что даже удивительно — как это Дон не повернул вспять? Загодя свозили в Черкасск вина заморские и отечественные, гнали на убой для жаркого стада телят и овец, рыбаки тащили из реки сети, переполненные лещами, сазанами и щуками. Праздничные столы прогибались от обилия яств, и войсковой писарь уже не раз намекал:

— Может, и хватит уже? Ведь лопнут же гости!

— На Маланьину свадьбу никогда не хватит, — отвечал атаман. — Гляди сам, сколь гостей поднаперло со всего Войска Донского, войска славного, и каждому угодить надобно...

Как сели за столы, так и не вставали. Луна перемежалась с солнцем, петухи праздновали рассветы, а гости все сидели и сидели, все ели и пили, пили да ели. Для тех, кому неважно было, для тех были заранее заготовлены короткие бревна: покатается он животом на бревне, чтобы в животе улеглось все скорее, и снова спешит к застолью. Неделя прошла, за ней вторая, вот и третья открылась — свадьба продолжалась.

— Ай да Маланья! Вовек тебя не забудем, — шумели гости, вставая от стола в очередь, чтобы на бревне покатаются...

И верно — до сих пор не забыли на Дону Маланьину свадьбу, а слух о ней пошел по всей Руси великой, и, кто не знал, тот узнал, что есть на белом свете такая окаянная Маланья, для которой атаману ничего не жалко... Эх, гулять так гулять!

Потом народ интерпретировал эти слова о свадьбе, и стали в эту «Маланью» вкладывать различный смысл.

— Что ты разводишь маланьины сборы, — раздраженно говорили мужья медлительным женам.

— Ты считай, милоч, по-честному, а не по маланьиному счету, — говорили путаникам или обманщикам.

— Не хватит ли куховарить? Ведь у нас, слава богу, не маланьиная свадьба, — ругали кухарок за излишнюю щедрость...

Казалось, конца не видать атаманскому счастью. С годами появились и дети, Маланья раздобрела, приосанилась, в церемониях выступала павою. Уже начинались семидесятые годы столетья, на Яике давно было беспокойно — там казаки буянили, а на Дону тоже волновались, боясь, как бы их, донцов, не обратили в регулярную кавалерию. Война с турками продолжалась, Степан Данилович по-прежнему клал под сукно указы Военной коллегии; угождая своеволию казаков, он притворствовал, делая вид, что интересы общинные, чисто донские, для него всегда дороже дел государственных — общероссийских...

— Коли на Яике бунтуют, — пугал его писарь, — так не станется ли у нас заваруха приличная?

— Дурак, — важно отвечал Ефремов. — Да я только свистну — и на Дону все притихнут, ибо атаманов с таким решпектом, каков у меня, еще не знавало Войско Донское...

Настал 1772 год. Ефремов с семьей проживал подальше от Черкаска — в Зеленом дворце, и, казалось, ничто не предвещало беды.

Нежданно-негаданно вдруг наехали чины всякие с солдатами, весь дом взбулгатили. Не успел атаман опомниться, как уже кандалами забрякал, а чиновники над ним измывались:

— Каково, атаман? Или думал, что у нашей матушки-государыни руки коротки, не дотянуться ей до Тихого Дона?

Повезли его в крепость Св. Дмитрия (будущий Ростов), а в воротах крепости поджидал его зверь-генерал Хомутов:

— Ну что, атаман? Доворовался? Нахапался от старшин да купцов акциденций, сиречь взяток? Ныне отрыгнешь все, что сожрать успел. Я из тебя душу вытряхну...

Пока Ефремов сидел на цепи, словно собака, из Петербурга нагрянула в Черкасск комиссия, чтобы подчистую конфисковать все имущество атамана. Но Маланья ужом извернулась, а сумела утаить от описи немало добра, в укромных местах попрятала драгоценности. Хомутов, комендант крепости, имел давние обиды на Ефремова, надеясь не вызволять его из крепостного узилища. Но пришло повеление свыше — доставить атамана в Петербург под строжайшим конвоем, как злодея бессовестного. Всю дорогу до столицы Степан Данилович поминал слова Екатерины II, втайне уповая, что императрица еще не забыла его услуг, какие он оказал, помогая ей свергать дурака мужа...

Привезли! Перед синклитом Военной коллегии заробел атаман, бухнулся в ноги сердитым генералам, плачущий:

— Хосподи, да сыщется ли вина на мне, стареньком?

Тут атаману предъявили полный реестр грехов его: взятки, поборы, кумовство, казнокрадство и — главное! — упорное неисполнение приказов Военной коллегии. Ефремову стало жутко:

— Да вить кто из нас не без греха? Смилюйтесь...

— Молчи! — отвечали ему. — Молчи, паскуда, и жди решения суда военного, суда праведного, суда неподкупного...

Судили жестоко, зато и честно — по законам военного времени. В конце длинной сентенции, когда секретари ее вслух зачитывали, Ефремов услышал внятные слова приговора:

— ...и предать его смерти — ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ!

Вот она, судьба-то, какова: деда булавинцы вешали, а по его шее генералы да сенаторы хлопочут. Смертный приговор принесли императрице на «апробацию». Екатерина согнала с колен пригревшуюся собачонку, обмакнула перо в чернильницу.

— Отчего жестокость такова? — спросила она. — Коли смерти достоин, так и вешайте, но иным мнением я озабочена: что скажет Европа? Обо мне и так болтают всякое о жестокосердии моем. Нельзя ли веревку для Ефремова заменить пожизненной ссылкой в такие места, куда и Макар телят своих не гонял...

Степан Данилович был сослан аж на «край света» — в город Пернов (ныне эстонский Пярну). Там, на берегах Балтики, рыбка тоже ловилась, только далеко ей до стерлядей Дона, и пришлось атаману довольствоваться лососиной. Старея, все чаще поминал он веселую свадьбу с Маланьей и плакал:

— Всех накормил! Ни один трезвым от меня не ушел, а теперь страдаю за вольности казацкие... Хоть бы кто при дворе за меня словечко замолвил. Авось и полегчает!

Скоро в Пернове появились сосланные сюда яицкие казаки, которых миловали после восстания Пугачева. Но по пьяному делу все меж собою передрались, ибо яицкие казаки не могли донским казакам простить того, что они не пристали к Пугачеву.

Крепко побитый, Степан Данилович сел писать императрице о милости, ссылаясь на старость и хворобы свои.

— Ну ладно, — рассудила императрица. — Коли ему невтерпез стало, пусть в Петербург явится, только сразу предупредите злодея, что Дона ему не видать: здесь и оставит кости!

Свои грешные кости Степан Данилович Ефремов навсегда оставил на кладбище Александро-Невской лавры столицы, потомки же атамана (уже сами в чинах немалых) соорудили памятник, на котором было начертано, что грозный атаман преставился 15 марта 1784 года, а «всего жития его было 69 лет».

Маланья Карповна жила еще долго... долго жила!

В новом времени хорошо вспоминается старое... Впервые упомянутый еще в лихие годы Ивана Грозного казачий городок Черкасск стал потом станицею Старочеркасской, а ныне она превратилась в заповедник прошлого казачьего быта. Дворец атамана Ефремова, в который он когда-то ввел красавицу Маланью, уцелел до наших дней, и сейчас в нем разместился музей — чрезвычайно интересный! Этот музей возник совсем недавно, и благодарить за его создание мы должны нашего незабвенного Михаила Александровича Шолохова...

Среди многих уникальных портретов донцов-героев, оставивших свои имена в русской истории, представлены и бывшие хозяева этого дворца-музея — оба изображенные в полный рост. Вот и сам атаман Степан Данилович, еще в пору своего величия, даже медали на нем художник выписал червонным золотом; а вот и его боевая атаманша Маланья Карповна...

Да, грозен атаман, но до чего же хороша его атаманша!

Маланья Карповна на много лет пережила мужа, и теперь при домово́й церкви ефремовского дворца-музея любители старины ищут ее могилу, которая откроет нам точные даты ее странной жизни, памятной нам именно «маланьиной свадьбой».

Надо полагать, у этой женщины, явившейся в историю прямо с базара, было немало всяких грехов, ибо, взыскав прощения перед

Богом, она в конце своей жизни не пожалела денег на создание Ефремовского женского монастыря.

О ней сохранилось немало легенд, но вот, читатель, самая странная легенда: после ареста мужа и ссылки его Маланья Карповна негласно вступила в права атаманши; исподтишка, но достаточно властно, эта бабенка, хитрая и лукавая, управляла на Дону, и слово ее было законом для всех казаков. Не потому ли портрет Маланьи, писанный еще в год свадьбы, с давних пор был выставлен в атаманском дворце — среди изображений многих донских атаманов?

Я закончу рассказ еще одной памятной поговоркой:

— Какова наша Маланья, таково ей и поминанье!

Коринна в России

Мне вспоминается, что поэт Байрон, послушав салонные разговоры Жермены де Сталь, упрекал ее за то, что она мало слов публикует, зато много речей произносит:

— Коринна пишет *in octavo*, а говорит *in folio*...

Байрон отчасти был прав: еще в Веймаре, где писательница гостила у Гёте и Шиллера, она так замучила их своими рассуждениями, что после ее отъезда они с трудом опомнились:

— Конечно, никто из мужчин не сравнится с нею в красноречии. Но она обрушила такие каскады ораторского искусства, что теперь нам предстоит лечиться долгим молчанием.

Не в меру говорливая, она была и не в меру влюбчивой.

Чересчур женщина, баронесса де Сталь почти с трагическим надрывом переживала приближение сумерек жизни:

— Когда я смотрю на свои роскошные плечи и озираю величие этой пышной груди, вызывающие столько нескромных желаний у

мужчин, я содрогаюсь от ужаса, что все мои прелести скоро сделаются добычей могильных червей...

Кто восхищался ею, кто ненавидел, а кто высмеивал.

Писательница высказывалась очень смело:

— Чем неограниченнее власть диктатора, тем крупнее его недостатки, тем безобразнее его пороки! Сейчас во Франции может существовать только тот писатель, который ^{станет} восхвалять гений Наполеона и таланты его министров, но даже такой презренный осужден пройти через горнило цензуры, более схожей с инквизицией... Покоренные народы еще молчат. А зловещее молчание наций — это гневный крик будущих революций!

Подлинное величие женщина приобрела тем, что всю жизнь была гонима. Однажды она спросила Талейрана: так ли уж умен Бонапарт, как о нем говорят? Ответ был бесподобен:

— Он не настолько храбрый, как вы, мадам...

Наполеон отзывался о ней: «Это машина,двигающая мнениями салонов. Идеолог в юбке. Изготовительница чувств».

— Я уважаю мусульманскую веру за то, что она держит женщину взаперти, в гаремах, не выпуская ее даже на улицу. Это гораздо мудрее, нежели в христианстве, где женщине позволяют не только мыслить, но даже влиять на общество...

Тогда в Париже можно было подслушать такой диалог.

— Если бы я была королевой, — сказала одна из дам, — я бы заставила Жермену де Сталь говорить с утра до вечера.

— Но будь я королем Франции, — был ответ собеседника, — я бы обрек ее на вечное молчание... Она опасна!

Коринна все делала вопреки Наполеону: он покорял Италию, она писала о величии итальянской культуры, он громил пушками Пруссию, она воспевала идеалы германской поэзии. Наполеон утверждал:

«Я требую, чтобы меня не только боялись, но чтобы меня и любили!» Наказав де Сталь изгнанием, он преследовал ее всюду. словно издеваясь над женщиной: «Она вызывает во мне жалость: теперь вся Европа — тюрьма для нее». Когда в 1808 году ее сын Огюст сумел проникнуть в кабинет императора, умоляя снять опалу с матери, Наполеон отвечал юноше:

— Ваша мать лишь боится меня, но почему не любит меня? Я не желаю ее возвращения, ибо жить в Париже имеют право только обожающие меня. А ваша мать слишком умна, хотя ум ее созрел в хаосе разрушения монархий и гибельных революций. Теперь там, где все молчат, ваша мать возвышает голос!

Роман «Коринна, или Италия» сделал имя мадам де Сталь слишком знаменитым, но книга вызвала в Наполеоне приступ ярости, ибо писательница осмелилась рассуждать о самостоятельности женщин в общественной жизни государства:

— Назначение бабья́ — плясать и рожать детей! — говорил император. — Не женское дело переставлять кастрюли на раскаленной плите Европы, тем более залезать на мою кухню, где давно кипят сразу несколько политических и военных бульонов. В моей империи счастлив только тот, кому удалось скрыться так, чтобы я даже не подозревал о его существовании...

Все дороги на родину были для нее перекрыты.

— Если мораль навязана женщине, то свобода женщины будет протестом против такой морали, — говорила она и, как никто, умела доводить свои страсти до безумной крайности, только в полном раскрепощении чувств считая себя свободной.

Недаром же одна из ее книг была названа «Размышление о роли страстей в личной и общественной жизни». Жермена смолоду была избалована вниманием мужчин, которых иногда силой ума при-

нуждала любить ее, обожанием поклонников таланта, в обществе ее часто называли Коринной по имени главной героини нашумевшего романа. Успех романа о женщине, презревшей условности света, был потрясающим, в России нашлось немало читательниц, просивших называть их Кориннами, а княгиня Зинаида Волконская вошла в историю как «Коринна Севера».

Вечно гонимая императором, зимою 1808 года мадам де Сталь появилась в блистательной и легкомысленной Вене, где ее принимала знать, униженная победами Наполеона; принимала ее лишь потому, что она ненавидела Наполеона. Черные волосы писательницы прикрывал малиновый тюрбан, столь модный в том времени, на груди колыхалась миниатюра с портретом ее отца Неккера, плечи украшала турецкая шаль, а в руках трепетал веер, которым Жермена регулировала пафос своих речей, управляя вниманием общества, как дирижер послушным оркестром.

Ей докучали в Вене великосветские сплетницы. Одна из венских аристократок, графиня Лулу Тюргейм, оставила мемуары, в которых жестоко порицала писательницу за излишнюю экзальтацию чувств. О выступлении ее на сцене театра Лулу писала: «Хуже всего было то, что выступала сама мадам де Сталь с ея расплывшейся фигурой, едва прикрытой кое-каким одеянием. В патетических местах она егозила по сцене на коленях, ее черные косы волочились на полу, лицо наливалось кровью. Зрелище было далеко не из эстетических...»

Сергей Уваров, близкий приятель де Сталь, писал о тамошней аристократии: «Они ведут замкнутый образ жизни, прозябая в своих огромных дворцах, куря и напиваясь в своей среде... они презирают литературу и образованность, необузданно увлекаясь лошадьми и продажными женщинами». Казалось, музыка заменяла аристократам все виды искусств, и потому мадам де Сталь не нашла в Вене

«немецкого Парижа». Завернутый в трагический плащ русского Вертера, Уваров потому и стал ее наперсником, ибо владел пятью языками, стихи писал на французском, а прозу по-немецки... Он внушал женщине:

— Здесь мало кто способен оценить ваше гражданское мужество, а подлинных друзей вы сыщете только в России...

Это правда, тем более что не венские вельможи, а именно она, женщина и мать, двенадцать лет подряд испытывала гнев зарвавшегося корсиканца. Умные люди, напротив, очень высоко чтили писательницу, и философ Август Шлегель, толкователь Virgiliya, Гомера и Данте, сам не последний поэт Германии, уже не раз убеждал Коринну:

— Не мечите бисер перед венскими свиньями, выше несите знамя своего разума. Я был воспитателем ваших детей, так не заставляйте меня воспитывать вас. Вы бежали от гнева кесаря в Вену, но куда побежите, если кесарь окажется в Вене?

— О, свет велик, и все в нем любят Коринну.

— Согласен, что любят, но приютить вас отныне может только страна, где еще не погас свет благоразумия...

Жермена покинула вульгарную, злоречивую Вену и поселилась в швейцарском кантоне Во, где у нее было отцовское поместье Коппе. Властвовать умами легче всего из глуши провинции, и Коппе был для нее убежищем, как и Ферней для Вольтера. Но времена изменились. Местный префект слишком бдительно надзирал за нею, ибо швейцарцы боялись наполеоновского гнева, способного обернуться для них оккупацией и поборами реквизиций. Всех гостей, побывавших в Коппе, Наполеон велел арестовывать на границе; наконец, мадам де Сталь тоже не чувствовала себя в безопасности... Шлегелю она призналась:

— Меня могут просто похитить из Коппе, благо Франция рядом, и я окажусь в парижской тюрьме Бисетра...

Настал 1812 год — год великих решений.

— Я изучала карты Европы, чтобы скрыться, с таким же старанием, с каким изучал их Наполеон, чтобы завоевать ее. Он остановил свой выбор на России — я... т о ж е!

Обманув своих аргусов, она тайно покинула тихое имение. Помимо неразлучного Шлегеля ее сопровождали дети и молодой пьемонтец Альбер де ла Рокка, которого она выходила от ран и теперь относилась к нему с материнским попечением. Ни дочь Альбертина (рожденная от Бенжамена Констан), ни ее сын (рожденный от графа Нарбонна) не догадывались, что молодой пьемонтец доводится им отчимом, тайно обрученный с их матерью.

Август Шлегель пугливо озирает патрули на дорогах:

— Бойтесь Вены, как и Парижа: австрийские Габсбурги давно покорились воле императора Франции...

Наполеон уже надвигался на Россию, как грозовая туча, и в русском посольстве Вены паковали вещи и документы, чтобы выезжать в Петербург... Посол предупредил Коринну:

— Не играйте с огнем! Меттерних вопреки народу вошел в военный альянс с Наполеоном и теперь способен оказать ему личную услугу, посадив вас в свои венские казематы.

— Паспорт... русский паспорт! — взмолилась женщина.

— Нахлестывайте лошадей. А курьер с паспортом нагонит вас в дороге. Только старайтесь ехать через Галицию...

В дорожных трактирах австрийской Галиции она читала афиши о денежной награде за ее поимку. Преследуемая шпионами, мадам де Сталь говорила Шлегелю:

— Я совсем не хочу, чтобы русские встретили меня как явление Парижской Богоматери, но пусть они заметят во мне хотя бы просто несчастную женщину, достойную их внимания...

Наконец 14 июля она въехала в русские пределы, и на границе России философ Шлегель воздал хвалу вышним силам:

— Великий день! Мы спасены...

Коринна согласилась, что день был великим:

— Именно четырнадцатого июля перед народом Франции пала Бастилия. Я благословляю этот великий день...

Еще в прошлом веке историк Трачевский писал, что французы, подолгу жившие в России, ничего в ней не видели, кроме блеска двора или сытости барских особняков. Мадам де Сталь первая обратилась лицом к русскому народу: «Она старается докопаться до его души, ищет разгадки великого сфинкса и в его истории, и в его современном быту, и путем сравнения с другими нациями...» Деревенские девчата, украшенные венками, вовлекали перезрелую француженку в свои веселые хороводы.

Наполеон уже форсировал Неман — война началась!

В Киеве ее очаровал молодой губернатор Милорадович; в ответ на все ее страхи он смеялся:

— Ну что вы, мадам! Россия даже Мамаю побилла, а тут какой-то корсиканец лезет в окно, словно ночной воришка...

Прямой путь к Петербургу был забит войсками и движением артиллерии, до Москвы тащились окружным путем. Жермена сказала Шлегелю, что первые впечатления от русских не позволяют ей соглашаться с мнением о них европейцев:

— Этот народ нельзя назвать забитым и темным, а страну их варварской! Русские полны огня и живости. В их стремительных танцах я заметила много неподдельной страсти...

Местные помещики и проезжие офицеры спешили повидать мадам де Сталь, хорошо знакомые с ее сочинениями. В пути она встретила сенатора Рунича, ведавшего русскими почтами.

— Где сейчас находится Наполеон? — спросила она.

— Везде и нигде, — отвечал находчивый Рунич.

— Вы правы! — отозвалась де Сталь комплиментом. — Первое положение Наполеон уже доказал прежним разбоем, второе положение предстоит доказывать русским, чтобы этот выродок человечества оказался «нигде»...

В Москве женщину чествовал губернатор Ростопчин, который считал своим долгом кормить ее обедами и успокаивать ей нервы. Переводчиком в их беседах был славный историк Карамзин, еще в молодости переводивший на русский язык ее новеллу «Мелина». Ростопчин потом делился с друзьями:

— Она была так запугана Наполеоном, что ей казалось, будто и войну с нами он начал только для того, чтобы схватить писательницу. Шлегель был умен и очарователен. При мадам состоял вроде пажа кавалер де ла Рокка, которого она для придания ему пущей важности именovala «Лефортом», но этот молодец в дороге нахлебался кислых щей у наших мужиков, и эти щи довели его до полного изнурения...

Следует признать, что не все москвичи приняли мадам де Сталь восторженно. Одна из барынь говорила о ней почти то же самое, что писал о ней и сам император Наполеон:

— Не понимаю, чем она способна вызвать наши восторги? Сочинения ее безобразны и безнравственны. Свет погибал и рушился именно потому, что люди чувствовали и старались думать так же, как эта беспардонная болтушка...

Москва показалась Коринне большой деревней, переполненной садами и благоухающей оранжереями. Она удивилась даже не богат-

ству дворян, но более тому, что дворяне давали волю крепостным, желавшим сражаться с Наполеоном в рядах народного ополчения. «В этой войне, — писала она, — господа были лишь истолкователями чувств простого народа». Характер славян казался совсем иным, нежели она представляла себе ранее. Недоумение сменилось восторгом, когда она поняла:

— Этому народу всегда можно верить! А что я знала о русских раньше? Два-три придворных анекдота из быта Екатерины Великой да короткие знакомства с русскими барями в Париже, где они наделали долгов и сидели в полиции. А теперь эта страна спасет не только меня, но и всю Европу от Наполеона.

Пушкин рассказывал в отрывке из «Рославлева»: «Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось, не зная, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и женщины съезжались поглазеть на нее. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не нравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки». Казалось, поэт был настроен по отношению к мадам де Сталь иронически. Но возможно, что Пушкин сознательно вложил в ее уста такие слова о русских:

— Народ, который сто лет тому назад отстоял свою бороду, в наше время сумеет отстоять и свою голову...

Да, в двенадцатом году Коринна была заодно с Россией, уже вступившей в безжалостную битву против жестокого узурпатора. Она приехала в Петербург, встревоженный опасностью нашествия, и на берегах Невы ей понравилось больше, нежели в патриархальной Москве. 5 августа, принятая императором Александром I, она выслушала от него откровенное признание:

— Я никогда не доверял Наполеону, а Россия не строила свою политику на союзах с ним, но все-таки я был им обманут... даже не как государь, а как человек, поверивший коварному соседу, что он не станет плевать в мой колодец.

Они беседовали об уроках маккиавелизма, которые столь хорошо освоил Наполеон, постоянно державший свое окружение в обстановке зависти, соперничества в поисках милостей и наград. Де Сталь сделала вывод: «Александр никогда не думал присоединиться к Наполеону ради порабощения Европы...» Это справедливо, ибо русская политика, иногда даже слишком податливая перед Наполеоном, стремилась лишь к единой цели — избежать войны с Францией, сохранить мир в Европе...

В русской столице мадам де Сталь пробыла недолго, но всюду ее встречали очень приветливо, а поэт Батюшков выразился о писательнице чересчур энергично:

— Дурна, как черт, зато умна, как ангел...

Русские и сами были мастерами поговорить; они говорили о чем угодно, но старались молчать о своих военных неудачах. Газеты тоже помалкивали об этом, а Павел Свиньин, известный писатель и дипломат, только что вернувшийся из Америки, раскрыл перед Коринной секрет такого молчания:

— Мы, русские, привыкли сегодня скрывать то, что завтра станет известно всему свету. В Петербурге из любой ерунды делают тайну, хотя ничто не становится секретом. Могу сообщить вам втайне и тоже под большим секретом, что Смоленск уже взят Наполеоном, а Москва в большой опасности.

Мадам де Сталь ужаснулась успехам Наполеона:

— И когда падет Москва, война закончится?

— Напротив, — отвечал Свиньин, — с падением Москвы война лишь начнется, а закончится она падением Парижа. Русский народ

не станет лежать на печи, а время народного отчаяния послужило сигналом к пробуждению нации.

Изучая русское общество, мадам де Сталь сравнивала его с европейским и в каждом русском человеке находила то бойкость француза, то деловитость немца, то пылкость итальянца, а звучание русского языка, столь непохожего на все другие, просто ошеломляло ее: «В нем есть что-то металлическое, — записывала она для памяти, — русские произносят буквы совсем не так, как в западных наречьях; мне кажется, они в разговоре все время сильно ударяют в медные тарелки боевого оркестра...»

Беседуя со Шлегелем, она сказала ему:

— Но вряд ли ум служит для русских наслаждением.

— Тогда что же для них ум?

— Скорее они пользуются им как опасным оружием. Завтра будут проводы в армию престарелого генерала Кутузова, а этот человек заострил свой ум до нестерпимого блеска, словно шпагу в канун дуэли. Трудно ему будет управлять этой стихией.

— Под стихией вы подразумеваете... Наполеона?

— Нет, мой друг, народная война — вот стихия!

«Есть что-то истинно очаровательное в русских крестьянах, — торопливо записывала мадам де Сталь, — в этой многочисленной части народа, которая знает только землю под собой да небеса над ними. Мягкость этих людей, их гостеприимство, их природное изящество необыкновенны. Русские не знают опасностей. Для них нет ничего невозможного...»

Она участвовала в проводях Кутузова, растроганная величием этого момента: «Я не могла дать себе отчета, кого я обнимала: победителя или мученика, но, во всяком случае, я видела в нем личность, понимающую все величие возложенного на него дела...» Сергей

Глинка запомнил, как мадам де Сталь вдруг низко склонилась перед Кутузовым, возвестив ему:

— Приветствую почтенную главу, от которой теперь зависит вся судьба не только России, но даже Европы.

На это полководец без запинки отвечал ей:

— Мадам! Вы одарили меня венцом бессмертия...

На путях Наполеона к Москве уже разгоралось пламя священной войны, войны отечественной: русские мужики брались за топоры, а русские бабы деловито разбирали вилы. Еще не грянуло Бородино, еще не корчилась Москва в пламени пожаров, но мадам де Сталь страшилась побед Наполеона... Случись момент его окончательного торжества, и тогда ей вообще не останется места под солнцем Европы!

Отныне она уповала только на Россию. «Невозможно было достаточно надивиться той силе сопротивления и решимости на жертвования, какие выказывал русский народ», — писала Коринна о русских воинах и партизанах.

— Русские ни на кого не похожи! — восклицала она перед Шлегелем. — Я ехала сюда, когда Наполеон перешагнул через Неман, словно через канаву, а в деревнях еще водили беспечальные хороводы и всюду слышались песни русских крестьян. Наверное, это в духе российского народа: не замечать опасности, экономя свою душевную энергию для рокового часа... Жаль, что меня скоро здесь не будет!

Она хотела перебраться в Стокгольм, куда ее настойчиво зазывал старый друг Бернадот, бывший французский маршал, будущий король Швеции, и где была родина первого мужа, фамилию которого она носила.

Швейцарка по отцу, француженка по рождению, шведка по мужу, Жермена де Сталь, урожденная Неккер, оставалась в душе пылкой патриоткой революционной Франции. Русские не всегда учитывали

этот ее патриотизм, отчего и случались забавные казусы. Так, однажды в богатом доме Нарышкиных устроили пир в ее честь, и хозяин дома поднял бокал с вином:

— Чтобы сделать приятное нашей дорогой гостье, я советую выпить за победу над французской армией.

Коринна разрыдалась, и тогда хозяин поправился:

— Мы выпьем за поражение тирана, который в безумном ослеплении покорил Европу, а сейчас спешит в Москву, где ему уготована законная гибель.

На следующий день — новое огорчение, опять слезы. Сын вернулся из театра, сказав, что публика освистала «Федру».

— Боже праведный! Пусть они освистывают этого чесночного корсиканца, но зачем же освистывать великого Расина?..

20 августа «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили общество о скором отъезде баронессы де Сталь, а 7 сентября она уже покинула русскую столицу.

В дороге — через перелески Финляндии — ее настиг грозный пушечный гул: это были отзвуки славного Бородина...

Бернадот, конечно, был рад видеть свою старую подругу. Он был славный рубаха-парень, женатый на бывшей трактирщице, грудь его со времен революции украшала бесподобная татуировка: СМЕРТЬ КОРОЛЯМ. Но теперь, готовя себя в короли, а жену в королевы, Бернадот иначе толковал свой патриотизм, выступая с войсками Швеции на стороне России — против Наполеона.

Из Стокгольма Коринна поддерживала дружескую переписку с женою фельдмаршала Кутузова, которому она предрекла вечную славу. Но в 1813 году, избавив родину от оккупантов, Михаила Илларионович скончался в немецком Бауцене, а вскоре Жермена де

Сталь пережила страшное материнское горе: ее сын Альберт был убит на дуэли... Изгнанница отплыла в Англию, где и дождалась краха империи Наполеона.

Только теперь ей можно было вернуться в Париж.

Но это был уже не тот Париж, в котором она привыкла владеть умами и настроениями сограждан. Сразу выяснилось, что с Бурбонами, свергнутыми революцией, ей, писательнице, никак не ужиться, как не могла она раньше ужиться с Наполеоном, порожденным тою же революцией, что низвергла Бурбонов!

Было над чем призадуматься старой романистке:

— Не пришло ли мне время писать мемуары?..

А заодно делать и прогнозы на будущее. Коринна политически прозорливо предсказала гибель монархии во Франции, будущее объединение итальянских и немецких княжеств в монолитные и прочные государства.

— Я предвижу великое будущее русского народа и громадную роль молодой Америки, — вещала она...

Жермена де Сталь умерла летом 1817 года, до конца своих дней мучимая желанием любить и мыслить, а способность к мышлению приносила ей такое же наслаждение, как и любовь.

Был уже 1825 год, когда Пушкин дал отповедь критикам, которые осмелились опорочить память этой удивительной женщины. Тогда же поэт словно предостерег своего друга князя П.А. Вяземского внушительными словами:

— Мадам де Сталь наша — не тронь ее!..

Вяземский и не думал задевать мадам де Сталь, сложив в честь ее такие вдохновенные строки:

Плутарховых времен достойная Коринна,
По сердцу женщина, а по душе мужчина...

Мадам де Сталь навсегда осталась именно «н а ш а», целиком принадлежащая тому поколению русских людей, которые выстояли в огне Бородинской битвы, которые в декабре 1825 года выстраивались в четкое каре на Сенатской площади.

Что держала в руке Венера

В апреле 1820 года древний ветер с Эгейского моря принес к скалам Милоса французскую бригантину «Лашеврет». Сонные греки смотрели с лодок, как, убрав паруса, матросы травят на глубину якорные канаты. С берега тянуло запахом роз и корицы да кричал петух за горою — в соседней деревне.

Два молодых офицера, лейтенант Матерер и поручик Дюмон-Дарвиль, сошли на нищую античную землю. Для начала они завернули в гаванскую таверну; трактирщик плеснул морякам в бокалы черного, как деготь, местного вина.

— Французы, — спросил, — плывут, наверное, далеко?

— Груз для посольства, — отвечал Матерер, швыряя под стол кожуру апельсина. — Еще три ночи, и будем в Константинополе...

Надсадно гудел церковный колокол. Неуютная земля покрывала горные склоны. Да зеленели вдали оливковые рощицы.

Нищета... тишь... убогость... кричал петух.

— А что новенького? — спросил Дюмон-Дарвиль у хозяина и облизнул губы, ставшие клейкими от вина.

— Год выпал спокойный, сударь. Только вот зимой треснула земля за горою. Как раз на пашне старого Кастро Буттониса, который чуть не упал с плугом в трещину. И что бы вы думали? Наш Буттонис упал прямо в объятия прекрасной Венеры...

Моряки заказали еще вина, попросили поджарить рыбы.

— Ну-ка, хозяин, расскажите об этом подробнее...

Кастро Буттонис глядел из-под руки, как к его пашне издалека шагают два офицера, ветер с моря треплет и комкает их нежные шарфы. Но это были не турки, которых так боялся греческий крестьянин, и он — успокоился.

— Мы пришли посмотреть, — сказал лейтенант Матерер, — где тут треснула у тебя земля зимою?

— О, господа французы, — разволновался крестьянин, — это такое несчастье для моей скромной пашни, эта трещина на ней. И все виноват мой племянник. Он еще молод, силы в нем много, и так сдуру налег на соху...

— Нам некогда, старик, — пресек его Дюмон-Дарвиль.

Буттонис подвел их к впадине, открывающей доступ в подземный склеп, и офицеры ловко спрыгнули вниз, как в трюм корабля. А там, под землей, стоял беломраморный цоколь, на котором возвышались вдоль бедер трепетные складки одежд.

Но только до пояса — бюста не было.

— А где же главное? — крикнул из-под земли Матерер.

— Пойдемте со мной, добрые французы, — предложил старик.

Буттонис провел их в свою хижину. Нет, он никого не хочет обманывать. Ему с сыном и племянником удалось перетащить к себе только верхнюю часть статуи. Знали бы господа-офицеры, как это было тяжело.

— Мы несли ее через пашню бережно. И часто отдыхали...

Средь нищенского убожества, обнаженная до пояса, стояла чудная женщина с лицом дивным, и офицеры быстро переглянулись — взглядами, в которых читались миллионы франков. Но крестьянин

умел читать только свою пашню, а в людские глаза смотрел открыто и чисто.

— Продам... купите, — предложил он наивно.

Матерер, стараясь не выдать волнения, отсыпал из кошелька в сморщенную ладонь землепашца:

— На обратном пути в Марсель мы заберем богиню у тебя.

Буттонис перебрал на своей ладони монеты:

— Но священник говорит, что Венера за морями стоит дороже всего нашего Милоса с его виноградниками.

— Это лишь задаток! — не вытерпел Дюмон-Дарвиль. — Мы обещаем вернуться и привезем денег сколько ни спросишь...

С вечера задул сильный ветер, но Матерер не брал паруса в спасительные рифы. Срезая фальшбортом клочья пены, «Лашеврет» влетел в гавань Константинополя, и два офицера появились на пороге посольства. Маркиз де Ривьер, страстный поклонник всего античного, едва успел дослушать их о небывалой находке — сразу дернул сонетку звонка, вызывая секретаря.

— Марсюллес, — возвестил он ему торжественно, — через полчаса вы будете уже в море. Вот письмо к капитану посольской «Эстафеты», который да будет повиняться вам до тех пор, пока Венера с острова Милос не явится пред нами. В деньгах и пулях советую не скупиться... Ветра вам и удачи!

«Лашеврет» под командой Матерера больше никогда не вернулся в родной Марсель, пропав безвестно. А военная шхуна французского посольства «Эстафета» на всех парусах рванулась в сторону Милоса. Среди ночи остров замерцал точкой далекого огня. Никто из команды не спал. Марсюллес уже зарядил пистолет пулей, а кошелек хорошей дозой чистого золота.

Античный мир, прекрасно-строгий, вызывая восторги людей, понемногу открывал свои тайны, и на шхуне все — от юнги до дипломата — понимали, что эта ночь окупится потом благодарностью потомства.

Марсюллес, волнуясь, хлебнул коньяку из фляжки капитана.

— Пойдем напрямик, — сказал он, — чтобы не тащиться пешком от деревни до гавани... Видите, светит в хижине огонь?

— Ясно вижу! — ответил капитан, уже не глядя на картушку компаса; берег, блестя под луной острыми камнями, резко выступал в белой окантовке прибора...

— Я вижу людей! — заголосил вдруг вахтенный с бака. — Они что-то тащат... белое-белое. И — корабль! Как божий день, я вижу прямо по носу турецкий корабль... с пушками!

Французы опоздали. В бухте уже стояла громадная военная фелюга. А по берегу, осиянные лунным светом, под тяжестью мрамора брели турецкие солдаты. И между ними, повисшая на веревках, качалась Венера Милосская.

— Франция не простит нам, — задохнулся в гневе Марсюллес.

— Но что же делать? — обомлел капитан.

— Десанту по вельботам! — велел секретарь посольства. — Боевые патроны — в ружья, на весла — по два человека... Дорогой капитан, на всякий случай — прощайте!

Матросы гребли с такой яростью, что в дугу сгибались ясеневые весла. Турки подняли гвалт. Венеру сбросили с веревок. И, чтобы опередить французов, покатали ее вниз по откосу, безжалостно уродуя тело богини.

— Бочка вина! — крикнул матросам Марсюллес. — Только гребите, гребите, гребите... именем Франции!

Он выстрелил в темноту. Затрещали в ответ пистолы.

Склонив штыки, десант французов бросился вперед, но отступил перед свирепым блеском обнаженных ятаганов.

Венера прыгала по рытвинам — прямо в низину гавани.

— Что вы стоите? — закричал Марсюллес. — Две бочки вина. Честь и слава Франции — вперед!

Матросы в кровавой схватке обрели для Франции верхнюю часть Венеры — самую вожделенную для глаз. Богиня лежала на спине, и белые холмы ее груди безмятежно отражали сияние недоступных звезд. А вокруг нее гремели выстрелы...

— Три бочки вина! — призывал Марсюллес на подвиг.

Но турки уже вкатили цоколь на свой баркас и, открыв прицельный огонь, быстро отгребли в сторону фелюги.

А французы остались стоять на черных прибрежных камнях, среди которых блестели осколки паросского мрамора.

— Собрать все осколки, — распорядился Марсюллес. — Каждую пылинку благородства... Вечность мира — в этих обломках!

Бюст богини погрузили на корабль, и «Эстафета» стала нагонять турецкий парусник. Из-за борта высунулась пушка.

— Верните нам ее голову, — озлобленно кричали турки.

— Лучше отдайте нам ее зад, — отвечали французы.

Канонир прижал фитиль к запалу, и первое ядро с тихим шелестом нагнало турецкую фелюгу. Марсюллес схватился за виски:

— Вы с ума сошли! Если мы сейчас их потопим, мир уже никогда не увидит красоты в целостности... О боже, нас проклянут в веках, и будут правы...

Турки с воинственными песнями натягивали драные паруса. Марсюллес сбегал по трапу в кают-компанию, где на диване покоилась богиня.

— Р у к и? — закричал в отчаянии. — Кто видел ее руки?

Нет, никто из десанта не заметил на берегу рук Венеры...

Начались дипломатические осложнения (из-за рук).

— Но турки, — сказал маркиз де Ривьер, раздосадованный, — также отрицают наличие рук... Куда же делись руки?

Султан турецкий никогда не противился влиянию французского золота, а потому нижняя часть богини была им предоставлена в распоряжение Франции; из двух половин, разрозненных враждой и завистью, Милосская Венера предстала в целости (но без рук). Мраморная красавица вскоре отплыла в Париж — маркиз де Ривьер приносил ее в дар королю Людовику XVIII, который был напуган и растерялся от такого подарка.

— Спрячьте, спрячьте Венеру поскорее! — сказал король. — Ах, этот негодный маркиз... Пора бы уж ему знать, что королям не дарят ворованные вещи!

Людовик тщательно скрывал от мира похищение статуи с Мило-са, но тайна проникла в печать, и королю ничего не оставалось делать, как выставить Венеру в Лувре — для всеобщего обозрения.

Так-то вот в 1821 году Венера Милосская явилась перед взорами людей — во всей своей красоте.

Археологи и ценители изящного сразу же стали ломать головы в мучительных загадках. Кто автор? Какая же эпоха? Вы только посмотрите на этот сильный нос, на трактовку уголка губ; какой крохотный и милый подбородок. А — шея, шея, шея...

Пракситель? Фидий? Скопас?

Ведь это же — доподлинно образец эллинистической красоты!

Но сразу же встал неразрешимый вопрос:

— Что держала в руке Венера?

И этот спор затянулся на половину столетия:

— Венера держала в руках щит, поставленный прямо перед собой, — говорили одни историки.

— Глупости! — возражали им. — Одною рукой она стыдливо прикрывала свое лоно, а вторая рука несла воинственное копье.

— Вы ничего не поняли, профан, — раздался третий голос, не менее авторитетный. — Венера держала перед собой большое зеркало, в которое и разглядывала свою красоту.

— Ах, как вы не правы, дорогой маэстро! Венера с Милоса уже вышла из той эпохи, когда атрибутику ее составлял круглый предмет. Нет, она делает отгалкивающий жест стыдливости!

— Мой амфитрион, вы сами не понимаете разгадку рук. Скорее, что сам создатель, в порыве недовольства, пожелал уничтожить свое создание. Он отбил ей руки, а потом — пожалел.

«Да, в самом деле, что же, наконец, держала в руках Венера, найденная на острове Милос греческим крестьянином по имени Кастро Буттонис?..»

Лувр манил людей. Все восхищались. Но подвергнуть богиню реставрации нечего было и думать, ибо не выяснен главный вопрос: р у к и! А безрукая Венера стояла под взглядами тысяч людей, вся в обворожительной красоте, и никто не мог разгадать ее тайны...

Миновало полвека. Жюль Ферри, французский консул в Греции, приплыл в 1872 году на остров Милос. Так же тянуло с берега ароматом роз и корицы, так же плеснул ему трактирщик густого и черного вина.

— До деревни здесь далеко ли? — спросил Ферри, вращая стакан в липких пальцах.

— Да нет, сударь. Сразу за горой, вы там сами увидите...

Ферри постучался в ветхую лачугу, которая совсем развалилась за эти прошедшие 52 года. Дверь тихо скрипнула.

Перед консулом стоял сын Кастро Буттониса, а на лавке лежал его племянник — дряхлый, как и его брат.

Нищета сразила Ферри запахом луковой похлебки и подгорелых в золе лепешек. Нет, здесь ничто не изменилось...

— А вы хорошо помните Венеру? — спросил Ферри у крестьян.

Четыре землянистые руки протянулись к нему:

— Сударь, мы тогда были еще очень молоды, и мы бережно несли ее от самой пашни... О, сейчас нам и себя не пронести так осторожно!

Ферри прицелился взглядом на пустой очаг бедняков.

— Ну ладно. А кто из вас может вспомнить: что держала в руке Венера?

— Мы оба хорошо помним, — закивали в ответ крестьяне.

— Так что же... ч т о?

— В руке у нашей красавицы было яблочко.

Ферри был поражен простотой разгадки. Даже не поверил:

— Неужели яблоко?

— Да, сударь, именно яблочко.

— А что держала ее вторая рука? Или вы забыли?

Старики переглянулись.

— Сударь, — ответил один из Буттонисов, — мы не можем ручаться за других Венер, но наша, с острова Милос, была целомудренной женщиной. И будьте покойны: ее вторая ручка не болталась без дела.

Жюль Ферри, вполне довольный, приподнял цилиндр:

— Желая здоровья...

Он вышел из хижины. Вобрал в себя глоток свежего воздуха.

Подъем в гору казался легок, как в детстве.

Итак, кажется, все ясно...

— Хороший господин! — раздался за его спиной дребезжащий голос; это Буттонис-сын, опираясь на палку, ковлял за ним следом. — Остановитесь, пожалуйста...

Ферри подождал, когда он приблизится.

— Не обессудьте на просьбе, — сказал старик, потупив глаза в землю. — Но священник говорит, что наша Венера стала очень богатой дамой. И живет теперь во дворце короля, какой нам и не снился. Это мы открыли ее красоту, ковыряясь в грязной земле, и с тех пор мы бедны, как и тогда... еще в юности. А ведь вот этими-то руками...

Ферри поспешно сунул старику монету.

— Хватит? — спросил насмешливо.

И, более не оглядываясь, дипломат торопливо зашагал в сторону близкого моря. Как и полвека назад, звонко кричал петух за горою...

С тех пор прошло немало лет. И до сего времени копают археологи землю острова Милос — в чаянии найти, среди прочих сокровищ, и утерянные руки Венеры.

...Не так давно в нашей печати промелькнуло сообщение, что один бразильский миллионер за 35 000 долларов приобрел руки Венеры Милосской... Только руки! При продаже с него взяли расписку, что три года он должен молчать о своей покупке. И три года счастливый обладатель рук Венеры хранил клятву. Когда же тайна рук обнаружилась, ученые-археологи заявили, что эти руки — чьи угодно, только не Венеры Милосской. Проще говоря, миллионера надули...

А мир уже настолько свыкся с безрукой Венерой с Милоса, что я иногда думаю:

— А может, и не надо ей рук?

Наверное, не все читатели останутся мною довольны, ибо я не рассказал о Венере Таврической, которая с давних пор служит украшением нашего Эрмитажа. Но повторять рассказ об ее почти

криминальном появлении на берегах Невы у меня нет желания, так как об этом уже не раз писалось.

Да, писали много. Вернее, даже не писали, а переписывали то, что было известно ранее, и все историки, словно сговорившись, дружно повторяли одну и ту же версию, вводя читателей в заблуждение. Долгое время считалось, что Петр I попросту обменял статую Венеры на мощи св. Бригитты, которые он якобы заполучил как трофей при взятии Ревеля. Между тем, как недавно выяснилось, Петр I никак не мог совершить столь выгодного обмена по той причине, что мощи св. Бригитты покоились в шведской Упсале, а Венера Таврическая досталась России потому, что Ватикан желал сделать приятное российскому императору, в величии которого Европа уже не сомневалась.

Несведущий читатель невольно задумается: если Венеру Милосскую нашли на острове Милос, то Венеру Таврическую, надо полагать, отыскивали в Тавриде, иначе говоря — в Крыму?

Увы, она была обнаружена в окрестностях Рима, где пролежала в земле тысячи лет. «Венус Пречистую» везли в особой коляске на пружинах, которые избавили ее хрупкое тело от рискованных толчков на ухабах, и лишь весной 1721 года она явилась в Петербурге, где ее с нетерпением ожидал император. Она была первой античной статуей, которую могли видеть русские, и я бы покривил душой, если бы сказал, что ее встретили с небывалым восторгом...

Напротив! Был такой хороший художник Василий Кучумов, который на картине «Венус Пречистая» запечатлел момент явления статуи перед царем и его придворными. Сам-то Петр I смотрит на нее в упор, очень решительно, но «Екатерина затаила усмешку, многие отвернулись, а дамы прикрылись веерами, стыдясь глядеть

на языческое откровение». Вот купаться в Москве-реке при всем честном народе в чем мама родила — это им не было стыдно, но видеть наготу женщины, воплощенную в мраморе, им, видите ли, стало зазорно!

Понимая, что не все одобряют появление Венеры на дорожках Летнего сада столицы, император указал поместить ее в особом павильоне, для охраны поставил часовых с ружьями.

— Чего разинулся? — покрякивали они прохожим. — Ступай дале, не твоево ума дело... царское!

Часовые понадобились не зря. Люди старого закала нещадно бранили царя-антихриста, который, мол, тратит деньги на «голых девок, идолиц поганных»; проходя мимо павильона, староверы отплевывались, крестясь, а иные даже швыряли в Венеру огрызки яблок и всякую нечисть, видя в языческой статуе нечто сатанинское, почти дьявольское наваждение — к соблазнам...

Шло время, Петра I не стало, отплясала свое веселая Елизавета, о Венере вспомнила Екатерина II, которая и подарила ее князю Потемкину для убранства его Таврического дворца (почему и сама Венера стала именоваться «Таврической»). Но после смерти Потемкина и Екатерины император Павел I подверг Таврический дворец нещадному погрому, желая обратить его в конюшни гвардии, и наша несчастная Венера долгое время находилась в забвении на складах гофинтендантской (придворной) конторы, всеми забытая, окруженная вещами, далекими от искусства.

О ней вспомнили лишь в 1827 году и отдали на реставрацию знаменитому скульптору Демут-Малиновскому. А в середине прошлого столетия Венеру торжественно внесли в здание Эрмитажа, где она красуется и поныне, сохранив свое прежнее название — Таврическая...

Свой короткий рассказ о двух прекрасных «сестрах», Милосской и Таврической, я закончу отчасти неожиданно для читателя.

В пору душевного смятения и трагического надлома в жизни писатель Глеб Успенский, будучи в Париже, навестил Лувр и... надолго замер перед Венерой Милосской.

Встреча с нею стала для него целительной. «Это действительно такое лекарство, особенно ее лицо, ото всего гадкого, что есть на душе, — что я даже не знаю, какое есть еще другое?» — спрашивал он сам себя.

И произошло чудо: разом отпали душевные сомнения, жизнь заново осиялась волшебным светом, после чего Глеб Успенский *выпрямился* от былых невзгод, уверенный в себе и своих силах — как еще никогда не бывал он уверен ранее.

Чудо, спросите вы меня? Да, чудо, отвечу я вам. Потому-то он свою встречу с Венерой и запечатлел в очерке, который так и назвал: «В Ы П Р Я М И Л А».

...Не будем же меркантильны, блуждая по залам музеев, стараясь по-обывательски угадать, сколько копеек или сколько миллионов рублей стоит тот или иной обломок человеческой древности.

Подлинное искусство оценивается не деньгами и, тем более, не стоимостью входного билета в музей.

Поверьте, оно способно изменить и улучшить наш бестолковый мир, в котором мы, грешные, еще живы; именно шедевры искусства способны «выпрямить» и всех нас, населяющих этот мир, чтобы мы стали чище, возвышеннее и благороднее...

Всего доброго, мой милейший читатель.

До встречи в Эрмитаже, а может, даже в Лувре.

Уверен, что многим из нас необходимо «выпрямиться».

Наша милая, милая Уленька

Выборгская сторона в Петербурге — не для богатых.

Барон был еще молод и прозябал в бедности.

Из полуподвального жилья он видел ноги прохожих: в туфельках, в лаптях, босые или в сапогах, громыхающих шпорами. Беспечно вздохнув и радуясь полноте счастья, он разрезал селедку на две части: с головы съест сейчас, а с хвостом оставит на ужин... Боже, до чего же прекрасна жизнь!

На подоконнике подсыхали игрушечные лошадки, вылепленные из глины, которые барон мастерил для продажи. Прохожие иногда заглядывались на них с улицы. Уж больно хороши! Бегут себе лошадки или встают на дыбы, мнимый ветер развеивает у них хвосты из льняных оческов, а вместо глаз — бусинки бисера. Прохожий, вдоволь налюбовавшись, порою наклонялся пониже, заглядывал в глубину подвальных комнатенок, а там он видел молодого человека, который, закатав рукава рубахи, чертил, рисовал или вырезал из бумаги опять-таки лошадок.

Иные, недоумевая, спрашивали будочника:

— Что за мастеровой живет в угловом доме?

— А шут его знает. Говорят, будто из баронов, был офицером по артиллерии. Тока не верится... Уж больно прост. Даже со мной здороваается. Чудит! А сам куску хлеба рад.

— На лошадях помешался, что ли?

— Оно так. Бывало, затащит к себе в подвал кобылу, сам между ног ее приладится и рисует всяко. Как это не боится? Ведь зашибут копытом. Никто и знать не будет...

Этим бедным бароном был Петр Карлович Клодт, а точнее — барон Клодт фон Юргенсбург, потомок древних рыцарей из Вестфалии, которые позже владели в Курляндии замком «Юргенсбург», полу-

ченным ими в дар от герцога Готкарда Кетлера, предшественника известной нам всем династии герцогов Биронов.

Отец скульптора, Карл Федорович, немало повидал на своем веку, немало сражался, портрет его попал в Галерею героев 1812 года, где красуется и поныне. Дослужившись до генеральских чинов, барон устоял в кровавых битвах эпохи, зато рухнул как подкошенный, не вынеся оскорблений начальства...

Скульптор до старости помнил и чтил батюшку:

— Он, сам бедняк, игрушками нас не баловал. Возьмет колоду карт, нарежет из них лошадок, вот мы в них и играли. Клодты с детства безделья и скуки не ведали. Строгали, пилили, клеили, рисовали, чертили, радовались, что так интересно жить...

Мать его, Елизавета Яковлевна Фрейгольд, приходилась теткой Николеньке Гречу, педагогу и писателю, который — не в пример кузенам — умел быть на людях, успешно делал карьеру выгодными знакомствами. По вечерам Петр Карлович иногда навещал Греча, у которого было тепло и шумно от обилия гостей, званых и незваных, писателей, артистов и чиновников.

Кусок селедки, отрезанный от хвоста, оставался не съеден, ибо в доме Греча ужинали даже с вином. На правах родственника Николенька иной раз снисходительно похлопывал Клодта:

— Ну, каково живешь, Петрушка?

— Хорошо... просто замечательно!

— Заплатки-то на локтях сам пришивал?

— С а м. Не в заплатках счастье, когда каждый день жизни таит в себе столько трудов и столько радостей...

Был 1830 год, когда Клодта избрали «вольнотружателем» при Академии художеств; по рисункам барона судили, что из него мо-

жет со временем получиться недурной гравер. Клодт попал в среду художников, ему близкую, хотя сами-то художники, разделенные по рангам, словно офицеры на вахтпараде, отводили барону место в последних шеренгах своего построения по чинам.

Увы, в искусстве, как и в жизни, существовала своего рода иерархия — кому быть выше, кому ниже, кому где стоять, кому кланяться низжайше, а кому хватит и едва приметного кивка головой. Первым среди мастеров искусства был в ту пору знаменитый скульптор Иван Петрович Мартос, убеленный благородною сединой, маститый ректор Императорской Академии художеств.

Иной час, заметив барона, Мартос небрежно спрашивал:

— Все лошадками балуетесь?

— Люблю лошадей, Иван Петрович... стараюсь.

— Пустое дело! С лошадой добра не наживете. Где бы вам пустым чем-либо заняться, а вы игрушками тешитесь.

Иногда же барон чистил свой сюртучишко, испачканный глиной и обляпанный воском, стыдливо приглаживал на карманах нищенскую бахрому ветхой одежды, повязывал шею галстуком и шел в академическую церковь. Петра Карловича не занимала обедня, не тешили голоса певчих, он мечтал увидеть здесь свое потаенное, но сердечное сокровище — Катеньку Мартос!

Что «вольнотрушатель»? Так, пустое место. Ему бы стоять подалее, а впереди живописно группировались признанные мастера искусств Российской империи, академики и профессора со своими домочадцами. Здесь же, на самом переднем плане, выделялся и сам Мартос, создатель величественных монументов, яркий ненавистник обнаженной натуры, которую он с гениальным совершенством драпировал в складки классических одежд. Подле него возвышалась его супружица Авдотья Афанасьевна, величавая владычица много-

численной патриархальной семьи, оберегая от нескромных взоров Катеньку, еще девочку-подростка, ставшую предметом лирических вожделений барона.

Порою, осеняя себя широким крестом, почтенная матрона шептала дочери, краснеющей от стыда:

— Не смей глазеть на молодых живописцев, у них только вошь в кармане да блоха на аркане. А тебе, моя сладенькая, по рангу папеньки супруг необходим солидный, богобоязненный, чтобы потом не шаромыжничать по чердакам да подвалам...

В кругу семьи Мартоса, среди его богато разряженных дочерей, бывала и Уленька Спиридонова, круглая сирота, пригретая в доме Мартосов, чтобы в нищете не пропала. Вот ей разрешалось делать в церкви что вздумается, и эта некрасивая широколицая девочка озорно подмигивала дьячкам, гримасничала и корчила рожицы, сама же тишком прыскала в кулачок от смеха. Но барон Клодт, поглощенный любовью, видел одну лишь Катеньку.

А скоро случилось страшное — непоправимое!

Мария Каменская (дочь художника графа Ф.П. Толстого) в мемуарах писала: «Старик Мартос был вполне убежден в том, что обожаемая им дочь будет гораздо счастливее в замужестве, если он сам, столь опытный в жизни, выберет ей мужа». В один из дней он позвал Катеньку в залу для гостей, где уже стоял пятидесятилетний некрасивый мужчина, опиравшийся на трость.

— Моя дорогая телятинка! — так заявил Мартос. — Почтенный архитектор Василий Алексеевич Глинка делает честь просить за тобой — объявить прямо: согласна ли ты или нет?

Катенька, вся покраснев до ушей, упорно молчала.

— Молчание — знак согласия! Человек, подать шампанского! — громко крикнул радостный отец...

Старик залпом опорожнил свой бокал, опрокинув его на свой парик, и начал целовать дочь и будущего зятя... Одна только Катенька продолжала молчать. «Таким образом, — писала М.Ф. Каменская, — она, не промолвив ни “да”, ни “нет”, едва дожив до пятнадцати лет, сделалась невестою пятидесятилетнего и мало привлекательного Василия Алексеевича Глинки». Цитата закончена. Но к ней можно добавить: архитектор уже скопил на старость сто тысяч рублей, и, наверное, эта огромная сумма денег решила «счастье» девочки, покорно шагнувшей под венец.

Петр Карлович был в отчаянии, но что делать, если никогда даже не мечтал иметь сто тысяч рублей! Он сказал Гречу:

— Не имея за душой лишней копейки, я ведь всегда считал себя богачом: моя жизнь богата интересами, а свой неустанный труд я почитаю за величайшее счастье... Как быть?

— Ешь чеснок, — отвечал Греч, — мажься дегтем.

— Зачем? — удивился Клодт.

— Надвигается холера...

От холеры скончался в 1831 году и архитектор Глинка; юная вдова вернулась к родителям, выложив перед ними сто тысяч рублей. Авдотья Афанасьевна сложила деньги в сундук.

— И то дело, красавушка ты моя, — сказала мать дочери, — с такими-то деньгами во вдовстве не засидишься... Гляди, и генерал не откажется любить тебя да жаловать.

Но тут заявился в дом Мартосов барон Клодт, который, не помышляя о тысячах рублей, сгорал на костре пламенной любви, и он сразу же рухнул перед матерью на колени:

— Вы одна, божественная Авдотья Афанасьевна, можете устроить мое счастье! Не откажите в руке вашей Катеньки, уговорите и своего супруга, почтеннейшего Ивана Петровича.

На это ему было четко сказано:

— В уме ли вы, барон? Как такое могло прийти в голову? Да разве Катенька ровня вам? Или решили, что одной селедки на двоих хватит? Моя доченька изнежена, как цветочек, росла в холе и неге, дочь академика, а вы... Много ли прибыли с лошадок, которых вы по ночам лепите? Нет, голубчик, не там жену себе ищите... Ивана Петровича я даже и волновать вашей просьбой не осмелюсь: он меня и вас турнет сразу!

Монолог почтенной дамы был слишком напыщен и долог, но я сокращаю его до предела, ибо за его словами стоял сундук, наполненный деньгами. Суть же монолога была такова:

— Вот если бы, скажем, моя дочь была мастерица на все руки да притом еще нищая, как Уленька Спиридонова, пригретая нами из милости, так я и мужа-то спрашивать не стала бы: берите хоть сейчас в жены... два сапога пара!

Тут в душе Петра Карловича разыгралась гордость вестфальских рыцарей, владевших когда-то замком «Юргенсбург», и он поднялся с колен, отряхнув с них пыль. («Вся любовь к вдовушке Глинки мигом, словно чулок с ноги, снялась».)

— Вот и отлично, добрейшая Авдотья Афанасьевна, — рассудил барон. — Совершенно согласен, что два сапога — хорошая пара! Если вы считаете свою дочь принцессой, так я согласен жениться на ее домашней прислуге, какова и есть Уленька.

— Никак изволите шутить со мною, барон?

Петр Карлович разложил все по полочкам:

— Уленька хлопочет с утра до ночи, я тоже трудолюбив. Она бедная, и я нищий. Вот и станет женою мне, что гораздо лучше, нежели бы я затащил в свой подвал балованную дочку ректора академии. Пусть уж будет Уленька голодная и плохо одетая, но вы, отдавая ее за меня, не бойтесь этого...

Все решилось в два счета.

— Уля! — позвала Авдотья Афанасьевна сироту-приживалку. —

Тут барон Петр Карлович Клодт руки и сердца твоих просит.

Уленька Спиридонова зашлась от веселого хохота:

— Вот уж не думала не гадала, что стану я баронессой...

Петр Карлович взял хохотушку за руку:

— Верю, что ты принесешь мне большое счастье...

Мартос отнёсся к свадьбе серьезно. В церковь сам приехал с семейством, пригласил и знатных гостей. Невеста с трепетом ожидала явления жениха. Но барон не показывался, и Авдотья Афанасьевна изложила свои серьезные подозрения:

— Сбежал! Кому ж на нищей охота жениться?

В дверях храма возникла суета, священник спросил:

— Что там за шум? Уймись.

Церковный сторож отвечал во всеуслышание:

— Да тут какой-то оборванец в Божий храм ломится. Сказывает, что его невеста заждалась. По шее давать али как еще?

— Пусти, — возвестил Мартос торжественно.

— Да он вить женихом себя прозывает.

— Это и есть жених, а вот и невеста его...

Утром, когда молодые проснулись, Уленька спросила:

— Чай будем пить или кофий со сладким сахаром?

— Я бы и рад, да где взять? — отвечал барон.

Уленька, румяная после сна, не огорчилась:

— Нет так нет. Водички из колодца попьем, можно и без кофию жить, лишь бы только любил ты меня, Петруша...

Она стала перебирать белье, подаренное ей Мартосами на свадьбу, и между простынями нашла серебряные рубли (таков был старый обычай: класть деньги в белье новобрачной).

— Со мною не пропадешь, — повеселела Уленька. — Не было ни грошика, так сразу рубли завелись...

Только она это сказала, как в двери забарабанили, да столь внушительно, что Петр Карлович даже испугался:

— Кто бы это? Уж не дворник ли? Чего ему надобно?

Вошел дворцовый курьер, дядька здоровущий, весь разряженный, как петух, и с удивлением обозрел скудную обстановку жилья новобрачных, где столы были завалены комками сырой глины, обрезками жести, рисунками и муляжами лошадиных голов.

— Наверное, я не туды попал, — оторопел курьер.

— А кого ищете, сударь?

— Барона Петра Карловича Клодта фон Юргенсбурга... Сыскать его велел император, дабы срочно доставить в манеж конной гвардии, где Его Императорское Величество желает показать барону лошадей, что привезены в Петербург из Англии...

Николай I похвастал перед анималистом статью английских жеребцов, стоивших ему немалых денег, потом сказал:

— Барон! Давно наслышан об успехах твоих в лепке лошадиных фигур. Это кстати. Мой архитектор Стасов перестроил Нарвские триумфальные ворота, но теперь для колесницы Победы на аттике требуется изваять шестерку лошадей. Думаю, никто лучше тебя с такой работой не справится. Считай этот заказ моим личным заказом. Сделаешь хорошо — награжу по-царски...

Обратно домой Клодт вернулся обвешанный с ног до головы кулками со сладостями, расцеловал свою Уленьку:

— А ведь ты и впрямь принесла мне счастье. Сейчас будем пить кофе с сахаром, а затем поедем по магазинам.

— Зачем?

— Ты купишь самое красивое, самое нарядное платье. Будешь одета лучше всех женщин на свете, как сказочная принцесса...

...Госпожа Мартос готова была грызть себе локти:

— Ай, дура старая! Откуда ж мне знать, что баронишка этот наверх попрет? Такие подарки жене подносит, такие платья ей покупает... Промахнулась я, глупая! Недоглядела. Ведь даже мой Иван Петрович, уж на что ректор и академик, и то не раз говорил: «Кому нужен барон с его лошадами да зверушками из глины?» А он-то теперь из глины золото месит... Ох, горазд промахнулась я, дура старая. Вот бы такое счастье Катеньке, которая на сундуке-то сидит и слезьми обливается...

Екатерина Ивановна Глинка, дочь Мартосов, утешилась в браке с врачом Шнегасом и умерла молодой в 1836 году, упрекая мать за то, что дважды сделала ее несчастливой:

— Нет того, чтобы меня спросить! Я бы пошла за барона. А теперь все досталось Ульке, которая из-под меня горшки выносила. Видела я вчера, как ехала она по Невскому — уже брюхатая! Боже, какая ж она счастливая... Люди сказывают, что теперь она каждый день на себя новое платье примеривает!

Шестерка вздыбленных лошадей, влекущих колесницу Победы над пропастью, стала для Клодта его первым и вдохновенным порывом к всемирной известности и широкой славе.

Квадриги черные вздымались на дыбы
На триумфальных поворотах...

Так знать лошадь, как изучил ее Клодт, не знал никто, он был способен точно и совершенно изобразить ее прекрасное тело в любом ракурсе, самом неожиданном, даже с точки зрения человека, попавшего под копыта в момент кавалерийской атаки.

В 1835 году Уленька (Ульяна, или Иулиания, Ивановна) Клодт принесла мужу первенца Мишу. Уже на склоне лет, сам признанный

художник, он рассказывал молодым, что его мать была неунывающей оптимисткой, радостной в жизни, она любила всех, и все любили ее, веселую проказницу. «Она была не так красива, сколько миловидна и грациозна, а главное — в ней бил неиссякаемый источник жизнерадостности и веселья».

Когда-то Петр Соколов, женатый на сестре Карла Брюллова, нарисовал Уленьку карандашом — еще девочкой: широкоскулое и курносое личико, чуть подвеченное сангиной, а сколько в нем прелести, сколько наивной и чистой простоты! Но вот миновали годы, и в доме баронов Клодтов стал появляться сам «великий Карл», волшебник русской кисти... Усталый, измученный, человек неровный, обидчивый, капризный, часто оскорбляемый и оскорблявший других, он бросал шляпу в угол, раздраженный:

— Нет, так жить больше нельзя! Один только дом в Петербурге, где я отдыхаю среди блаженства и мира, это ваш дом, где царит прекрасная Уленька... ах, как я завидую тебе, Петруша!

Только что Брюллов пережил постыдный скандал с неудачной женитьбой, а в доме Клодтов искал спасения от сплетен, окружавших его. Ему не хотелось работать, но Уленьке он велел:

— Сиди вот так, как сидишь. Буду рисовать.

— Господи, да я совсем не готова...

— И не надо! Пусть другие дуры готовятся, а ты прекрасна всегда... Мне хорошо и тепло с тобою, среди твоих друзей, я люблю тебя, люблю твоего Петю, и не только ваших гостей, но даже зверей, что живут в вашем доме на правах лучших людей. Сиди. Не двигайся. Перестань хохотать. Я начинаю...

Уже не девочка, а женщина и мать, Уленька предстала на портрете Брюллова, заключенная в овал, глядя на нас, потомков, простым, но

милым лицом. Кажется, вот-вот дрогнут ее губы и мы снова услышим ее смех, отзвучавший в былом веке!

— Как я завидую твоему мужу, — говорил ей Брюллов...

А муж работал, и в семье Клодтов даже не удивлялись, если отец, как хороший шорник, садился чинить старую лошадиную сбрую, вдруг наделял детвору игрушками собственной выделки. Великий мастер, уже сам заслуженный академик, барон умел делать все, и все в его руках ладилось.

— А как же иначе? На то и живем, — усмехался он...

Никогда не жалевший денег на то, чтобы украсить неяркую внешность жены, сам Петр Карлович всегда оставался в затрапезе мастерового. Друзья, ученики, звери — вот круг его друзей.

Брюллову он искренно признавался:

— Я терпеть не могу бывать в Париже!

— Да почему же так, Петя?

— Я могу быть спокоен только близ Уленьки, без нее я не могу быть счастливым, мне всегда грустно и тяжело. Зато как удивительна моя жизнь, когда Уленька рядом со мною...

Жизнь была прекрасной — в прекрасном труде!

Четверка лошадей, укрощаемых волей сильного человека, прославила Аничков мост в столице, копии с клодтовских коней пожела-ли иметь в Берлине и Неаполе. Иностранные скульпторы приезжали в Петербург, чтобы учиться у Клодта. Знаменитый баталист Орас Берне навестил барона в его мастерской:

— Теперь в мире не существует скульптора-анималиста, который бы осмелился заявить, что не знает образцов, достойных для подражания. Вы, барон, свершили невозможное...

Не только чиновный Петербург, но Берлин, Рим и Париж признали Петра Карловича своим академиком. С утра уже на ногах, небрежно одетый, Клодт встречал знатных гостей и поклонников в мастерской,

где его по ошибке принимали за рабочего. Лучше всего он чувствовал себя среди тружеников, а формовщики и литейщики садились за стол барона, словно князя. Слава никак не соблазняла мастера, а на деньги он смотрел просто. Бедным просителям Клодт обычно говорил:

— Я занят. Покопайся в комод. Возьми сколько надо...

Все брали из комода кто сколько хотел и, конечно, долгов не возвращали. Михаил Клодт рассказывал о своем отце:

— Моего папочку просто грабили! Однажды повадилась шляться к нам здоровущая дама под траурной вуалью. Падала на колени. Рыдала. Басом взывала о пособии. Отец, конечно, отсылал ее прямо «в комод». Потом, когда эта дама убралась, горничная сказала папе: «На лестнице-то эта стерва юбки свои задрала, а там видны сапоги со шпорами». «А я и сам заметил, что это гренадер, — отвечал папа. — Но если уж гренадер плачет и в ногах у меня ползает, так лучше дать... Бог с ним!»

Клодт не страшился никакого труда, а отдых видел лишь в перемене занятий. Когда умер знаменитый литейщик Вася Екимов, барон занял место у плавильного горна, освоил литейное дело, став начальником литейных мастерских; он делал отливки столь добротнo, что потом их даже не надобно было обрабатывать зубилами.

— Побольше бы нам таких баронов, — с уважением судачили рабочие, когда Клодт, отойдя от горна, весь в вихре раскаленных брызг, хлебал квас, заедая его горбушкой хлеба...

На лето он вывозил семью в Павловск, где уютился на скромной даче. Уленька любила бродить по лесам, собирая грибы и ягоды, она возвращалась в венке из цветов, загорелая и чистая, прекрасная и обожаемая, и Клодт откровенно любовался своей подругой. Гостей на даче было не счесть, и Михаил Клодт так рассказывал о дачной жизни:

— Бывало, как наедут, аж дача трещит. Ну, дам клали спать в доме, а мужчин сваливали вповалку на сеновал или в конюшню.

Никто не обижался. Отец был выдумщик. Изобрел всякие дома на колесах. Случалось, едет наш семейный тарантас, а следом бегут за нами детишки: «Цыгане приехали... цыгане!»

На крыльце клодтовской дачи сидел страшилище-волк и, хищно лязгая зубами, встречал гостей вроде швейцара — добрейший зверь, сроднившийся с людьми до такой степени, что стал товарищем детских игр, а семью Клодтов он считал своей родной «стаей». По соседству проживали на даче Брюлловы, которых частенько навещал Петр Соколов, академик акварельной живописи, почти воздушной, пленительной.

Бывал он и у Клодтов, однажды он сказал Уленьке:

— Рисовал я тебя еще девочкой. Давай-ка присядь на минутку да не вертись... хочу снова делать с тебя портрет.

Сейчас он хранится в Третьяковской галерее, вызывая всеобщее восхищение. Казалось, годы совсем не коснулись этой женщины, которая, вернувшись с прогулки, присела возле букета цветов, настроенная позировать, но поглощенная своим большим женским миром, в котором — семья, муж, работа и... счастье.

— Петр Федорович, скажи, я очень состарилась?

— Нет, — отвечал Соколов, — все такая же... резвушка.

— А еще кто я?

— Еще ты болтушка.

— А еще?

— Еще ты баронесса...

После смерти баснописца Крылова по всей стране была объявлена всенародная подписка на сооружение ему памятника в Летнем саду столицы, где Иван Андреевич любил при жизни гулять, а теперь гуляли дети, знавшие наизусть его басни. Клодт победил на конкурсе своих талантливых коллег — Витали и Пименова. Клодтовский Крылов — это «ума палата», он воссел поверх пьедестала, как в

кресле, а под ним мирно расположился целый мир его героев: львы и слоны, лягушки и лисицы, лошади и мартышки, петухи и бараны, а ворона держала сыр в клюве. Этим памятником Крылову завершилось украшение Летнего сада!

— Ты устал? — спрашивала жена.

— Нет. Но, кажется, начала уставать ты.

— Да. Я начала уставать от безмерности своего счастья...

Дом Клодтов был всегда наполнен не только людьми, но и зверями, позировавшими художнику, и, как заметили очевидцы, все звери жили единой дружной семьей, переняв от хозяев лучшие качества доброты и ласки. Один только осел (на то он и осел!) оказался крайне строптивым, он часто убегал из дома, обожая, как ни странно, похоронные процессии с оркестром, которые торжественно замыкал собственной персоной, сопровождая покойников до кладбища, после чего возвращался в свое стойло — как ни в чем не бывало. Однажды, получив заказ на создание фигуры рыкающего льва для украшения генеральского надгробия, Петр Карлович очень переживал, что у него в доме не догадались завести хорошего льва:

— Уж я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал, дети бы его в парк ради прогулок за хвост выводили.

— И не проси! — отвечала Уленька. — Сегодня тебе льва для украшения генеральского праха, а завтра адмирал помрет, так тебе крокодила подавай... Ты сам-то подумай, во что наш дом превратился, гостей к нам и калачом не заманишь!..

Клодт трудился, как раньше, но однажды признался:

— Мозг по-прежнему ясен, руки преисполнены силой, но болят ноги. Очевидно, сырость мастерских все-таки сказалась...

В доме появились первые внуки, и великий мастер засел за сапожный верстак, чтобы шить детскую обувь.

— Как твои ноги? — беспокоилась за него Уленька.

— Болят, — пожаловался он жене, — ходить трудно, а сидя надо что-то делать. Хоть сапожки внучатам...

Но милая, милая Уленька все-таки опередила его.

22 ноября 1859 года она скончалась, ее могилу на Смоленском кладбище украсила лаконичная надпись: «Клодт фон Юргенсбург, баронесса Иулиания». Петр Карлович остался один.

В ноябре 1867 года задували метели, когда он жил на даче в Халоле и внучка просила дедушку вырезать ей лошадку.

Клодт взял игральную карту и ножницы.

— Деточка! Когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец тоже радовал меня, вырезая из бумаги лошадок...

Лицо его вдруг перекошилось, внучка закричала:

— Дедушка, не надо смешить меня своими гримасами!

Клодт покачнулся и рухнул на пол.

Когда собрались родственники, они застали его лежащим среди вырезок фигур животных, а на сапожном верстаке стояли не дошитые до конца детские башмачки.

Сын Михаил надел фартук и стал снимать маску с лица.

— Тяжкая была работа, — говорил он в старости. — Знаете, отец всю жизнь трудился, как вол, но умер сушим бедняком. Не умел копить. Не умел и не хотел. К славе был равнодушен, а корыстен не был. После него в комод остались шестьдесят рублей и два лотерейных билета... Нам, Клодтам, пришлось хоронить отца на пособие от Академии художеств.

Все любили супругов Клодтов, а не любили их только клеветники и завистники чужой славы — и не это ли является наилучшей характеристикой для художника и семьянина?

Но, думая о мастере, я всегда ставлю рядом с ним Уленьку.

В старой русской жизни очень много чистых и светлых образов женщин и матерей, которые ничего героического не совершили, но своим присутствием в жизни, своей любовью и лаской умели хранить драгоценное тепло семейных очагов, свято любящие и свято любимые.

В моем представлении, образ Уленьки, как и «Светлана» поэта Жуковского, проплывает в истории подобно легкому светлomu облаку. Память о ней я посвящаю Клодтам-художникам, ее потомкам, живущим и работающим среди нас...

Удаляющаяся с бала

В обстановке бедности, близкой к нищете, в Париже умирала бездетная и капризная старуха, жившая только воспоминаниями о том, что было и что умрет вместе с нею. Ни миланским, ни петербургским родичам, казалось, не было дела до одинокой женщины, когда-то промелькнувшей на русском небосклоне «как беззаконная комета в кругу расчисленных светил».

В 1875 году ее закопали на кладбище Пер-Лашез, предав забвению. Но «Графиню Ю.П. Самойлову, удаляющуюся с бала» помнили знатоки искусств, и она снова и снова воскресала во днях сверкающей молодости, оставаясь бессмертной на полотнах кисти Карла Брюллова. Казалось, она не умерла, а лишь удалилась с пышного «маскарада жизни», чтобы еще не раз возвращаться к нам из загадочных потемок былого. А.Н. Бену, тонкий ценитель живописи, писал, что отношения мастера с Самойловой достаточно известны, и, «вероятно, благодаря особенному его отношению к изображаемому лицу, ему удалось выразить столько огня и страсти, что при взгляде на них сразу становится ясной вся сатанинская прелесть его модели...»

Чувствую, следует дать родословную справку, дабы ни мне, ни читателю не блуждать в дебрях истории. Начнем с князя Потемкина-Таврического. Его родная племянница, Екатерина Васильевна Энгельгардт, безо всякой любви, а только от скуки стала женою екатерининского дипломата графа Павла Скавронского. Когда этот аристократ окончательно «догнул» среди красот Италии, вдова его — на этот раз по страстной любви! — вышла замуж за адмирала русского флота, мальтийского кавалера и графа Юлия Помпеевича Литта. От первого брака Екатерина Васильевна имела двух дочерей: Екатерина стала женой прославленного полководца князя Петра Ивановича Багратиона, а ее сестра Мария вышла за графа П.П. фон дер Палена.

Павел Петрович Пален от брака с Марией Скавронской оставил одну дочь — Юлию Павловну, родившуюся в 1803 году. Современников поражала ее ослепительная внешность «итальянки», а черные локоны в прическе Юлии никак не гармонировали с бледными щеками севера. Впрочем, сохранилось смутное предание, что ее бабушка, жившая в Италии, не слишком-то была верна своему мужу — отсюда и пылкость натуры Юлии, ее черты лица южанки...

Именно она одарила дружбою и любовью художника, сохранившего ее красоту на своих портретах. Написав эту фразу, я невольно задумался: а можно ли отвечать на чувства женщины, которая то приближается, то удаляется от тебя?

Наверное, можно. Карл Павлович Брюллов доказал это!

Странно, что эта богатейшая красавица засиделась в невестах и только в 1825 году нашла себе мужа. Это был столичный «Алкивиад», как называли графа Николая Александровича Самойлова, внучатого племянника того же Потемкина-Таврического.

В замужестве она не изведала счастья, ибо «Алкивиад», будучи образцом физического развития, являлся и образцовым кутилой. Управляющим же его имениями был некий Шурка Мишковский, пронирыливый конторщик, ставший доверенным графа в его делах и кутежах, а заодно и тайным утешителем молодой графини. В журнале «Былое» за 1918 год были опубликованы те места из мемуаров А.М. Тургенева, которые до революции не могли быть напечатаны по цензурным соображениям. А.М. Тургенев, много знавший, писал, что Мишковский за свои старания угодить обоим супругам получил от Самойловой засных писем на 800 000 рублей. Узнав об этом, адмирал Литга огрел его дубиной:

— Ежели ты, вошь, не возвратишь векселя графини, обещаю тебе бесплатное путешествие до рудников Сибири...

В конце 1826 года возникли слухи о примирении супругов, в письме от 1 декабря поэт Пушкин даже поздравил графа Самойлова с возвращением в объятия жены. Но вскоре последовал окончательный разрыв — после того, как Юлией увлекся Эрнест Барант, сын французского посла (тот самый Барант, с которым позже дрался на дуэли Михаил Лермонтов). Чета Самойловых разъехалась, и молодая женщина поселилась в Славянке под Петербургом, доставшейся ей по наследству от графов Скавронских. Богатство и знатное происхождение придавали Самойловой чувство полной независимости, свободной от стеснительных условий света. Иногда кажется, что она даже сознательно эпатировала высшее общество столицы своим вызывающим поведением.

Восстание декабристов было событием недавним, и Николай I пристально надзирал за чередой ночных собраний в Славянке (за Павловском, ныне дачная станция Антропшино), куда съезжались не только влюбленные в графиню, но и люди с подозрительной репута-

цией. Чтобы одним махом разорить дотла это гнездо свободомыслия, император однажды резко заявил Самойловой:

— Графиня, я хотел бы купить у вас Славянку.

Если цари просят, значит, они приказывают.

— Ваше Величество, — отвечала Юлия Павловна, — мои гости ездили не в Славянку, а лишь ради того, чтобы видеть меня, и где бы я ни появилась, ко мне ездить не перестанут.

— Вы слишком дерзки! — заметил цезарь.

— Но моя дерзость не превосходит той меры, какая приличествует в приватной беседе между двумя родственниками...

Таким ответом (еще более дерзким!) Юлия дала понять царю, что в ее жилах течет кровь Скавронских, которая со времен Екатерины I пульсирует в каждом члене семьи правящей династии Романовых. Назло императору, желая доказать, что в Славянку ездили не ради самой Славянки, Юлия Павловна стала выезжать для прогулок на «стрелку» Елагина острова, а за ней, словно на буксире, на версту тянулся кортеж всяких карет и дрожек, в которых сидели поклонники графини, счастливые даже в том случае, если она им улыбнется.

Среди безнадежно влюбленных в Самойлову был и Эммануил Сен-При, гусарский корнет, известный в Петербурге карикатурист (его помянул Пушкин в романе «Евгений Онегин» и в стихах «Счастлив ты в прелестных дурах»). Но молодой повеса счастлив не был — застрелился! Поэт Вяземский записывал в те дни: «Утром нашли труп его на полу, плавающий в крови. Верная собака его облизывала рану». Причиной самоубийства гусара считали неразделенное чувство, вызванное в нем опять-таки Самойловой. Со стороны могло показаться, что Юлия Павловна способна нести мужчинам одни лишь страдания и несчастья, но зато для Карла Брюллова она стала его спасительницей...

Это случилось в 1828 году, когда Везувий угрожал Неаполю новым извержением кипящей лавы. Год был труден для Брюллова, измученного трагической любовью к нему некоей Аделаиды Демулен: ревнивая до безумия, она кинулась в воды римского Тибра, а друзья Брюллова жестоко обвиняли его в равнодушии.

— Я не любил ее, — оправдывался Карл Павлович, — и последнее письмо ее прочитал, лишь узнав о ее смерти...

В доме князя Григория Ивановича Гагарина, посла при Тосканском дворе, уже заканчивался ужин, когда, ошеломив гостей, вдруг стремительно появилась статная рослая женщина, само воплощение той особой красоты, которую хотелось бы лицезреть постоянно, — так Брюллов впервые встретил графиню Юлию Самойлову, и хозяин дома дружески предупредил художника:

— Бойтесь ее, Карл! Эта женщина не похожа на других. Она меняет не только привязанности, но и дворцы, в которых живет. Не имея своих детей, она объявляет чужих своими. Но я согласен, и согласитесь вы, что от нее можно сойти с ума...

Самоубийство корнета Сен-При никак не задело Самойлову, но зато гибель несчастной Демулен повергла Брюллова в отчаяние. Князь Гагарин, чтобы обереечь художника от хандры и сплетен, увез его в имение Гротта-Феррата, где Брюллов залечивал свое горе чтением и работой. Но и в эту тихую сельскую жизнь, словно мятежный вихрь, однажды ворвалась Юлия Самойлова.

— Едем! — решительно объявила она. — Может, грохотание Везувия, готового похоронить этот несносный мир, избавит вас от меланхолии и угрызений совести... Едем в Неаполь!

В пути Брюллов признался, что ему страшно.

— Вы боитесь погибнуть под прахом Везувия?

— Нет. Рафаэль прожил тридцать семь лет, а я вступаю уже в третий десяток и ничего великого еще не свершил.

— Так свершайте, — смеялась Юлия...

Кто он и кто она? Ему, труженику из семьи тружеников, пристало ли заглядываться на ее красоту? Петербург отказывал Карлу даже в присылке пенсионных денег, а рядом с ним возникла женщина, не знавшая меры страстям и расходам, навешавшая иногда Францию, где у нее было имение Груссе, переполненное фамильными сокровищами. Наконец, как прекрасно ее палаццо в Милане, а еще лучше вилла на озере Комо, где ее посещали композиторы Россини и Доницетти... Самойлова была умна и, кажется, сама догадалась, что угнетает бедного живописца.

— Так и быть, я согласна быть униженной вами.

— Вы? — удивился Брюллов.

— Конечно! Если я считаю себя ровней императору, то почему бы вам, мой милый Бришка, не сделать из меня свою рабыню, навеки покоренную вашим талантом? Ведь талант — это тоже титул, возвышающий художника не только над аристократией, но даже над властью коронованных деспотов...

Брюллов писал с нее портреты, считая их незаконченными, ибо Юлия Павловна не любила позировать — некогда! Ей всегда было некогда. На одном из полотен она представлена возвращающейся с прогулки, она порывисто вбегает в комнату — под восхищенными взорами девочки и прислуги-арапки. Бегом, бегом...

— Некогда, я привыкла спешить, — говорила она.

Наконец грянул «Последний день Помпеи», и он прославил живописца — сразу и на века! Брюллов стал кумиром Италии: за ним ходили по пятам, как за чемпионом, поднявшим гирию небывалого веса, мастера зазывали в гости, жаждали узнать его мнение, высоко ценили каждый штрих брюлловского карандаша, наконец, Карла Павловича донимали заказами.

«Брюллов меня просто бесит, — разгневанно писала княгиня Долгорукая, давно умолявшая художника о свидании. — Я его просила прийти ко мне, я стучалась к нему в мастерскую, но он не появился. Вчера я думала застать его у князя Гагарина, но он не пришел... Это оригинал, для которого не существует доводов рассудка!» Быть рассудочным Брюллов не умел и не хотел. Маркиза Висконти, очень знатная дама, которой он обещал рисунок, тоже не могла залучить маэстро к себе. Вернее, он приходил к ней, но каждый раз оставался в прихожей дворца, удерживаемый там красотой сопливой девчонки — дочери швейцара. Напрасно маркиза и ее гости изнывали от нетерпения: Брюллов, налюбовавшись красотой девочки, уходил домой, сонно позевывая. Наконец маркиза Висконти сама спустилась в швейцарскую!

— Гадкая девчонка! Если твое общество для Брюллова дороже общества моих титулованных друзей, так скажи ему, что ты желаешь иметь его рисунок и... отдашь его мне!

Получался забавный анекдот: рисунок для маркизы был сделан по заказу дочери швейцара той же маркизы. Если светская молва обвиняла Самойлову в ветрености, то Брюллов, воспевавший ее в своих картинах, тоже бывал непостоянен. Но при этом: «Верный друг», — пылко говорила Юлия художнику; «Моя верная подруга», — нежно отзывался о ней Брюллов... Много позже, когда возник мучительный спор о чистоте их отношений, графиня Юлия Павловна в раздражении отвечала:

— Ах, оставьте! Поймите, что между мною и великим Карлом ничего не делалось по вашим правилам... Правила могли существовать для всех, но только не для меня и не для Карла!

Знаатоки творчества Брюллова, проникшие в тайну их отношений, пристально изучали гигантское полотно «Последний день Помпеи», отыскивая среди погибающих лицо главной героини:

— Вот он сам, спасающий атрибуты священного искусства... рядом с ним и она! С кувшином на голове, а в глазах застыл ужас. Богиню его сердца легко узнать и в павшей женщине, уже поверженной колебаниями земли. А вот и опять Самойлова, привлекающая к себе дочерей — жест матери, полный отчаяния...

Знаменитая «Мадонна Литта» кисти Леонардо да Винчи (ныне украшающая Эрмитаж) досталась графине Самойловой от адмирала Юлия Помпеевича Литта, боготворившего свою «внучку», как родную дочь. Он буквально обрушил на нее свое колоссальное наследство в Италии и в России, сделав Юлию не в меру расточительной: постоянно окруженная композиторами, артистами и художниками, эта женщина, в душе очень добрая, старалась помочь всем. Если на родине она считала себя ровней императора, то под солнцем Италии тоже не оказалась чужой, ибо графы Литта, когда-то владевшие городом Миланом, были известны в истории Италии.

Юлия Павловна могла бы сказать Брюллову:

— Не странно ли? Среди пращуров моего «деда» были и такие, при дворе которых работал великий Леонардо да Винчи, а теперь я, наследница их потомков, имею у своих ног тебя... моего славного, моего драгоценного друга Бришку!

...Иван Бочаров, наш талантливый историк искусств, столь много сделавший для раскрытия тайн брюлловского творчества в Италии, отыскал в Милане даже побочных потомков — сородичей графини Самойловой, но раскрытие одних загадок тут же порождало другие загадки — и любви, и творчества. Наверное, нам теперь легче выяснить, куда и на кого промотала Юлия Павловна свое наследство от адмирала Литта и графов Скавронских, нежели узнать, куда делись утраченные шедевры кисти Брюллова, которыми он столь щедро одаривал свою блистательную подружку...

Карл Павлович Брюллов всегда был для нее «Бришка драгоценный», но для нас он останется национальной гордостью!

Пушкин ведь тоже мечтал иметь рисунок его руки...

Возвращение Брюллова на родину было триумфальным, и Пушкин хотел заказать ему портрет пленительной Натали, уверенный, что красота жены вдохновит гениального маэстро.

В одном из писем поэт описывал жене свое посещение Перовского, который показывал ему не законченные Брюлловым эскизы для картины на тему о взятии Рима Гензерихом. Свое восхищение Перовский пересыпал бранью, ибо с Брюлловым он повздорил:

— Заметь, как прекрасно этот подлец нарисовал всадника, мошенник такой! Как он сумел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия! Как нарисовал он всю эту группу, пьяница он, мошенник и негодяй...

О том, как работал Брюллов на родине, написано очень много.

У него все получалось. Слава гения росла, но росло и недовольство той сумбурной жизнью, какою он вынужден был жить в окружении собутыльников. Брюллову захотелось трезвого покоя и семейного уюта. В доме баталиста Зауэрвейда, любимца двора Николая I, случайно он встретил тихую и скромную девушку — Эмилию Федоровну Тимм, дочь рижского бургомистра. В самом расцвете наивной юности, нежная, как весенний ландыш, она показалась усталому мастеру именно той единственной, которая, может быть, удалит из сердца давнюю страсть к чересчур пылкой, излишне переменчивой, вечно неудовлетворенной Юлии. Карл Павлович всегда поддавал под сильное влияние музыки, а тут... Тут изящная Эмилия Тимм увлекла его игрою на рояле и своим пением, причем ее почтенный отец искусно подыгрывал дочери на скрипке.

...Нет, Брюллов не кинулся на колени перед ангельским созданием, не клялся в вечной любви: прежде всего он был художник, и потому выразил свой восторг в создании портрета прекрасной Эмилии; сейчас он хранится в Третьяковской галерее, где его считают шедевром гения. Казалось бы, все уже ясно...

Но вскоре Брюллову пришлось писать шефу жандармов Бенкендорфу позорное объяснение. «Я влюбился страстно, — признавался художник. — Родители невесты, в особенности отец, тотчас составили план женить меня на ней... Девушка так искусно играла роль влюбленной, что я не подозревал обмана...» Свадьба состоялась 27 января 1839 года. Тарас Шевченко, бывший тому свидетелем, вспоминал, что Брюллов в день свадьбы был настроен мрачно, словно заранее предчуял будущую беду: «В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись; он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту». Затем началась семейная жизнь, вполне добропорядочная: молодая Эмилия краснела от нескромных шуток, с учениками мужа поигрывала в картишки, расплачиваясь с ними за проигрыш не пятаками, в которых они так нуждались, а исполнением каватины из оперы «Норма», и казалось, что Брюллов вполне доволен выбором своего сердца.

Н о... Но оно, это зловещее проклятое «но»!

8 марта, через месяц после свадьбы, Эмилия покинула дом Брюллова, по столице расползались самые грязные сплетни:

— Вы слышали? Наш великий Карл оказался садистом, бедняжка не выдержала мук и бежала от него в одной рубашке.

— А я, господа, слышал иное! Брюллов повздорил с отцом жены за картами и разбил ему голову бутылкой... вдребезги!

— Неправда! Будучи пьян, он вырвал из ушей Эмилии серьги вместе с мочками и выгнал несчастную на улицу босиком...

То, что Эмилия от Брюллова бежала, — это правда!

Но правда и то, что из своего же дома бежал сам Брюллов; укрываясь от позора, он нашел убежище в семье скульптора Клодта. Разрыв между супругами был скоростижжен и казался необъясним, ибо никто в Петербурге ничего не понимал. А когда люди ничего не знают, тогда их фантазия не знает пределов. Историки долгие годы не раскрывали секрет этого странного разрыва, объясняя свое молчание причинами соблюдения морали. Но при этом, оставляя читателя в неведении, историки — невольно! — не снимали вины с Брюллова; таким образом, читатель был вправе думать о живописце самое худое. Но отныне печать молчания сорвана, и нам позволено сказать сущую правду. Эмилия Тимм была возвращена своим же отцом, который, выдавая ее за Брюллова, желал оставаться на правах любовника дочери. Мало того, когда разрыв уже состоялся, этот мерзавец (кстати, заодно с дочерью) требовал от художника «пожизненной пенсии». Брюллов страдал.

— Как я покажусь на улице? — говорил он жене Клодта. — На меня ведь пальцем станут показывать, как на злодея. Кто поверит в мою невинность? А это «волшебное создание» еще осмеливается требовать с меня пенсию... За ч т о?

Дело зашло далеко. Так далеко, что император Николай I повелел Брюллову объяснить графу Бенкендорфу точные причины своего развода. Карл Павлович, насилуя самого себя, был вынужден допустить посторонних людей в ту грязь, в которой его постыдно испачкали. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как раз в это время не стало графа Литта, который, невзирая на свои семьдесят лет, считал себя еще завидным женихом, читал без очков, а вино хлестал — как гусар на бивуаке. За минуту до смерти он алчно слопал громадную форму мороженого (рассчитанную на 12

порций), а последние слова в этом грешном мире адмирал посвятил искусству своего повара:

— На этот раз мороженое было просто восхитительно!..

Но в смерти графа Литта явилось к Брюллову спасение.

По делам наследства в Петербург срочно примчалась графиня Юлия Самойлова; в Царском Селе она кратко всплакнула над могильной плитой «деда» Литта и поспешила явиться в столичном свете, где ее с большим трудом узнавали. «Она так переменилась, — сообщал К.Я. Булгаков, — что я бы не узнал ее, встретив на улице: похудела, и лицо сделалось итальянским. В разговоре же она имеет итальянскую живость и сама приятна...»

Сразу оповещенная о клевете, возводимой на ее друга, Юлия Павловна — сплошной порыв, как на ее портретах! — кинулась к нему в мастерскую. Она застала его удрученным бедами.

Он был несчастен, но... уже с кистью в руке.

— Жена моя — художество! — признался Брюллов.

Юлия все перевернула вверх дном в его квартире. Она выгнала кухарку, нанятую Эмилией Тимм; она надавала хлестких пощечин пьяному лакею; она велела гнать прочь всех гостей, жаждущих похмелиться, и, наверное, она могла бы сказать Брюллову те самые слова, которые однажды отправила ему с письмом: «Я поручаю себя твоей дружбе, которая для меня более чем драгоценна, и повторяю тебе, что никто в мире не восхищается тобой и не любит тебя так, как я — твоя верная подруга».

Так может писать и говорить только любящая женщина...

Утешив Брюллова, она вернулась в Славянку; здесь, в интерьере парадного зала, ее изобразил художник Петр Басин, приятель Брюллова, знавший Самойлову еще по жизни в Италии. Басин исполнил портрет женщины в сдержанной манере, графиня как бы застыла в

раздумье; портрет кажется лишь сухо-протокольным отчетом о внешности графини, не более того. Карл Павлович тоже начал портрет любимой женщины, однако совсем в иной манере, изобразив ее опять-таки в порыве никем не предугаданного движения — почти резкого, почти вызывающего, почти протестующего.

Так возникла знаменитая «Графиня Ю.П. Самойлова, удаляющаяся с бала у персидского посланника». Между Самойловой и обществом, которое она покидает, Брюллов опустил тяжелую, ярко пылающую преграду занавеса, словно отрезав ей пути возвращения в общество. Она сорвала маску, представ перед нами во всем откровении своей красоты, а за портьерой занавеса — словно в тумане — колышутся смутные очертания маскарадных фигур.

Самойлова снова удаляется. Неужели... навсегда?

Занавес — словно пламя, в котором сгорает все прошлое, и обратно она уже никогда не вернется. «Санкт-Петербургские ведомости» вскоре известили читателя, что графиня Самойлова покинула столицу, выехав в Европу... навсегда!

Покидая родину в 1840 году, она продала Славянку богачу Воронцову-Дашкову, которую вскоре перекупил у него император, назвав это имение на свой лад — Царская Славянка. Через девять лет Брюллов, уже смертельно больной, тоже покинул Россию, надеясь, что его излечит благодатный климат Мадеры, но вскоре он вернулся в Италию; можно догадываться, что в канун смерти он все-таки виделся с Юлией Павловной, но... Что мог он сказать ей, остающейся жить, и что могла ответить она ему, уходящему из этого сложного и роскошного мира?

Правду следует договаривать до конца. Заядлая меломанка, Самойлова часто бывала в опере, и однажды, послушав, как заливается

тенор Перри, она уехала из театра в одной карете с певцом, объявив ему по дороге домой, чтобы он готовился...

— К чему? — обомлел тенор.

— Я решила сделать из вас своего мужа...

В старой литературе этого певца почему-то иногда величают «доктором». Есть основания подозревать, что Перри увлекли не любовные, а лишь меркантильные соображения: он возмечтал пережить Самойлову, дабы овладеть несметными богатствами русской аристократки. Однако сей молодой человек — в расцвете сил и таланта — не выдержал накала ее страстей и вскоре же умер, оставив Самойлову сорокатрехлетней вдовой. А через год после его кончины в России умер и первый муж Юлии Павловны — знаменитый «Алкивиад», почему она долго носила траур по двум мужьям сразу. Очевидцы, видевшие ее в этот период жизни, рассказывали, что вдовый траур очень шел к ней, подчеркивая ее красоту, но использовала она его весьма оригинально. На длиннейший шлейф траурного платья Самойлова сажала детвору, словно на телегу, а сама, как здоровущая лошадь, катала хохочущих от восторга детей по зеркальным паркетам своих дворцов.

Затем она удалилась в Париж, где медленно, но верно расточала свое богатырское здоровье и свое баснословное богатство на окружающих ее композиторов, писателей и художников. Лишь на пороге старости она вступила в очередной брак с французским дипломатом графом Шарлем де Морнэ, которому исполнилось 64 года, но после первой же ночи разошлась с ним и закончила свои дни под прежней фамилией — Самойлова.

Писать об этой женщине очень трудно, ибо сорок лет жизни она провела вне родины, и потому русские мемуаристы не баловали ее

своим вниманием. Если бы не ее близость к Брюллову, мы бы, наверное, тоже забыли о ней...

Но, даже забыв о ней, мы не можем забыть ее портретов.

Вот она — опять удаляется с бала. И никогда не вернется...

Посмертное издание

Плакать хочется, если почести выпадают человеку лишь после его смерти, когда издаются книги, которые автор не мог увидеть при жизни. Зачастую публика с восторгом принимает произведение, вырвавшееся на свет божий из-под тяжкого гнета цензуры. Но иногда случается, что читатели, ознакомившись с такой книгой, испытывают разочарование.

— А что тут хорошего? — рассуждают они. — Лежала книжка, и пусть бы себе лежала дальше. Ни тепло от нее, ни холодно. Вот уж не пойму, ради чего ее теперь продают. Чепуха какая-то!

Так бывает, когда время ушло вперед, ярко выделив перед обществом новые конфликты, а книга, написанная задолго до этого, уже «состарилась», неспособная взволновать потомков, как она волновала когда-то ее современников. Нечто подобное произошло и с романом «Село Михайловское»; критики даже выступили с попреками — зачем, мол, поднимать из могилы это «старье», если от автора один прах остался.

Н.И. Греч, автор предисловия к роману, оправдывался:

— Дамы и господа! Как можно было не печатать роман, если при жизни сочинительницы его до небес превознесли корифеи нашей литературы — поэты Жуковский и Пушкин, а написан роман по личному настоянию незабвенного Грибоедова...

Издательницей романа была вдова сенатора Прасковья Петровна Жандр, а на исходе прошлого столетия она появилась в Гомеопатической лечебнице на Садовой улице Петербурга.

Главному врачу больницы она сказала:

— Не откажите в любезности принять в дар от меня остатки тиража романа «Село Михайловское». Если публика не раскупит, так, может, болящие от скуки читать станут. Все равно тираж гниет в подвалах, где его крысы сгрызут...

— А кто автор этого романа? — спросил врач.

— Варвара Семеновна Миклашевич, урожденная Смагина.

— Не знаю такой... извините, — поежился гомеопат. — Может, вы напомните мне, кто она такая?

На далеком отшибе, в губернии Пензенской (боже, какая это была глушь!), жил да был помещик Семен Смагин, владелец шестисот душ. Когда Емельян Пугачев появился в его усадьбе, Смагина сразу повесили, а жена его с детками малыми в стог сена забилась, и там сидели тихо-тихо, пока «царь-батюшка» не убрался в края другие...

Вареньке было в ту пору лишь полтора годика.

Но вот выросла она и расцвела, сделавшись богатой невестой в губернии. Появились и женихи. Однако она искала умника, а глупым сразу отказывала. Наконец один такой олух, выслушав отказ, долго не думал и застрелился.

— Ну прямо под моими окнами, — ахала Варенька. — Охти мне, страсти-то какие... прости его, Господи!

Тут притащился к ее порогу старый прохиндей Антон Осипович Миклашевич, служивший в Пензе при губернаторе, и тоже стал в ногах у нее валяться. Клялся, что на руках ее носить станет, чтобы там выпить или в картишки сыграть — ни-ни, о том и речи быть не

могло. Варенька дала согласие на брак, а много позже признавалась друзьям, что любви не было:

— Один страх господень! Потому как молодой невежа под моим окошком застрелился, а вдруг, думала я, и этот хрыч старый возьмет да на воротах моего дома повесится?..

Муж занимал в Пензе место прокурора — гроза губернии. Поэт князь Иван Долгорукий в «Капище моего сердца» так обрисовал молодую прокуроршу: «Она была барыня молодая, умная и достойная, но увлекалась чисто романтическими восторгами, и от того много дурачеств в свой век наделала...» Я не знаю, какие там фокусы вытворяла молодая жена прокурора, но зато сам прокурор в одну ночь спустил за картами все ее состояние.

Варвара Семеновна оскорбилась, даже поплакала:

— После этого, сударь, вы еще детей от меня желаете? Да вы противны мне с фарисейской рожей своей... Знала б я раньше, что вы такой, я бы вам и мизинца своего не дала!

Антон Осипович в роли супруга не блистал моралью. Но зато как прокурор он украшал себя разными злодейскими доблестями, отчего и был привлечен императором Павлом I, который из Пензы вытребовал его в Петербург. Как раз в это время Варвара Семеновна с отвращением ощутила свою беременность.

— И на том спасибо, — заявила она мужу. — Но более ничего от вас не желаю и вам желать не советую...

Приехали они в столицу — честь честью, даже новой мебелью обзавелись. Но тут прокурор что-то не так сказал, не так повернулся, не той ноздрей высморкался, почему и был посажен императором в Петропавловскую крепость. Комендантом русской «Бастилии» был тогда очень веселый и добрый человек — князь С. Н. Долгорукий, в свете имевший прозвище Каламбур Николаевич.

— Мадам, — сказал он рыдающей Варваре Семеновне, — что вы слезки-то льете? Да приходите к нам обедать... Чин у меня флигель-адъютантский, а паек у нас арестантский!

Пока муж сидел, она каждый день ходила в тюрьму, чтобы разделять с ним пищу узника. Но в один из дней, явившись в крепость, комендант спросил ее:

— Вы зачем, мадам, изволили снова пожаловать?

— Как зачем? Обедать-то мне надо.

— Так здесь же не ресторация, — захохотал Каламбур Николаевич, — паче того, вашего мужа из крепости уже вывезли.

— Неужто в Сибирь? — ужаснулась Варенька.

— Хуже того — в кабинет государя-императора...

Император расцеловал дряблые щеки узника и, не дав ему передеться, велел срочно ехать в Михайловскую станицу на Дону, где и быть прокурором, а с женою разрешил повидаться не более трех минут. Миклашевич успел жене наказать:

— Продавай все и скачи за мною на Тихий Дон...

Варвара Семеновна, уже будучи на сносях, поехала вдогонку за своим мужем. Но в пути начались схватки, в какой-то землянке, среди чужих людей, без врача и повитухи, она родила сына — Николеньку. Когда же Павла I прикончили гвардейцы, супруги Миклашевичи возвратились в Петербург.

Несчастливая в браке, презиращая мужа, женщина всю душу вложила в сына — он был для нее всем на свете. Прокурор, быстро дряхлевший, вскоре отошел в лучший мир, и Варвара Семеновна слезинки не пролила, все ее чувства были отданы сыну, которым не могла надыхаться; даже делая визиты знакомым, она появлялась с ребенком на руках, не желая ни на минуту с ним расставаться. Николеньке исполнилось восемь лет, когда он вдруг умер, и это был такой

удар для нее, что она вернулась с кладбища поседевшая. Каждый день навещала могилу сына, и когда ей говорили, что надо бы поставить над могилою памятник, Варвара Семеновна отвечала:

— Зачем ему памятник, сделанный из камня, если я каждый день стою над могилою — как ж и в о й памятник...

Что может спасти женщину? Только любовь...

Муж оставил Варвару Семеновну кругом в долгах, она распродала все, что имела, а жила тем, что бог даст, как птица небесная. Когда-то завидная невеста, из-за которой стрелялись, сразу стала нищей вдовой, никому не нужной. В это время, совсем одинокая, встретила она Андрея Андреевича Жандра, который одарил женщину возвышенной страстью. В душе поэт, был он мелким чиновником при морском министерстве, а жалованье имел — словно кот заплакал.

— Варвара Семеновна, — предложил Жандр, — двое бедных всегда богато живут, так пусть станет один наш кров, под сенью которого вечерами разделим мы общую трапезу...

Историк Д.А. Кропотков писал: «Петербургское общество уважало эту необыкновенную связь, ездило на вечера к Жандру и радушно принимало посещения его и Варвары Семеновны». Такую пару можно было уважать, ибо они уважали друг друга, и когда с Жандром случилась беда, Варвара Семеновна рьяно отстаивала его перед жандармами в таких выражениях: «Десятый год он составляет мое единственное утешение. Не имея никакой собственности, почти все мне отдает, совершенно живет для меня; назад четыре года была я больна, неподвижна шесть месяцев, так он ходил за мной, как самый нежный сын за своей матерью...» Сильна была любовь, но — платоническая!

Не так-то уж был прост Андрей Жандр, и не только хороший человек, как писала о нем Варвара Семеновна. Писатели считали Жан-

дра собратом по перу, актеры — своим драматургом, а декабристы не таили от него своих замыслов. Вестимо, что друзья Жандра стали близкими для Варвары Семеновны, которая из своих рук потчевала ежевечерних гостей — Рылеева, Бестужева, Катенина, она нежно любила поэта Сашу Одоевского. Наконец, в их доме Грибоедов был своим человеком, не только дружившим с Жандром, но совместно с ним писалась для театра комедия «Притворная неверность».

Весною 1824 года, появясь в Петербурге, Грибоедов обрел множество приятелей, будущих декабристов. В эту пору жизни он изучал восточные языки, за кулисами театров ухаживал за актрисами, вызывая ревность у их знатных поклонников. В доме Жандров он искал успокоения для души, невольно теряя ту «холодность», которая была присуща ему и даже необходима, как маска актеру... Варвара Семеновна много рассказывала Грибоедову о прошлом захолустной провинции, и в рассказах ее зримо представляли яркие типы отжившей эпохи — с их вольтерьянством и дикостью, со слезливой лирикой сантиментов Руссо и явным палачеством самодуров. Александр Сергеевич говорил:

— Вам, голубушка, не рассказывать, а самой писать надобно, чтобы золотой век матушки Катерины не сохранился для истории лишь со стороны Эрмитажа, но дабы ведали потомки и самые темные задворки русской провинции с ее ужасами.

— Не знаю, как писать. Не учена.

— Господи! Да пишите, как все мы пишем...

Нет сомнения, что Грибоедов даже любил Варвару Семеновну, видя от нее столько материнской заботы, какой не видел от родной матери, и в минуты хандры Жандра он внушал ему: «Оглянись, с тобой умнейшая, исполненная чувства и верная сопутница в этой жизни, и как она разнообразна и весела, когда не сердится...» В канун

восстания декабристов Миклашевич справляла свои именины, еще не догадываясь, что одни ее гости повиснут в петле, другие пойдут на каторгу. Странно, что, угощая князя Одоевского, она вдруг испуганно вскрикнула:

— Ай, Саша! Почудилось, будто вижу тебя в халате.

— В каком халате, хозяйюшка?

— В арестантском... вот наваждение!

Когда начались аресты декабристов, Варвара Семеновна укрыла князя Одоевского в своем доме, а сыщикам устроила от ворот поворот. Но потом взмолилась перед Жандром:

— Ради нашей любви, друг мой, достань для Саши статское платье, чтобы мог он, бедный, уйти от насилия...

Жандр помог Одоевскому бежать. Пешком декабрист покинул столицу, надеясь сыскать убежище на даче Мордвинова; но родной дядя и выдал его, велел лакеям скрутить племянника, чтобы доставить его под суд. Вслед за этим был арестован и Жандр, что повергло женщину в отчаяние. «Простите моему отчаянию — так писала она судьям. — Если б вы знали, как я страдаю, — вы бы сжалились...» Жандр твердо держался на допросах, никого не выдавая при следствии, а затем его пожелал видеть сам император Николай I:

— Ты почему сразу не выдал преступника князя Одоевского?

На это Жандр отвечал царю слишком дерзко:

— А вы, будь на моем месте, способны выдать друзей?

Плачущая, еще больше поседевшая Варвара Семеновна обняла выпущенного из крепости Жандра, который для историков так и остался лишь «причастным к декабрю 1825 года»:

— Любимый мой... один ты у меня остался!

Грибоедов тоже был арестован, но содержался в помещении штаба. «Горе от ума» было тогда слишком известно, а сам автор комедии

обладал таким обаянием, что часто уходил из-под ареста, появляясь в доме Жандров со штыком в руках.

— Откуда штык у тебя? — спрашивала Варвара Семеновна.

— Да у часового отобрал. Ему-то давно надоел, а пойду от вас ночью, так лучше со штыком... безопасней!

Отныне жизнь Миклашевич протекала под секретным надзором полиции, имя ее совмещали с именем вдовы Рылеева, а сыщики доносили о ней царю в скверных словах: «Старая карга Миклашевич, вовлекшая в несчастье Жандра, язык у нее змеиный...» Правда, что декабристы остались для женщины дороги на всю жизнь, и в своем романе она воскрешала их светлые образы. А.А. Жандр, уже глубоким стариком, рассказывал молодежи:

— Под именем Заринского она вывела Сашу Одоевского, под Ильменовым — повешенного Рылеева, а в молодом Рузине можно узнать Грибоедова. Характеры их, склад речи, даже наружность этих образов совершенно сходны с оригиналами. О, как они далеки от нынешних молодых людей! Варвара Семеновна лишь перенесла своих героев в былое время собственной младости, но в святости сохранила их гражданские и моральные идеалы.

Весною 1828 года Грибоедов успел прочесть первые страницы романа, а вскоре получил назначение посланником в Персию; он был печален и, прощаясь, трагически напророчил:

— Нас там всех перережут... Вспоминайте обо мне!

Грибоедов подарил Жандру свой список комедии «Горе от ума», которую ему не суждено было увидеть — ни на сцене, ни в печати. Варваре Семеновне он тогда же сказал:

— А вы пишите... не боги горшки обжигают! И нельзя втуне хранить бесценные сокровища своей памяти о минувшем.

Издалека приходили от него письма. Грибоедов сообщал Варваре Семеновне из Эчмиадзина: «Жена моя по обыкновению смотрит мне в глаза, мешает писать, зная, что пишу к женщине, и ревнует... немного надобно слов, чтобы согреть в вас опять те же чувства, ту же любовь, которую от вас, милых нежных друзей, я испытывал в течение нескольких лет...»

В январе 1829 года Грибоедова не стало.

— Теперь-то уж я закончу роман, — решила Миклашевич, — дабы исполнить предсмертную волю моего друга...

Роман назывался «Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия», и он явился как бы преддверием будущих «Записок охотника» Тургенева, проникнутый гневным протестом против условий крепостного права, — в этом Варвара Семеновна осталась верна себе и заветам своих друзей. В один из дней 1836 года, утомленная, но благостная, она широко раздвинула оконные шторы в спальне Жандра, разбудив его словами:

— Пора на службу, мой милый, но прежде поздравь меня... Я отслужила свое, поставив в конце романа жирную точку.

— Печально, ежели он останется в рукописи.

— Он дорог мне даже таким... Вставай!

Не стало Грибоедова, зато в жизни Миклашевич появился Пушкин, который тогда же напомнил читателям в «Современнике»: «Недавно одна рукопись под заглавием “Село Михайловское” ходила в обществе по рукам и произвела большое впечатление. Это роман, сочиненный дамою. Говорят, в нем много оригинальности, много чувства, много живых и сильных изображений. С нетерпением ожидаем его появления».

Пушкину оставалось жить всего лишь один год.

В конце жизни он навещал Жандра и Миклашевич.

— Поэт приезжал к нам просить эту книгу, — рассказывал Жандр. — Тогда книготорговцы, возбужденные слухами о романе, предлагали нам тридцать тысяч рублей, уверенные в прибыли. Я не помню, что говорил Пушкин авторше, но мне он сказывал, что не выпускал романа из рук, пока не прочел...

Неизвестно, как бы сложилась судьба «Села Михайловского», если бы не гибель поэта. В канун роковой дуэли Пушкин взял у Миклашевич лишь первую часть книги и, увлеченный ее содержанием, обещал предпослать к отдельным главам свои же стихотворные эпиграфы. Василию Андреевичу Жуковскому выпала скорбная честь разбирать бумаги покойного поэта, среди них он обнаружил и начало рукописи романа. Вскоре он появился в доме Жандра, где познакомился с Варварой Семеновной.

— Вам бы мемуары писать, — сказал он. — Ах, сколько мелочей старого быта мелькает в вашем романе, уже забытых... Поди-ка, догадайся теперь, что дворяне в царствование Екатерины ездили в гости со своими умывальниками и ночными горшками... А что вам говорил Александр Сергеич?

— Пушкин желал, чтобы роман скорее увидел свет.

— Чего и я от души желаю, — отвечал Жуковский, тогда же выпросив у Миклашевич остальные части романа.

«Он в три дня прочитал все четыре части и так хорошо знал весь ход романа, что содержание каждой части разбирал подробно, — вспоминал потом Жандр. — Он заметил некоторые длинноты и неясности, и В.С. все это тогда же исправил».

Жуковский даже сочувствовал писательнице:

— Чаю, страдаетесь вы со своей книгой...

И — немудрено, ибо роман, блуждая в рукописи среди читающей публики, сразу же сделался гоним. Был уже 1842 год, когда в

доме графа Михаила Вильегорского гости его музыкального салона однажды обступили цензора Никитенко, спрашивая:

— Александр Василич, когда же будет предан тиснению несчастный роман стареющей госпожи Миклашевич?

— Увы, — понуро отвечал Никитенко, втайне сочувствуя авторше, — никак нельзя пропустить. У нее там все начальники — мерзавцы, губернаторы — жулики, а помощники — сплошь разбойники с большой дороги, что никак не дозволит цензура светская. Но в романе немало и героев из духовного звания, есть даже архисрей, порядочный негодяй, и все столько дурно отражены, что сего не пропустит цензура духовная...

Но интерес к роману не угасал, и Николай Иванович Греч во время публичных чтений о литературе напоминал:

— Россия имеет хороший роман, к сожалению, известный более понаслышке. Смее думать, что при появлении его в свете он займет достойное место в Пантеоне нашей словесности — верностью изображения нравов, оригинальностью своих героев. Сочинен он дамой, женщиной проницательного ума и твердого характера, которая была очевидицей описанных ею событий.

— А кто эта дама? — спрашивали Греча.

— Стоит ли все тревожить ее имя, — осторожничал Греч, памятуя о крамольных связях Миклашевич с декабристами. — Могу заверить вас в одном: испытавшая в жизни тяжелые удары судьбы и неотвратимые потери, авторша запечатлела для нас нравственно-печальное состояние своей отчизны в те далекие времена, когда ей было около тридцати лет...

Вскоре же Степан Бурачек, корабельный инженер, он же издатель журнала «Маяк», большой поклонник старины (и даже ее недостатков), решил потихоньку от цензуры тиснуть «Село Михайловское»

ради спекулятивных целей, дабы повысить интерес к своему журналу. Но издатель был сразу же уличен в плутовстве, получив хорошую головомойку от начальства.

— Стыдно! — сказали ему мрачные церберы. — Где бы вам самому бороться с растлением современной литературы, вы, пуще того, приглашаете читателя в сущий вертеп разбойников, каковым и является роман неугомонной госпожи Миклашевич...

Варвара Семеновна болела. Двадцать лет длилась ее любовь, и эта любовь была обоюдно платонической, на какую не все люди способны. Предчюя близкую кончину, она сама вложила в руку любимого Жандра девичью руку Параши Порецкой, своей давней воспитанницы (по слухам, солдатской дочери):

— Меня скоро не станет, Андрюша, так вот тебе жена будет, верная и молодая... Не дури! Осчастливь Парашу, и да будь сам счастлив с нею...

Ей же она вручила полную рукопись своего романа.

— Мне уже не видать его в печати, — плакала Миклашевич. — Но жизнь не может считаться завершенной, пока с высот горних не увижу свой роман в публике, и ты, милая, живи долго-долго... чтобы издать его в иных временах... лучших!

В декабре 1846 года Варвара Семеновна скончалась, и Жандр похоронил романистку подле могилы сына Николеньки, которого она так любила. Но, кажется, Жандр умышленно отодвинул гроб от места погребения мужа-прокурора, сказав при этом:

— Она и при жизни-то терпеть его не могла...

В конце 1853 года, претерпев многие служебные невзгоды, Жандр был сделан сенатором, причисленным к департаменту герольдии. Ему предстояла еще долгая жизнь, и Андрей Андреевич не оставил следов в герольдии, зато для поколения новых историков он сделался

источником достоверных преданий былого времени; четко и разумно поминал он своих друзей, ставших уже великими. «Очень высокий, сухой, как скелет, старик в узеньком пальто, которое выказывало еще всю его худобу... лицо в морщинах, маленькое, серые глаза смотрят умно и серьезно» — таким описывали его в 1868 году, когда Россия переживала период либеральной «оттепели», и тогда же появились надежды на публикацию романа «Село Михайловское».

— Конечно, — рассуждал Жандр, — любая книга, как и овощ, годится к своему времени. Боюсь, что роман незабвенной для меня Варвары Семеновны уже перезрел на литературном огороде и вряд ли ныне доставит публике то удовольствие, какое таил он в своей первозданной свежести...

Пройдя двойную цензуру, светскую и духовную, роман В.С. Миклашевич увидел свет в шестидесятых годах, изданный в двух томах, — через тридцать лет после его написания. Время для публикации было неудачное: русское общество стремилось к новым идеалам, молодежь попросту не желала оборачиваться назад, в потемки былого, чтобы знать, как жили их деды и бабки, а злодеяния тиранов прошлого многим людям казались теперь наивными сказками. В газете «Голос» появилась рецензия. «Нет сомнения, — писалось в ней, — что, если бы “Село Михайловское” явилось в печати тридцать лет назад, оно при всех своих недостатках заняло бы видное место в ряду романов того времени, и, может быть, не осталось бы без влияния и на развитие всей нашей беллетристики, а теперь...»

А теперь главный врач Гомеопатической лечебницы равнодушно выслушал рассказ Прасковьи Петровны Жандр, убогой вдовы покойного сенатора. Желая остаться любезным, спросил:

— Сколько же вам лет, мадам?

— На девятый десяток пошла, — прошамкала старуха, и ее лицо даже засветилось в беззубой улыбке.

— Не знаю, что и посоветовать, — призадумался врач. — Так и быть, скажите швейцару, чтобы перетаскивал книги... Может, кто-либо из наших больных и почитает на досуге.

Прасковья Петровна свалила остатки нераспроданного тиража в вестибюле больницы и, сгорбленная, вышла на Садовую улицу, где ее ожидала пролетка. Все умерло в прошлом.

Время было иное, пугающее старуху своей новизной.

Кто-то из россиян уже попал под колеса первого трамвая, названный газетчиками «мучеником прогресса», первые автомобили уже изрыгнули клубы бензинового перегара, а в квартирах петербуржцев называли телефоны. Что делать в этом мире ей, не забывшей, как она, еще девчонкой, подавала чай живому Пушкину? Осталось одно — у й т и...

И она бесследно исчезла, как и остатки того тиража многострадальной книги, который не раскупили читатели.

Душистая симфония жизни

Моя жена долго искала в продаже французские духи «Шанель № 5», но не нашла их и купила духи отечественные. Я взгляделся в марку на флаконе, прочел название фирмы:

— «Новая Заря»! Поздравляю. Вполне возможно, эти духи ничуть не хуже французских.

— Разве? — удивилась жена.

Я показал ей снимки двух бюстов, мужского и женского, работы скульптора Анны Семеновны Голубкиной, что ныне выставлены для обозрения в Третьяковской галерее.

— Ты ничего не знаешь об этих людях?

— Нет.

— Между тем они оба имеют прямое отношение к тем духам, которые ты купила. Очевидно, мне придется рассказать тебе одну историю. Вернее — историю одной жизни.

Старый парижский мыловар Атанас Брокар имел на улице Шайо крохотную лавчонку, где торговал помадой для волос и туалетным мылом. Было лето 1859 года, когда, задумчиво раскурив трубку, он пожелал говорить с сыном Генрихом.

— Из Ландревилля пишут, что скончался твой дед, почти сто лет жизни вдыхавший винные пары Бургундии и Шампани. Тебе, мой сын, всего двадцать, а ты уже нанюхался всякой дряни, из которой мы извлекаем ароматы... Слушай! — сказал отец. — Париж давно испорчен такими благовониями, которые лучше бы называть вонью. Помнишь, как мы пустили в котел для варки мыла свежий конский навоз и вырुчили с этого дерьма немало. Ты неплохой химик, а из Москвы приехал парфюмер Гика, ищущий ученого лаборанта. Благословляю тебя. Поезжай.

— С чего лучше начинать мне, отец?

— Начни с мыла. В этом поганом мире еще не все люди благоухают цветами, зато каждый бродяга хоть раз в жизни должен помыться с мылом, чтобы не выглядеть свиньей...

Константин Гика спросил молодого Брокара:

— Как величать вас в Москве?

— Меня зовут Генрихом, я сын Атанаса.

— Значит, в Москве станете Генрихом Афанасьевичем...

Москва встретила француза сугробами, окриками «лихачей», трубными возгласами военного оркестра, игравшего возле дома

генерал-губернатора. Молодой человек был сообразительным и, работая лаборантом, присматривался, что может дать ему Россия и что он способен дать России. Его даже обрадовало, когда он узнал, что крестьяне в деревнях считают кусок мыла «барской прихотью», хотя множество бань в Москве и провинции убеждали Брокера в давней чистоплотности русского простонародья. Гика никак не мог заполнить мылом пустующий рынок России, но в Москве уже набирала мощь парфюмерная фирма Альфонса Ралле.

Генрих Афанасьевич еще не овладел русским языком и потому охотно навещал вечерами магазин хирургических инструментов на Никитской улице, который содержал бельгиец Томас Равэ; с ним можно было отвести душу в болтовне на французском...

Равэ долго жил гувернером в провинции, имел похвальные аттестаты от господ Щетинина, Тютчева и Кашпиревых. Но однажды в магазине Равэ послышался с лестницы шелест женского платья, и приятный девичий голос спросил:

— Папа, почему у нас так пахнет цветами?

— Иди сюда, моя прелесть, — велел Равэ, — ароматы принес тебе Брокер, занятый в парфюмерии... Это моя дочь Шарлотта, — сказал Равэ, когда девушка спустилась в магазин.

Шарлотта Андреевна (хотя отца ее звали Томасом) родилась в России и другой жизни, кроме русской, не знала; она считала себя русской, любила русскую поэзию, боготворила Пушкина. Брокер ей, кажется, понравился. Она увела его в девичью «светелку», показала альбомы, в которые от руки переписывала «Бориса Годунова», украшая пушкинские строки своими акварельными иллюстрациями. Но, беседуя с Шарлоттой, Брокер догадался, что сердце девушки уже занято любовью к известному певцу, умевшему покорять женщин божественным тенором.

— Завтра мой папа устраивает музыкальный вечер, — сказала Шарлотта, — и я буду рада, если вы разделите мои восторги от голоса этого певца... Ах, как он поет!

— Я приду, — сухо раскланялся Брокер.

Он пришел с громадной корзиной фиалок, советуя Шарлотте поставить ее на крышку рояля.

— Это вам и вашему певцу, — многозначительно произнес Брокер. — Надеюсь, запах этих дивных цветов усилит вокальные способности вашего любимого тенора.

Тенор с позором бежал из дома Равэ, не в силах взять голосом ни единой высокой ноты.

Шарлотта сказала Брокарю:

— Оказывается, вы не только химик, но еще и колдун.

— Тайна моего ремесла, — отвечал Брокар...

Он-то как парфюмер хорошо знал, что запах фиалок способен разрушить гармонию голосовых связок (о чем, кстати, ему не раз говорили старые опытные певцы). В лаборатории Брокар втайне от хозяина Гика скоро изготовил эссенцию, способную делать запахи более устойчивыми. Наконец, он решил просить у Томаса Равэ руки его дочери.

— Видите ли, — отвечал Равэ, — мои дела идут хорошо, а я человек практический, и мне сразу хотелось бы знать, каково будет обеспечение моей дочери с вашей стороны.

— Я получаю сто двадцать рублей в месяц.

— Этого мало, — вздохнул Равэ. — Вы же сами понимаете, что моему сокровищу требуется более дорогая оправа...

Брокер срочно выехал на родину, где процветали давние парфюмерные фирмы Любэна, Пино, Леграна и Пювера, которые предложили ему доходные должности в своих лабораториях. Легран,

хорошо знавший семью Брокеров, заманивал его на пост директора фабрики с годовым окладом в пять тысяч франков.

— Нет, — отказался Брокер, — я уже связан с Москвою узами сердечной привязанности и приехал... продавать!

— Вы привезли хоть кусок русского мыла?

— Я привез нечто большее...

Связавшись с фирмой Бертрана в Грассе, он продал ей секрет концентрации запаха, за что и получил 25 000 франков. С этими деньгами Генрих Афанасьевич возвратился в Москву.

— Запах нематериален, — сказал он Равэ, — но он становится даже осязаем, когда превращается вот в такие купюры.

— Вы мне нравитесь, — отвечал Равэ...

Певец с его тенором был забыт. Шарлотта заказала венчалное платье. Осенью 1862 года Брокер стал женатым человеком в возрасте двадцати четырех лет. Выбор его был правильным: Шарлотта, русская по привычкам и воспитанию, не только читала стихи, но по себе знала скромную жизнь русской провинции, ведала нужды и потребности простого русского человека.

— Мне твои химические формулы непонятны, — сказала она мужу. — Но хотелось бы знать, с чего ты начнешь?

Генрих ответил, что отец передал рецепт обработки кокосовых орехов для выделки кокосового мыла. Наконец, ему давно известен секрет получения глицеринового мыла.

— Согласна, — кивнула Шарлотта, — но прежде, мой дружок, ты бы сходил в простую русскую баню и посмотрел бы, есть ли там у кого мыло и как русские люди парятся...

После парилки, исхлестанный веником, Брокер вернулся домой в полном изнеможении и сразу свалился на постель.

— Это чудовищно! — сказал он. — Но мыла я что-то не заметил. Русские борются с грязью вениками, которые, по моему мнению, одинаковы с ударами палаческого кнута...

Весною 1864 года Брокер открыл в Теплом переулке свою «фабрику», наняв двух рабочих — мужика Герасима и молодого парня Алексея Бурдакова, которых сразу же предупредил:

— Никаких пьяных суббот, никаких «после бани по стопочке», никаких «по случаю воскресенья» быть не должно. В нашем тонком деле обоняние не должно соприкасаться с алкоголем.

— Не жисть, а каторга, — мрачно изрек Герасим.

— Где наша не пропадала! — весело согласился Алексей...

Русские спросили его: что такое «парфюмерия»?

— З а п а х, — пояснил им Брокер...

Юных пианистов учителя били линейкой по пальцам:

— Играй, играй, играй... во что бы то ни стало!

Брокер вспоминал подзатыльники отца:

— Нюхай, нюхай, нюхай... и запоминай запахи!

...Парфюмерия, как и музыка, принадлежит к древнейшему виду искусств, а парфюмер больше всего похож на композитора, который фантазирует, сочетая различные ароматы, словно раскладывая музыку по нотам. Запах человека и его одежды как бы дополняет внешность самого человека, особенно — женщины.

Еще на заре человечества люди очень активно реагировали на все запахи, приятные для них или пугающие новизной, так возникло пятое чувство — обоняние. Из глубин веков дошли до нас первые благовония, сохранившие ароматы древности в усыпальницах египетских фараонов. Библейская Суламифь, соблазнявшая Соломона, плясала перед ним, излучая ароматы возбуждающих масел, пропи-

тавших ее гибкое тело. В Древних Афинах любая красавица знала, что руки должны пахнуть мятой, а лицо — пальмовым маслом. Изнеженные патриции гордого Рима буквально купались в благоуханиях, они опрыскивали ими не только свою еду, но даже улицы, по которым должен проехать император.

Города Средневековья погибали среди отбросов и помойных канав, даже короли бывали вымыты дважды: при их рождении и перед их погребением. Женщины не ведали даже примитивной гигиены и, чтобы заглушить неприятный запах, окружали себя сильно пахнущими духами, вплоть до резкого мускуса, а путники той мрачной эпохи, еще не видя города, догадывались о его близости по запаху духов и помоев. Алхимики искали не только «секреты» золота и фарфора, но составляли остропахнущие мастики и эссенции, не боясь смешивать воедино мочу младенца с настойкой из лепестков герани, порошок истолченных болотных жаб они перемешивали с цветами индийской пачули.

В лавках Парижа времен Екатерины Медичи открыто торговали ядовитыми духами, чтобы отравить соперника или соперницу; тогдашние дамы знали, каким запахом привлечь кавалеров, а какие духи способны вызвать в мужчинах отвращение. Генрих Наваррский, зная об этих тонкостях, заклинал свою метрессу Габриэль д'Эстре: «Со всем не мойся, моя драгоценная: я буду у тебя не раньше, чем через три недели...» По аромату духов можно было определять сословное положение человека, ибо простая швея не имела права пользоваться духами, какие употребляла маркиза. Мода на запахи менялась, как и мода на одежды, и самые знатные дамы в понедельник благоухали иначе, нежели в субботу.

В 1608 году флорентийские монахи завели первую в мире парфюмерную фабрику. Еще через сто лет появилась «кельнская

вода», и эта «вода» стала провозвестником знаменитого русского «Тройного» одеколона. Французская революция подарила миру духи под названием «Гильотина», а Бонапарт именовал духи своими победами при Маренго и Аустерлице. Кстати, Наполеон был большим франтом: даже в 1812 году, отправляясь в грабительский поход на Россию, он тащил за собой громадный чемодан, набитый духами, помадами и притираниями; одной только «кельнской воды» он расходовал в день по два флакона...

Генрих Афанасьевич начинал все-таки с мыла!

Однажды он дал Шарлотте понюхать парижские духи «Почему я люблю Розину», а сам высморкался в платок, опрысканный духами «Я настоящий мужчина». Он сказал жене, что никак не ожидал встретить в России столь сильную конкуренцию:

— Альфонс Ралле со своими духами давно популярен среди московских барынь, в Петербурге набирает силу фабрика Жоржа Дюфтуа, а я... Каков бы я ни был композитор ароматических фантазий, но я способен сейчас производить только мыло.

Фабрика А. Ралле теперь называется «Свобода», фирма Ж. Дюфтуа — это «Северное сияние» в Ленинграде, а будущая «Новая заря» самого Брокара начинала жизнь в подвале дома Фаворских, где на жаркой плите стояли две кастрюли, в них булькало густое и противное варево, должное стать средством для омовений. В конце рабочего дня на столе раскладывали дневную норму: от двадцати до ста кусков мыла. Потом Алексей или Герасим грузили товар на санки и развозили его по заснеженной Москве:

— Эй, не надо ль кому хорошего мыла от Брокара?

— Катись далее, — отвечали купцы в лавках. — Мы уже закупились мылом от Ралле, и нам твою мыльца не надобно...

Вечерами, стесняясь, Брокер отдавал жене два или три рубля дневной выручки. Шарлотта оказалась практичнее мужа:

— Мылом тоже можно забить конкурентов! Подумай сначала о детском мыле. Дети не любят умываться, значит, мыло должно быть нарядной игрушкой, чтобы умывание стало для них приятной забавой. Подумай о мыле для простого народа. Русский мужик повезет твое мыло с базара, чтобы дарить его своим домочадцам вроде «гостинца», и прежде всего им должны любоваться.

— А как это сделать? — спросил Генрих Брокер.

— Так и делай... Для детворы мыло пусть имеет форму зверушек, медвежат или зайчиков, а мыло для крестьян делай похожим на красную морковку или зеленый огурец. Если кто по ошибке и попробует его на зубах — только посмеются! Но главное условие, — властно диктовала Шарлотта Андреевна, — чтобы любой кусок детского или народного мыла стоил никак не дороже одной копейки... Именно одна копейка принесет миллионы!

Брокер пустил в продажу «копеечное» мыло, и для него не потребовалось даже рекламы: детское мыло радовало детей, а мыло в форме огурцов расходилось по самым глухим деревням. Из копеек складывались тысячи рублей, и скоро пришлось выбираться из подвала дома Фаворских на другое место. Брокер оставил Герасима рабочим, но смышленного Алексея Бурдакова он ввел в свой дом. Между ними состоялся серьезный разговор.

— Алеша, — сказал Брокер, — я поеду на Нижегородскую ярмарку, а ты останешься главным. Я решил передать тебе рецептуру кокосового и глицеринового мыла, завещанную мне еще отцом. Теперь стоит подумать о туалетном мыле ценою до пяти копеек. Я займусь приданием ему должных ароматов, а ты при варке мыла добивайся его нежной прозрачности...

Скоро появились красочные этикетки для помад и мыла, доходы росли, Брокер перевел фабрику на Зубовский бульвар, затем переехал на Пресню, но скоро и там сделалось тесно. Понадобились цеха для размещения машин и громадных котлов, некуда было складывать громадные поленицы дров, пожираемых печами. Теперь на фабрике трудились уже тридцать человек. Многие из этих ветеранов немало пережили хозяина, и среди них еще недавно проживал в Москве на пенсии «парфюмер № 1 в СССР» Павел Васильевич Иванов, часто вспоминавший Брокера:

— Генрих Афанасьевич вставал раньше всех, с шести утра он трудился в лаборатории. Человек был сухой, зато справедливый, и к нам, работникам, относился хорошо. На фабрике полно разных спиртов, но никто даже лизнуть не смел. В этом деле хозяин был строг: чуть заметит кого с похмелья, сразу выставляет за ворота фабрики... Сам труженик великий, он терпеть не мог всяких лентяев, лодырей тоже выпроваживал на улицу.

Брокеру и самому нелегко бывало устоять в сделках с купцами, закупавшими у него товар для ярмарок. Словно списанные из комедий Островского, осмеянные в рассказах Горбунова и Лейкина, эти замоскворецкие Тит Титычи или Карпы Карпычи в сапогах бутылками звали Брокера «спрыснуть дельце»:

— Закатимся до утра к «Яру», арфисточек молоденьких позовем али поглядим, как цыганки пляшут... Не хошь? Тады в баню закатимся, шампанью поддадим на каменку. Покедова нам мозоли срезают да когти стригут ножницами, мы коньячком побалуемся. Тоже не хошь? Ну хоша бы в шашки с нами сыграй, мы твою «дамку» в «клозет» усадим... Окажи нам почтение!

Осенью 1869 года Брокер перевел фабрику на Серпуховскую заставу, где она потом раскинулась на весь квартал, и на этом месте

сохранилась до нашего времени. Духи оставались роскошью, парижская фирма Любэна не сходила с уст русских модниц, но Брокер уже много лет работал над созданием русских духов. А пока он выпустил на рынок «Цветочный» одеколон, заполнивший русские магазины. Завидуя успеху Брокера, парфюмеры стали выпускать подделки, столичные бонвиваны, надушившись брокеровским одеколоном, растрясали свои платки перед дамами:

— Разве я стану употреблять эту русскую дрянь? Нет, я пользуюсь исключительно парижским одеколоном по названию «Садик моей возлюбленной»... Понюхайте, мадам! Каково?

Шарлотта Андреевна, лучше мужа изучившая русские вкусы и запросы российского рынка, умело руководила сбытом помад, кремов, пудры, мыла и одеколонов, всегда окруженная коммивояжерами из провинции, художниками с эскизами оберток и наклеек. Бывая наездами в Европе, Генрих Афанасьевич отписывал жене из Парижа, что здесь все чертовски подорожало, и «вообще здесь работать было бы гораздо труднее, нежели в России... сорта здешних мыл, — сообщал он, — находятся на весьма невысоком уровне, и у нас, в России, вырабатываются гораздо лучшие и тонкие мыла. Вот видишь, каким я гордым стал!».

Мотался он по Европе не ради отдыха, вынюхивая в парфюмерных магазинах самые модные запахи, которые оставались в его памяти, как нотные знаки в душе музыканта, стимулируя Брокера к новым опытам по синтезу ароматов, чтобы воссоздать новые душистые «букеты». Жена иногда спрашивала:

— Ты никогда не хочешь вернуться во Францию?

— Я вернусь во Францию, чтобы там умереть, но жить и работать я могу только в России, где больше простора для творчества такого художника, каков я...

Жена сообразила, что продажа парфюмерии оптом в чужие руки торговцев сомнительна, и в 1872 году в Москве на Никольской улице открылся фирменный магазин Брокаров, где бедный человек покупал кусок «греческого» мыла, скромная чиновница долго выбирала «румяную» помаду, но иногда к магазину подкатывала коляска аристократки, капризно требовавшей:

— Не могу уснуть без парижских саше.

— Извините, мадам, у нас только московские...

Брокар, мастер на все руки, выделял и «саше»: особые подушечки, которые прятали на ночь в белье или в постели, чтобы они ароматизировали миндалем и ванилью, лавандой и розами. А когда Москву навестила герцогиня Эдинбургская, Брокар поднес гостье из Англии букет «из роз, ландышей, фиалок и нарциссов». Герцогиня не сразу поняла, что все цветы были вылеплены из воска, но фиалка пахла фиалкой, а ландыш — ландышем.

— Как вам удалось это, кудесник?

— Секрет моей фирмы, — поклонился Брокар.

— Но такого чуда нет даже в Европе!

— То, чего нет в Европе, можно найти в Москве...

Послереформенная Москва была переполнена сокровищами.

«Дворянские гнезда», уже разоренные, поставляли на толкучки остатки прежней роскоши своих обнищавших владельцев. Среди всяческой завали иногда попадались и настоящие шедевры, достойные того, чтобы украшать лучшие музеи мира. Генрих Афанасьевич повадился навещать рынок у Сухаревой башни, где случайно купил у расхожих антикваров картины старой фламандской школы. Но однажды ему здорово повезло. За два-три рубля, даже с неохотой, приобрел он доску, покрытую старинной живописью, до того уже потемневшей, что сюжет угадывался с большим трудом. Принес до-

мой, небрежно бросил попку в кресло, а потом и сам уселся поверх доски. Случайно зашел знакомый московский художник, а доска под Брокаром вдруг треснула.

— Генрих Афанасьевич, на чем вы сидите?

— Доска какая-то. Даже не разглядел, что тут написано.

— Позвольте глянуть... — Художник взял доску и ахнул. — Да это же подлинный Альбрехт Дюрер! Нужно только снять с него вековую грязь и как следует реставрировать...

Росло собрание картин, подрастали и дети: дочь Женечка и двое сыновей, Эмилий с Александром. Девочку он оставил нежиться с матерью, зато сыновей круто прибрал к своим рукам. С детства приучал их трудиться в лаборатории, безжалостно штудировал возле мыловаренных котлов. Брокар был строг: он тряс их за уши, раздавал пощечины, если сыновья, не дай бог, не могли отличить запах жи-молости от настойки плюща, если они путали аромат бразильского дерева с удушливым майораном.

— Балбесы! — злился Брокар. — Парфюмерия — это творчество, а вдохновение парфюмера может создавать волшебную симфонию ароматов. Как в музыке существуют отдельные тональности, так и парфюмер выделяет нужные гаммы запахов. Разве же острый диссонанс резеды или мускуса не напоминает вам удар в боевые литавры? Наконец, подобно живописцу, выделяющему яркое пятно на картине, я годами бьюсь над тем, чтобы создать духами то настроение, какое определит благородное поведение человека... У в ы, — горестно заключал Брокар, — мы знаем имена художников и композиторов, но еще никто не аплодировал мне как автору очаровательных духов.

Парфюмер, по мнению Брокара, способен управлять настроением публики: дурной запах раздражает, а хороший повышает здоровую энергию, вызывая в человеке творческие эмоции.

— Напрасно смеетесь, — обидчиво говорил Брокер. — Недаром же великий поэт Байрон окуривал себя запахом трюфелей, а парижские писатели жгут в своих кабинетах индийские благовония. Я уверен: производительность труда даже простого рабочего сразу повысится, если в цехах заводов не будет вонищи, а воздух наполнится ароматом левкоев и глициний...

Брокеры открыли второй магазин на Биржевой площади, и тут пришлось звать полицию, ибо громадная толпа угрожала разрушить двери и разбить витрины, чтобы проломиться до прилавка. Дело в том, что Шарлотта Андреевна придумала небывалый сюрприз. Всего за один рубль продавались «наборы»: в элегантной коробке были уложены сразу десять парфюмерных изделий с одинаковыми ароматами (духи, одеколон, пудра, кремы, саше, помады и прочее). Успели продать только две тысячи «наборов», после чего полиция, вся в запарке, велела закрыть магазин, не в силах справиться с напиравшей толпой.

— Это уже успех, — ликовала Шарлотта Андреевна.

— Нет, это уже с л а в а, — отвечал муж...

Много лет подряд Генрих Афанасьевич ставил в лаборатории химические опыты, стараясь извлечь из растений нужный аромат со сложным «букетом», запах которого удовлетворял бы всех мужчин и женщин, доступный для самой разнообразной публики.

— Нужен приятный и дешевый, — говорил Брокер.

Так сложилась гамма «Цветочного» одеколona, ставшего «гвоздем» на Всероссийской промышленной выставке в Москве. Фирма получила золотую медаль, а Брокер отпраздновал это событие пуском фонтана из «Цветочного» одеколona — для всех! Снова понадобилась полиция, ибо, когда фонтан заработал, публика словно обезумела: женщины мочили в струях одеколona шляпы и перчатки,

а мужчины, потеряв стыд, мочили в бассейне фонтана свои пиджаки. Формулу «Цветочного» одеколona Брокер хранил в строгом секрете, но скоро в стране появились подделки.

— Вот и отрыжка славы, — точно определил Брокер...

Подделывали не только аромат. На флаконы клеили поддельные этикетки, точно копировали коробки и даже хрустальные флаконы. Брокеру пришлось завести особое клеймо, похожее на почтовую марку, которую не могли фальсифицировать. С давних пор Брокер работал над созданием духов, способных конкурировать с наилучшими в мире — парижскими! Казалось, он был уже близок к цели: русские духи получали золотые медали на выставках в Бостоне, в Антверпене и, наконец, на Международной выставке в Париже, этой нерушимой цитадели всемирной парфюмерии... Генрих Афанасьевич впал в отчаяние.

— Никакие медали не помогают! — сказал он жене. — Ничто не в силах убедить русскую публику, что отечественные духи не хуже, а, напротив, даже лучше парижских...

«Цветочный» одеколон прочно завоевал всероссийский рынок, его производством занимался громадный цех с массой рабочих, годовая выработка флаконов перевалила уже за миллион штук, а вот духи Брокера по-прежнему томились на прилавках, ибо женщины соглашались даже переплатить за духи фирмы Любэна, не доверяя духам русской выделки. Генрих Афанасьевич воспринимал это как бедствие, от огорчения он даже расхворался.

Шарлотта Андреевна, зная о причинах его расстройства, долго думала, чем бы помочь мужу. Наконец пригласила на чашку чая Алексея Ивановича Бурдакова, который из прежнего парня Алеши, таскавшего на санках куски первого мыла, превратился в солидного господина при золотой цепочке от часов поверх бархатного жилета.

Крепкий русским задним умом, он стал доверенным лицом фирменной хозяйки. Теперь он смелой рукой налил себе коньяка, закусил птифуром и приготовился слушать.

— Алеша, — сказала ему Шарлотта Андреевна, — с духами прямо беда! Наши дамы гоняются за парижскими, платя за них втридорога, а наша фирма выпускает духи с более тонким и стойким ароматом, наконец, наши духи намного дешевле. Однако наши дуры не верят, что русские способны соперничать в качестве с фирмами Пино или Любэна... Как быть? Думал ли ты об этом?

— И не раз, Андреевна. Есть у меня мыслишка одна, да боюсь, что Генрих Афанасьевич не согласится.

— А мы ему ничего не скажем. Все останется между нами.

Сообща они решились на публичную провокацию. Партию дорогих духов Любэна, обложенную на таможенных высокой пошлиной, они разлили по флаконам фирмы Брокера, а духи своей фабрики продавали во французских флаконах. Настало тревожное ожидание результатов, и поначалу все было тихо.

— Началось, — возвестил однажды Бурдаков. — Любэновские духи в наших флаконах никто не берет, зато все глупое бабье кидается на наши духи во флаконах парижских. Иные-то дамы даже скандалят в магазинах, возвращая обратно наши духи, иные требуют назад свои деньги, не догадываясь, что ругают-то не наши, русские, а именно любэновские духи...

После этого фирма Брокера объявила в газетах о своем умышленном обмане покупателей, чтобы доказать, к чему приводит излишнее преклонение перед иностранным товаром, тогда как русская марка ничуть не хуже европейской. Скандал был велик, но, кажется, именно такого скандала и добивалась Шарлотта Андреевна, чтобы поставить все на свои места. Вскоре после этого случая Брокеры

справили «серебряную свадьбу». Генрих Афанасьевич поднес жене скромный флакон с духами.

— Спасибо. Надеюсь, ты придумал им название?

— Какой же композитор выносит на суд публики симфонию, не именуя ее? Понюхай, это — «Персидская сирень».

Духи с таким названием обошли все европейские столицы, завоевывая золотые медали на выставках, признанные чудом мировой парфюмерии... Брокер печально признался жене:

— Неужели это мой последний аккорд?

Всем обязанный щедротам России, Брокер хотел бы, наверное, расплатиться с нею за все то доброе, что получил на родине жены и своих детей. Думается, поэтому он и сам отвечал добром на труд рабочих фабрики «Брокер и К^о», часто жертвовал немалые деньги на развитие русской археологии, делал богатые вклады в Общество московских библиографов.

Человек скупой, как и все французские буржуа, Генрих Афанасьевич не жалел денег ради обогащения своих коллекций. Конечно, его картинная галерея никак не могла равняться по своей ценности с собраниями Третьякова или Щукина, но все-таки полтысячи полотен старых мастеров фламандской, голландской и русской школ — это ведь тоже не пустяк!

Брокер самоучкой развивал свой вкус, сам определил свои исторические интересы и не упускал случая приобрести старинный шифоньер французской королевы, ценную инкунабулу или чашку мейсенского фарфора. Известный в кругу антикваров, он собрал витрину дамских и мужских серег XV века, редкостные миниатюры на кости и виды старой Москвы, скупал гобелены и ткани, у него были даже фрески из «Пале-Рояля», часы и табакерки разных вре-

мен, набор дамских всееров и кошельков, уникальный хрусталь и стекло русских фабрик.

Генрих Афанасьевич не держал собранную им сокровищницу заперти, ежегодно он открывал двери своего дома, чтобы она была доступна для публичного обозрения. Наконец, в конце XIX века Брокер устроил в Торговых рядах старой Москвы выставку картин своей галереи и предметов искусств прошлого, открытие которой В.А. Гиляровский почтил восторженными стихами.

Выставка заняла несколько громадных помещений, а знатоки искусств не раз удивлялись:

— Бог мой! Да тут есть такие редкости, достойные найти место даже в императорском Эрмитаже...

Эта выставка и стала последним, заключительным аккордом в душистой симфонии жизни славного парфюмера Брокера.

В декабре 1900 года он скончался и — мертвый — вернулся на родину, погребенный в усыпальнице местечка Провэн...

Сейчас на концертах часто звучит музыка старинных времен, давно угасших; старейшие моды одежды и дамских причесок иногда причудливо возрождаются в новых модах нашего времени, и вот я думаю: не воскресить ли нашим парфюмерам забытые рецепты духов и благовоний Брокера, какими восхищались наши молоденькие прабабушки?

А на флаконах с духами следовало бы ставить не только название фирмы, но имена а в т о р о в духов, чтобы мы знали их, как знаем имена композиторов, писателей и художников.

Будем помнить: духи для женщины — это г е р б ее красоты, ее привычек, ее характера, ее чудесных капризов.

Будем же уважать женщину с гербом!

Духи создают о б р а з привлекательной женщины, желающей любить и быть любимой. Недаром же еще в древнейшем Шумер-

ском царстве красавицы имели духи по названию: «Приди, приди ко мне...»

Разве это слова? Нет, это ведь тоже музыка...

Дама из «Готского альманаха»

В 1929 году «Готский альманах», старинный и авторитетный справочник всей европейской знати, упомянул, что еще жива княгиня Екатерина Радзивилл, урожденная графиня Ржевуская, родная племянница Эвелины (Евы) Ганской, жены знаменитого Бальзака. Удостоенная такой чести, названная аристократка не приняла русскую революцию, но политическое убежище искала все-таки на родине — в Ленинграде, где и проживала на Лиговке. Сообщая об этом факте, Андре Моруа в своей книге о Бальзаке утверждал конкретно: «В жизни Екатерины Радзивилл все сплошная выдумка и ложь...»

Я смотрю на фотографию женщины, скромно одетой и причесанной, невольно думаю о том, что пути житейские, как и пути Господни, неисповедимы. Здесь неизбежно последует перерыв, чтобы задуматься над главным — с чего начинать?

Начать можно и с анекдота, но вполне пристойного, исторического... Пост российского посланника в Париже занимал одноглазый князь Николай Орлов. Однажды к нему в кабинет вошел секретарь посольства, сильно взволнованный:

— Швейцар не пропускает странного человека, называющего себя вашим дедушкой, чего быть не может. Наверное, сумасшедший! Прикажете звать полицию или санитаров из бедлама?

— В нашей жизни, — отвечал Орлов, — все может быть. Догадываюсь, что меня пожелал видеть супруг моей бабушки. А моей

матери он доводится отчимом... Лучше я к вам спущусь вниз, дабы распахнуть перед ним свои внучатые объятия!

Речь шла о графе Адаме Адамовиче Ржевуском, сестрою которого была Эвелина Ганская-Бальзак. Воспитанник галицийских иезуитов, граф Адам еще в пору офицерской младости женился на старухе-вдове Жеребцовой, обладавшей солидным капиталом (дочь от ее первого брака, с Жеребцовым, и была матерью князей Орловых). Сам Ржевуский, далекий от своей польской родни, постоянно проживал в Петербурге, состоя в свите царя. Судя по всему, он обладал твердым характером. В один из дней, когда граф поступил вопреки воле императора, Николай I подвел его к окну, из которого виднелись тюремные рavelины Петропавловской крепости.

— Ржевуский, ты видишь? — зловеще спросил он.

— Вижу, Ваше Величество.

— А что это такое? — грозно спросил император.

— Это... гробница царей дома Романовых!

Сватаясь к Эвелине Ганской, Бальзак не был принят Адамом Ржевуским в его доме, а когда писатель жил в имении Верховня на Украине, граф осыпал сестру грубыми попреками за этот «неравный» брак с «мещанином». Но Эвелина, ставшая женой умирающего писателя, знала, что имя Бальзака будет ей хорошим дополнением к титулу — залогом успеха в парижском обществе: все в мире забудут ее первого мужа Вацлава Ганского, зато будут помнить бессмертного Бальзака...

Эвелина не видела агонии Бальзака: ее сердце в это время уже принадлежало модному портретисту Жигу. Растрепанная и полурядзетая, она вышла из спальни лишь затем, чтобы убедиться в своем вдовстве. Сколько Бальзак описал в своих романах семейных трагедий, но такой, как его смерть, он придумать не мог. Бальзак

очень любил мечтать о миллионах, которые он зарабатывает при жизни, предвеля Эвелину: «К несчастью, творчество мое составит состояние, когда мне уже не нужно будет никакого состояния». Так и случилось. Весь архив писателя достался его вдове, сделавшись главным источником ее обогащения. Началась эксплуатация «Человеческой комедии»; дьявольским трудом, который и свел Бальзака в могилу, писатель невольно обогатил других, недостойных такого обширного наследства...

Между тем граф Адам Ржевуский овдовел и женился вторично. На этот раз он взял в жены молоденькую Анечку Дашкову, дочь министра юстиции. Но в марте 1858 года она умерла, оставив мужу дочь Катеньку, которая и станет главной героиней нашего рассказа. Девочке запомнилась смерть в Рязани ее бабушки, урожденной Пашковой, восстание поляков, которое подавлял ее отец, сам польский шляхтич, и путешествие в Париж, где она видела своих теток — Эвелину Бальзак в ее доме на улице Фонтеню и Каролину Делакура, жену известного писателя, державшую в Париже светский салон. О вдове Бальзака племянница позже вспомнила: «Она научила меня той силе сопротивления, которой я обладаю. Она внушала мне, что обстоятельства могут согнуть человека, но человек, верный своим принципам, обязан выпрямиться...»

Кате исполнилось 14 лет, когда отец сказал ей:

— Я приготовил тебе прекрасную партию! Если твои тетки стали женами беспутных парижских п и с а к, Бальзака и Делакура, то я нашел тебе жениха в Берлине.

— Кто он? — спросила девочка.

— Князь Вилли Радзивилл из немецкой ветви этого рода, по чину майор славной германской армии. Его бабка была принцесса Луиза Прусская, племянница короля Фридриха Великого. Родственная

династии Гогенцоллернов, ты будешь очень счастлива, дитя мое! — заключил отец, непреклонный...

Венчание и свадьба девочки с немецким майором состоялись в Верховно, давнем имении Ганских, откуда когда-то выехал Бальзак в Париж, чтобы умереть, не испытав семейного счастья. Странно, но это так: молодая ни слова не знала по-немецки, муж разговаривал с ней на французском языке.

Радзивиллы имели в Берлине старинный дворец, который позже канцлер Бисмарк купил у них для себя и своего министерства. Но в ту пору, когда в нем появилась юная княгиня, в доме было уже тесновато, фрау майорша, приученная к петербургской роскоши, была недовольна, что ее загнали под самую крышу, в мансарду. В своих мемуарах, описывая подробности берлинской жизни, она почти забыла о своем муже, сообщая кратко: отъехал, вернулся, заболел, поправился. Первое Рождество на чужбине было отмечено визитом германской императрицы, которая привезла Радзивиллам громадный мешок с подарками. «Этих подарков все очень боялись; трудно было вообразить что-либо уродливее вещей, какие дарила императрица. Я в первый раз удостоилась милости, получив от нее чудовищный градусник из зеленой бронзы, сделанный в форме берлинского памятника “Победы”, который сам по себе уродлив...»

Со временем княгиня Радзивилл прочно вошла в берлинский свет, где процветали дамские салоны с заезжими говорунами, где на концертах Вагнера, входившего в моду, дамы впадали в истерику, а на приемах в королевском дворце brave прусские генералы, зажав треуголки между колен, алчно поглощали дармовую лососину под майонезом. Екатерина Адамовна скучала без мужа, выезжавшего на маневры армии, но еще больше скучала с мужем. Отдыхать от скуки она ездила в Россию, где у нее было небольшое имение на Волге,

и встречи с русской природой, русскими крестьянами и обычаями русской деревни тешили ее сердце, ибо она считала себя русской...

Женщина была умна, сообразительна, с детства наслушалась в Петербурге политических разговоров, из своей берлинской мансарды она смело судила о европейской политике. Равнодушная к музыке Вагнера, княгиня любила посещать рейхстаг, выслушивая политические дебаты. Екатерина Адамовна была в восторге от речей Августа Бебеля. «Никогда еще старинное здание не оглашалось такими возгласами, как в этот момент, — писала она. — Всякий невольно был тронут воззванием старика к чувствам справедливости и человеколюбия...»

Каждый год она с мужем навещала Петербург, чтобы повидать стареющего отца; своих детей на всю зиму оставляла в русской столице на попечение бабушки, сама выезжала в Ниццу. После скоростижной смерти генерала Скобелева ей пришлось разговаривать с фельдмаршалом Мольтке, который сказал:

— Не скрою, смерть Скобелева вызвала во мне радость!

«Я никогда не забуду, как смутился старый фельдмаршал, когда я ему сказала, что белый генерал был моим двоюродным братом» (их родство было через Пашковых). В 1882 году умерла в Париже ее тетка Эвелина Бальзак, а чета Радзивиллов приняла русское подданство; они покинули Берлин и поселились в Петербурге. Впрочем, английские журналисты, знавшие княгиню лучше других, писали, что она не просто покинула Берлин, а была вышвырнута оттуда по настоянию Бисмарка, ибо за кулисами германской политики пыталась проводить свою политику — в личных целях! Кроме того, княгиня Радзивилл написала роман, «который наделал большого шума, представив подноготную германской политики», что вызвало приступ ярости железного канцлера.

Так проходило время до 1899 года, когда княгиня Радзивилл вдруг исчезла из светской жизни. Она бросила мужа, оставив ему четверых своих детей. Начиналась самая безумная полоса ее жизни. Андре Моруа пишет, что княгиня «создала из своей собственной жизни роман, до странности похожий на бальзаковские романы». Наша героиня была как раз в бальзаковском возрасте. Это очень опасный возраст, когда женщина сама не знает, на что она способна...

Что искала она, бежав от детей и мужа?

Но княгиня вдруг оказалась в Англии, где следила за расписанием пассажирских пакетботов, отходивших в Кейптаун.

На одном из них должен был отплыть Сесил Родс — гений колониального грабежа, мечтающий о создании единой британской колонии — от новостроек африканского Кейптауна до острова Кипр; в ту пору этого международного террориста именовали «африканским Наполеоном» или «первым гражданином Великобритании и всех тех стран, где говорят по-английски».

Колониальное величие Англии было издревле созидаемо авантюристами, а политики Уайтхолла лишь придавали видимость законности всем узурпациям. Английская королева Виктория, тряся брылями дряблого подбородка, однажды спросила Родса:

- Сесил, что вы там делаете в Южной Африке?
- Увеличиваю владения Вашего Величества.
- Правду ли говорят, что вы ненавидите женщин?
- В с е х на свете, кроме Вашего Величества...

От имени Родса произошло название страны «Родезия».

Своей столицей он сделал город Кимберли, где черные рабы добывали бриллианты для британской короны и слитки золота для банковских подвалов Натана Ротшильда.

Но «алмазная лихорадка» в Африке не была воспета ни Брет Гартом, ни Джеком Лондоном, почему проспиритованный Клондаик или дремучий Юкон стали известнее Кимберли и золотых россыпей Ранда с их преступной экзотикой. Здесь полновластно владычил Сесил Родс, и он вспоминается мне каждый раз даже сегодня, когда в телевизионной программе «Время» показывают кровавые кошмары дней и ночей бунтующей Южной Африки...

Нестерпимый блеск африканской Голконды увлекал к шахтам Кимберли всех подонков мира, сюда сбегались все представители отбросов общества, алчущие наживы, и среди них оказалась наша прекрасная героиня, вписанная в «Готский альманах» дотошными генеалогами... Трудность ее женской задачи осложнялась чересчур важным обстоятельством: Сесил Родс принадлежал к редкой породе мужчин — он был яростным женоненавистником, о чем и сам не раз возвещал открыто:

— Нет такой обольстительной Саломеи, которая бы своим греховным танцем отвлекла меня от важных дел по созданию новой африканской Англии с телеграфом и железной дорогой — от моих шахт Кимберли до гробниц фараонов в Каире. Я не могу уничтожить всех женщин в мире. Но я способен не замечать этих животных, только мешающих нам, мужчинам, делать свое дело...

Екатерина Радзивилл понимала, что победа над таким чудовищем Викторианской эпохи будет нелегка, и возлагала надежды только на скуку дальнего плавания от Лондона до Кейптауна.

Окруженный сонмом прихлебателей и секретарей, Родс за столом кают-компании с ненавистью озирает женщину в беленькой кофточке с пышным коком волос над высоким лбом. Сначала он на все ее вопросы лишь огрызался, как бульдог, берегущий драгоценную кость, из которой еще не высосан весь мозг.

— Наверное, алмазы из ваших копеек воруют, сэръ?

— О да! — ворчал Родс, оскалась. — Но по дороге от шахты до барачных компаунд всех негров обыскивают.

«Компаунд» — так назывались опутанные проволокой негритянские гетто, ставшие прообразом будущих концлагерей. Екатерина Адамовна втягивала Сесила Родса в беседу, как тянут непокорного быка на бойню. Следовал ее деликатный вопрос:

— Разве нельзя добытый алмаз проглотить?

— Негры их и глотают, — мрачно пояснил Родс. — Но в конце рабочего дня мы даем им столько касторки, что все алмазы вылетают, как пробки из шампанского, после чего стражи порядка ковыряются в баках для нечистот, выискивая караты.

— Боже, как это грубо! — ужаснулась княгиня.

— Да, — согласился Родс, — самые драгоценные бриллианты воняют дерьмом, и тут уж ничего не поделаешь...

Радзивилл не плясала перед ним танец Саломеи, но Родс вскоре и сам ощутил угрозу своей мужской независимости. Своих попутчиков он предупредил:

— Это очень опасная женщина... даже для меня! Потому прошу вас не оставлять меня наедине с нею. Мало ли что может случиться в потемках тесной каюты...

Радзивилл, наверное, вспомнила свою тетку Бальзак, которая преподавала ей уроки принципов, ведущих только к победам. Она ловко и быстро перестроила свой фронт, обнажив перед Родсом более острое оружие, каким обладала, — это была политика!

Разгоралась Англо-бурская война, весь мир был возмущен насилием Уайтхолла, и потому Родс схватил наживку вместе с крючком, как глупый карась. Княгиня привела его в восторг.

Своим попутчикам он стал объяснять совсем другое:

— Откуда берутся такие удивительные женщины? — говорил он. — Кажется, она в Берлине не теряла времени напрасно и доста-

точно поковырялась в протухших мозгах самого Бисмарка. Я в Лондоне даже у наших лоботрясов парламента не встречал столько понимания, какое нашел в этой стыдливой тихоне.

Пакетбот еще не доплыл до Кейптауна, когда в свите Родса всезнающие секретари стали тишком поговаривать:

— Наш главный рудокоп, кажется, решил жениться. Как бы в наши «копи царя Соломона» не забралась эта пассажирка, у которой никто не догадался спросить паспорт...

Княгиня — еще в море — верно определила, что Родсу осталось недолго жить, и, наверное, ее расчет был настолько же безошибочен, как за полвека до этого был точен расчет ее тетки, ведущей под венец умирающего Балзака. Между тем находиться подле Родса было жутковато, а выслушивать его даже страшно.

— Расширение — это все! Мир почти поделен, а то, что осталось, лишь жалкие объедки, которые скоро расхватывают другие. Жаль, что я не могу добраться до звезд! Я бы аннексировал даже планеты, включив их в могучую систему Британской империи... Вы, очевидно, замужем? — неожиданно спросил Роде.

Но такой вопрос не застал княгиню врасплох.

— Нет, — скромно солгала она, — я разведена с мужем, не найдя в нем должного отклика на мои духовные запросы...

Что ей теперь этот германский майор с закрученными до ушей усами? Теперь ей руку держал сам великий Родс, король золота и бриллиантов, премьер Капской колонии и будущий владыка всей Африки.

Сразу из гавани он отвез женщину в свое имение Грут-Муур, где у него была гигантская, но безобразная вилла «варварской» архитектуры. Здесь княгиня повела себя как хозяйка. Пожалуй, она вела себя с Родсом даже не как женщина, желающая усмирить его в узах

брака, а скорее как писатель, собирающий материал о главном герое будущего авантюрного романа.

Впоследствии она писала, что Родс «не имел никакого понятия о разнице между добром и злом, подчиняясь непреодолимой жажде мести врагам и бесповоротному самолюбию... он жаждал только одного — власти, а стремился лишь к одному — к силе! Родс никогда не сознавал, что совершил нечто дурное, постоянно восторгаясь всем тем, что он делал, что говорил или что он думал». Но в этой характеристике, чересчур правдивой и слишком жестокой, уцелело одно признание княгини, выгодное и опасное для нее: «Родс догадывался, что я держала в своих руках его политическую репутацию...» Правда, ее не раз коробило от цинизма, которого Родс никогда не скрывал. Однажды, обедая в обширном кругу гостей, он заговорил о недавнем восстании племени матабиле. Забыв дату, он повернулся к лакею, который был сыном Лобенгулы, вождя этого племени:

— Напомни, в каком году я зарезал твоего отца?..

В другой раз он велел расстрелять невинного человека, после чего не уstraшилcя принять у себя его вдову:

— Вы напрасно решили, что от жалости к вам я всю ночь страдал бессонницей. Вы верно думаете обо мне, что я палач...

Радзивилл играла с огнем: если у Родса нет чувства жалости даже к народам, так что ему судьба женщины, осмелившейся держать его репутацию? Когда ласками, когда намеками она вынуждала сатрапа писать ей любовные записки, исподтишка наблюдая, как он расписывается в банковских чеках, — и сама потихоньку училась копировать родсовский почерк. Кажется, в своих претензиях она потеряла меру, и тогда от Родса снова услышали:

— Ради бога, не оставляйте меня с нею наедине...

Наверное, он просто испугался, что женщина знает о нем слишком много, а скоро узнает больше чем надо. Смерть уже поставила на лице Родса свою шаблонную печать, но болезнь не сделала его мягче. Презируя всех, он совсем не обижался, видя, что люди, окружавшие его, тоже выражают ему свое презрение. Екатерина Адамовна даже обрадовалась, когда Родс отлучился в Каир и Рим — ради деловых визитов. О том, что случилось далее, она корректно умолчала в своих мемуарах. Но тайная разведка Сесила Родса уже не сводила с нее глаз, и вскоре его известили, что его «невеста», такая милая, такая обворожительная дама из «Готского Альманаха», подала в банк чек на 29 тысяч фунтов стерлингов, подписанный его рукою.

— Я никогда этого не делал! — сразу заявил Родс, и он был прав, ибо чеков на ее имя никогда не подписывал.

Родс велел судить княгиню за подлог, и сам, бросив лечение в Европе, срочно вернулся в Кейптаун, чтобы присутствовать на процессе. «Его показания, — отметил Андре Моруа, — были убийственны для обвиняемой». По настоянию Сесила Родса, жалости никогда не ведавшего, аристократку упрятали в душную камеру вонючей тюрьмы с клопами. Там она и сидела долгих два года, дождавшись известия о смерти своего «жениха».

В. А. Тимирязев (брат нашего знаменитого ученого) писал:

«Таким образом княгиня Радзивилл заканчивает роковую историю ее отношений к Сесилу Родсу, накидывая на нее некую таинственную завесу. Что касается до истинной правды, то вряд ли придется ее дожидаться.»

Но мы этой правды все-таки дождались!

Посмертная слава бальзаковского гения росла во всем мире, и Радзивилл, выпущенная из кейптаунского клоповника, верно рас-

судила, что надежнее опираться на величие славы своего «дяди», нежели искать нежности в шайке империалистов...

Тем временем муж потребовал развода с нею, опороченной связью с Родсом и подлогом с чеками. Дурная молва гнала княгиню прочь из Африки, но аристократия Европы тоже отвергала ее как мошенницу, способную залезть в чужой карман. Тогда княгиня обратила свои тоскующие взоры на Америку, и решение ее никак не назовешь легкомысленным. Американцы, эти наивные простаки, сами не имея своей аристократии, кроме денежной, охотно глазели на аристократов Европы, веря всему, что они скажут. Радзивилл решила использовать свое знатное происхождение, свое родство по мужу с Гогенцоллернами, а свои речи в Америке она заводила прямо с короля Фридриха Великого.

— Наконец, — завершила она свои лекции, от которых шалели «демократы», — я племянница великого романиста Бальзака.

Она разила простаков наповал. Явление княгини в Штатах можно было сравнить только с ожиданием кометы Галлея, явление которой предвещало большую смуту. Конечно, она возбудила большой интерес среди заокеанских любителей «человеческой комедии», которые увидели в ней неиссякаемый источник свежей информации о самом Бальзаке и о соблаздившей гения Эвелине Ганской...

Теперь «бальзаковский» роман писался без передышки!

В 1904 году она сыскала в Лондоне издателя своих мемуаров, предупредив его, что это лишь первый том воспоминаний.

— Чем кончается? — был задан ей вопрос.

— Смертью британской королевы Виктории.

— А почему не Сесила Родса? — последовал вопрос.

— Родса я отодвинула во второй том.

— А я желаю, чтобы он поместился в первом...

Мемуары были переведены на русский язык в самый разгар Русско-японской войны. В этой войне отличился ее сын, князь Вацлав Радзивилл, офицер русской армии, ставший героем обороны Порт-Артура: отчаянный разведчик, он дважды, маскируясь под китайского хунхуза, переходил линию фронта с депешами.

Но матери, кажется, было мало дела до своих детей, оставленных вместе с мужем. Через два года ее брак с Радзивиллом был расторгнут, а петербургская и берлинская родня краснела при упоминании ее имени. В канун мировой войны она стала женою мюнхенского инженера Карла Кольба. Под фамилией второго мужа она в 1913 году опубликовала в России воспоминания о своем отце, графе Адаме Ржевуском.

А в 1915 году в парижском монастыре на улице Вожирар умерла падчерица Бальзака — графиня Анна Мнишек: последняя свидетельница жизни Бальзака с Эвелиною Ганской отправилась в небытие, и отныне уже никто не мог помешать Радзивилл-Кольб отпраздновать свое право на близкое родство с женою великого писателя. Проще говоря, ей на старости лет хотелось устроить свое благополучие на костях тех сородичей, что навеки успокоились на парижском кладбище Пер-Лашез...

Началась новая эпоха, которую она восприняла враждебно. Из Петербурга, ставшего Ленинградом, княгиня позже удалилась в Европу, чтобы стричь купоны со своего аристократизма, заверенного на страницах почтенного «Готского альманаха». К тому времени в Европе уже вполне сложилось научное бальзаковедение, и потому Екатерине Адамовне было гораздо сложнее выступать в роли племянницы Бальзака. Она пошла иным путем, на котором легче всего обмануть почитателей бальзаковского гения.

Так появились на свет в Париже сначала одиннадцать, а потом и семнадцать писем Эвелины Ганской к ее брату — графу Адаму Ржевускому, которые якобы уцелели лишь в копиях. Вот образец на-

чального письма, открывавшего «невшательский» роман 1833 года. «Я наконец ознакомилась с Бальзаком, — якобы писала Ганская брату. — Помнишь, ты предсказывал, что он ест с ножа и сморкается в салфетку. Ну так вот, если он и не совершил второго преступления, то в первом оказался повинен».

В подобных письмах развернулся роман Ганской с писателем, точнее — выдумка об этом романе ее племянницы, которая сама сочиняла письма от имени своей тетки. Это был такой же подлог, как и в деле с фальшивыми чеками.

Екатерина Адамовна, надо признать, хорошо подготовилась к фальсификации чужой любви. У нее всегда был готов ответ:

— Не волнуйтесь! Весь архив графов Ржевуских укрыт мною в надежном месте, сейчас еще не время обнажать его тайны. Но я при жизни оставляю завещание, чтобы его опубликовали.

— Когда? — возникал естественный вопрос.

— В тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году...

Она знала, что в 1958 году ее не будет в живых. Но в этом году исполнится ровно сто лет со дня ее рождения.

Княгини давно не было уже на белом свете, когда бальзаковеды Франции и Америки уличили ее во лжи — последней лжи в ее жизни...

Я не знал, с чего мне начать, а теперь не знаю, чем закончить. Наверное, тем, что сказано.

Портрет из Русского музея

С чеканным стуком падала туфля на каменные плиты храма Шатель, а холодные своды при этом гулко резонировали. Обнаженная высокая женщина с перстнями на пальцах рук и ног всходила на шаткое ложе, как на закляние.

Изгиб ее спины был удивителен, как и вся она. В этой женщине — все приметы времени, в котором она жила. Современники писали: «Худощавое стальное тело, странно напоминающее кузнечика. Очарование ядовитое, красота на грани уродства, странное обаяние!»

И вот, когда я увидел ее впервые, я мучительно обомлел:

— Кто она? Откуда пришла к нам? И почему она здесь?

Встреча моя с нею произошла в Русском музее...

Меня волновал этот резкий мазок, с такой сочностью обозначивший ее спину и лопатки. И почему она (именно она!) до сих пор привлекает внимание к себе? Почему столько споров, столько страстей, которые продолжаются и поныне... Только потом я узнал, что для нее (специально для нее!) были написаны:

ГЛАЗУНОВЫМ — «Саломея» (Пляска семи покрывал) в 1908 году;

ДЕБЮССИ — «Страсти Святого Себастиана» в 1911 году;

РАВЕЛЕМ — знаменитый балет «Болеро» в 1928 году;

СТРАВИНСКИМ — «Персефона» в 1934 году.

Но особенно остро меня всегда тревожил один момент в биографии этой женщины. Когда она предстала перед Серовым.

Но для этого надо быть последовательным. Начнем с начала.

И сразу — вопрос: а где оно, это начало?

Конец всегда найти легче, нежели начало. А начало я отыскал в дне 27 августа 1904 года, когда Вера Пашенная, скромница в бедном сатиновом платье, пришла в Малый театр держать экзамен при студии. Ее буквально ослепил этот зал, но уже на склоне лет она призналась, что от этого дня «ярко запомнилась только одна фигура!». Мимо нее прошла красавица в пунцовом платье, вся в шорехе драгоценных кружев, за нею волочился длинный шлейф... «Меня поразила прическа с пышным напуском на лоб. Онемев, я вдруг

подумала про себя, что я совершенно неприлично одета и очень нехороша собой...»

Так появилась Ида Львовна Рубинштейн, и скоро видный актер и педагог А.П. Ленский стал хвастать по Москве своим друзьям:

— А у меня теперь новая ученица — будущая Сара Бернар!..

Ида Рубинштейн родилась в еврейской семье киевского миллионера-сахарозаводчика. Училась в петербургской гимназии. Длинноногая девочка, нервная и томная, «она производила впечатление какой-то нездешней сомнамбулы, едва пробудившейся к жизни, охваченной какими-то чудесными грезами...» Ида сознавала обаяние своей поразительной красоты и, казалось, уже смолоду готовила себя к роли околдованно-трагической. Начинала же она с изучения русской литературы, которую пылко любила. Ее привлекала тогда художественная декламация. Но голос дилетантки терялся в заоблачных высях, не возвращаясь на грешную землю. Это был пафос — взлет без падения. «Не то! Совсем не то...» Ида Рубинштейн заметалась из театра в театр. Станиславский уже заметил ее и звал Иду в свой прославленный театр. Но Ида оказалась у Комиссаржевской, где она «...не сыграла ровно ничего, но ежедневно приезжала в театр, молча выходила из роскошной кареты в совершенно фантастических и роскошных одеяниях, с лицом буквально наштукатуренным, на котором нарисованы были, как стрелы, иссиня-черные брови, такие же огромные ресницы у глаз и пунцовые, как коралл, губы; молча входила в театр, не здороваясь ни с кем, садилась в глубине зрительного зала во время репетиции и молча же возвращалась в карету».

Актер А. Мгебров не понял, зачем Ида приходила в театр. А дело в том, что Комиссаржевская готовила к постановке пьесу Оскара Уайльда «Саломея». Ида Рубинштейн должна была выступить в главной роли. Библейская древность мира! Всей своей внешностью

она как нельзя лучше подходила к этой роли. Известный театровед В. Светлов писал: «В ней чувствуется та иудейская раса, которая пленила древнего Ирода; в ней — гибкость змеи и пластичность женщины, в ее танцах — сладострастно-окаменелая грация Востока, полная неги и целомудрия животной страсти...»

Казалось бы, все уже ясно, путь определен. Готовясь к этой роли, Ида Рубинштейн прошла выучку у таких замечательных режиссеров, как А. Санин и В.Мейерхольд. Опытные мастера русской сцены уже разгадали в Иде тот благородный материал, из которого можно вылепить прекрасную Саломею. Но... тут вмешался черносотенный «Союз русского народа» во главе с Пуришкевичем. Ополчился на Саломею и Святейший Синод — постановку запретили, театр Комиссаржевской прекратил существование.

А издалека за Идою следили зоркие глаза Станиславского.

«Звал же я ее учиться как следует, — сообщил он с горечью отвергнутого учителя, — но она нашла мой театр устаревшим. Была любительницей и училась всему... Потом эти планы с Мейерхольдом и Саниным, строила свой театр на Неве. Сходилась с Дункан — та прогнала ее. Опять пришла ко мне и снова меня не послушалась!»

«Саломея» увлекала ее. Иде казалось, что она сможет обойти запрет Синода, поставив пьесу в домашних условиях. Не тут-то было! Но в это время она встретила с непоседой Михаилом Фокиным.

— Научите меня танцевать, — попросила она его.

Этому обычно обучаются с раннего детства, и Фокин глядел на Иду с большим недоверием. Какое непомерно узкое тело! Какие высокие, почти геометрические ноги! А взмахи рук и колен как удары острых мечей... Все это никак не отвечало балетным канонам. Но Фокин был подлинным новатором в искусстве танца.

Фокин в балете — то же, что и Маяковский в поэзии.

— Попробуем, — сказал великий реформатор...

Как раз в это время Париж был взят в полон «русскими сезонами»: Сергей Дягилев пропагандировал русское искусство за границей. Респектабельный, с элегантным клоком седых волос на лбу, он почти силой увез в Париж старика Римского-Корсакова. «Буря и натиск!» Шаляпин, Нежданова, Собинов. Перед ошеломленной Европой был целиком пропет «Борис Годунов» и вся (без купюр) «Хованщина». Мусоргский стал владыкою европейских оперных сцен. Русский портрет, русские кружева, декорации... Но Дягилев морщился:

— А где балет, черт побери?

Ида Рубинштейн бросила мужа, оставила дом и, следуя за Михаилом Фокиным, очертя голову кинулась в Европу как в омут. Вдали от суеты, в тихом швейцарском пансионе, Фокин взялся готовить из Иды танцовщицу. Неустанный труд, от которого болели по ночам кости! Никакого общества, почти монашеская жизнь, и только одна забава: хозяин отеля поливал из шланга водой своих постояльцев.

Вряд ли тогда Ила думала, что ее ждет слава.

«Русский сезон» продолжался. И вот, когда французы по горло уже были сыты и русской живописью, и русской музыкой, и русским пением, вот тогда (именно тогда!) расчетливый С. Дягилев подал напоследок Парижу — как устрицу для обжоры! — Иду Рубинштейн.

И оглушающим набатом грянуло вдруг: слава!!!

Валентин Александрович Серов приехал в Париж, когда парижане уже не могли ни о чем говорить — только об Иде, все об Иде. В один день она стала знаменитостью века. Куда ни глянешь — везде Ида, Ида, Ида... Она смотрела с реклам и афиш, с коробок конфет,

с газетных полос — вся обворожительная, непостижимая. «Овал лица как бы начертанный образ без единой помарки счастливым росчерком чьего-то легкого пера; благородная кость носа! И лицо матовое, без румянца, с копною черных кудрей позади. Современная фигура, а лицо — некоей древней эпохи...»

Конечно, натура для живописца наивыгоднейшая!

Серов увидел ее в «Клеопатре» (поставленной по поэме А.С. Пушкина «Египетские ночи»). На затемненной сцене сначала появились музыканты с древними инструментами. За ними рабы несли закрытый паланкин. Музыка стихла... И вдруг над сценою толчками, словно пульсируя, стала вырастать мумия. Серов похолодел — это была царица Египта, мертвенно-неподвижная, на резных котурнах. Рабы, словно шмели, кружились вокруг Клеопатры, медленно — моток за мотком — освобождая ее тело от покровов. Упал последний, и вот она идет к ложу любви. Сгиб в колене. Пауза. И распрямление ноги, поразительно длинной!

— Что-то небывалое, — говорил Серов друзьям. — Уже не фальшивый, сладенький Восток банальных опер. Нет, это сам Египет и сама Ассирия, чудом воскрешенные этой женщиной. Монументальность в каждом ее движении, да ведь это, — восхищался Серов, — оживший архаический барельеф!

Художник верно подметил барельефность: Фокин выработал в танцовщице плоскостный поворот тела, словно на фресках древнеегипетских пирамид. Серов был очарован: все его прежние опыты создания в живописи Ифигении и Навзикаи вдруг разом обрели выпуклую зримость.

— Увидеть Иду Рубинштейн — это э т а п в жизни, ибо по этой женщине дается нам особая возможность судить о том, что такое вообще лицо человека... Вот кого бы я охотно писал!

Охотно — значит, по призыву сердца, без оплаты труда.

— А за чем же тогда дело стало? — спросил художник Л. Бакст.

Серов признался другу, что боится ненужной сенсации.

— Однако ты нас познакомь. Согласится ли она позировать мне?

А если — да, то у меня к ней одно необходимое условие...

— Какое же?

— Я желал бы писать Иду в том виде, в каком венецианские патрицианки позировали Тициану.

— Спросим у нее, — оживился Бакст. — Сейчас же!

Без жеманства и ложной стыдливости Ида сразу дала согласие позировать Серову обнаженной. Жребий брошен — первая встреча в пустынной церкви Шатель. Через цветные витражи храм щедро наполнялся светом. Пространство обширно. О том, что Серов будет писать Иду, знали только близкие друзья. Для остальных — это тайна.

— А не холодно ли здесь? — поежился Серов.

Ида изнеженна, как мимоза, и ей (обнаженной!) в знобящей прохладе храма сидеть по нескольку часов в день... Вынесет ли это она? Проникнется ли капризная богачиха накалом его вдохновения? Не сбежит ли из храма? И еще один важный вопрос: выдержит ли Ида убийственно-пристальный взор художника, который проникает в натуру до самых потаенных глубин души и сердца? А взгляд у Серова был такой, что даже мать не выдерживала его и начинала биться в истерику: «Мне страшно... не смотри на меня, не смотри!»

Из чертежных досок художник соорудил ложе, подставив под него табуретки. Он закинул его желтым покрывалом. Впервые он (скромник!) задумался о собственном костюме и купил для сеансов блузу парижского пролетария. Этой неказистой одеждой Серов как бы незримо отделил себя от своей экзотичной и яркой натурщицы. «Ты — это ты, я — это я, и каждый — сам по себе!»

Кузина Серова вызвалась во время работы готовить для него обе-
ды на керосинке. Листок бумаги, упавший на пол, вызывал в храме
чудовищный резонанс, шум которого долго не утихал. А потому
Серов предупредил сестру:

— Ниночка, я тебя прошу: вари что хочешь или ничего не вари,
но старайся ничем не выдать своего присутствия. Пусть госпожа
Рубинштейн думает, что мы с нею в Шатель наедине...

Никто не извещал улицу о ее прибытии, но вот в храм донесся
гул восторженных голосов, захлопали ставни окон, из которых гля-
дели на красавицу парижане, сквозь прозрачные жалюзи в соседнем
монастыре подсматривали монахи.

— Вот она! — сказал Серов, и лицо его стало каменным...

Ида явилась с камеристкой, которая помогла ей раздеться. Серов
властным движением руки указал ей на ложе. Молча. И она взошла.
Тоже молча. Он хотел писать ее маслом, но испугался пошловатого
блеска и стал работать матовой темперой. Лишь перстни он под-
цветил маслом. В работе был всего один перерыв — Ида ездила в
Африку, где в поединке убила льва. Серов говорил:

— У нее самой рот, как у раненой львицы... Не верю, что она
стреляла из винчестера. К ней больше подходит лук Дианы!

В работу художника Ида никак не вмешивалась, и он писал ее
по велению сердца. Древность мира слилась с модерном. Тело за-
кручено в винт. Плоскость. Рискованный перехлест ног. Шарф под-
черкнуто их удлиняет. В фоне — почти не тронутый холст, и это еще
больше обнажает женщину. Нет даже стены. Ида в пространстве.
Она беззащитна. Она трогательна. И гуляет ветер...

Актриса позировала выносливо, неутомимо, покорно, как раба.
Она безропотно выдержала сеансы на сквозняках. Только однажды
возник неприятный случай. Храм Шатель пронзил звон кастрюльной

крышки. Серов вздрогнул. Ида тоже. Такой восторг, и вдруг — обыденная проза жизни...

— Вам готовят обед? — спросила Ида.

— Извините, — отвечал Серов. — Но у меня нет времени шляться по ресторанам... Чуть-чуть влево: не выбивайтесь из света!

Серов закончил портрет и вернулся на родину. В Москве мать живописца среди бумаг сына случайно обнаружила фотокопию с портрета Иды.

— Это еще что за урод? — воскликнула она.

Во взгляде Серова появился недобрый огонек:

— Поосторожней, мама! Поосторожней...

— Ида Рубинштейн? — догадалась мать. — И это красавица? Это о ней-то весь мир трубит? Неужели она поглотила лучшие твои творческие силы в Париже? Разве это красавица?

— Да, — отвечал Серов, — это настоящая красавица!

— И линия спины, по-твоему, тоже красива?

— Да, да, да! — разгневался сын. — Линия ее спины — красива!..

В 1911 году серовская «Ида» поехала на Всемирную выставку в Рим. Скандал, которого Серов ожидал, разразился сразу... Впрочем, единства мнений в критике не было. Проницательный Серов сразу заметил, что портрет Иды Рубинштейн, как правило, нравится женщинам... Серова поливали грязью. Про его «Иду» говорили так:

— Зеленая лягушка! Грязный скелет! Гримаса гения! Серов выдохся, он иссяк... теперь фокусничает! Это лишь плакат!

Серов всегда был беспощадным реалистом, но в портрете Иды он превзошел себя: еще несколько мазков, и портрет стал бы карикатурой. Серов остановил свой порыв над пропастью акта вдохновения как истинный гений! Дитя своего века, Серов и служил своему веку: над Идой Рубинштейн он пропел свою лебединую песню и оставил по-

томству образ современной женщины-интеллигентки в самом тонком и самом нервном ее проявлении... Из Рима портрет привезли в Москву, и здесь ругня продолжалась. Илья Репин назвал «Иду» кратко:

— Это гальванизированный труп!

— Это просто безобразие! — сказал Суриков...

Серов умер в разгаре травли. Он умер, и все разом переменилось. Публика хлынула в Русский музей, чтобы увидеть «Иду», которая стала входить в классику русской живописи. И постепенно сложилось последнее решающее мнение критики: «Теперь, когда глаза мастера навеки закрылись, мы в этом замечательном портрете Иды не видим ничего иного, как только вполне логическое выражение творческого порыва. Перед нами — классическое произведение русской живописи совершенно самобытного порядка...»

Именно так, как здесь сказано, сейчас и относится к портрету Иды Рубинштейн советское искусствоведение.

Ида Львовна не вернулась на родину. Она продолжала служить искусству за границей. Дягилев, Фокин, Стравинский, Ал. Бенуа — вот круг ее друзей. Абсолютно аполитичная, Ида вряд ли представляла себе значение перемен на родине. Но она никогда не принадлежала к антисоветскому лагерю.

Писатель Лев Любимов в 1928 году брал у Иды в Париже интервью. Она ошеломила его: все в ней было «от древнего искусства мимов». В тюрбане из нежного муслина, вся в струистых соболях, женщина сидела, разбросав вокруг розовые подушки.

— Напишите, — сказала она, — что я рада служением русскому искусству послужить и моей родине...

Как-то я взял в руки прекрасную книгу «Александр Бенуа размышляет». Раскрыл ее и прочитал фразу: «Бедная, честолюбивая,

щедрая, героически настроенная Ида! Где-то она теперь, что с нею?..»

Ида Рубинштейн всегда считала себя русской актрисой. Но гитлеровцы, оккупировав Францию, напомнили ей, что она не только актриса, но еще и... еврейка! В этот момент Ида проявила большое мужество. Она нашла способ переплыть Ла-Манш и в Англии стала работать в госпиталях, ухаживая за ранеными солдатами. Под грохот пролетающих «фау» она исполняла свою последнюю трагическую роль.

Уже не Саломея, давно не Клеопатра. Жизнь отшумела...

После войны Ида вернулась во Францию, но мир забыл про нее. Иные заботы, иные восторги. Ида Львовна перешла в католическую веру и последние десять лет жизни провела в «строгом уединении». Она умерла в 1960 году на юге Франции. Мир был оповещен об этой кончине скромной заметкой в одной парижской газете.

Женщиной, прошедшей по жизни раньше тебя, иногда можно увлечься, как будто она живет рядом. Я увлекся ею... Иду Рубинштейн я понимаю, как одну лишь страничку, скромным петитом, в грандиозной летописи русского искусства. Но при чтении серьезных книг нельзя пропускать никаких страниц. Прочтем же и эту!

А когда будете в Русском музее, посмотрите на Иду внимательнее. Пусть вас не смущает, что тело женщины того же цвета, что и фон, на котором оно написано. Серов всегда был в поисках путей к новому. Пусть слабый топчется на месте, а сильный — всегда рвется вперед.

Реквием последней любви

XIX век — трудный, величавый, мелочный и героический — был временем разочарований. Прошлое неясно, настоящее не радовало, а будущее принадлежало кому-то другим, только не им...

Ференц Лист говорил Гейне — почти с упреком:

— Разве один я плохо сижу в своем времени? Все мы сидим неудобно — между прошлым, о котором не желаем слышать, и будущим, которого знать не дано. Что удерживает нас в этом мерзком столетии? Лишь одни привязанности сердца...

Но даже связи из роз казались ему похожими на цепи, и в 1844 году Лист порвал свои долгие отношения с Марией д'Агу, от которой имел троих детей. Разочарованный, маэстро продолжал скитаться по свету, но эти скитания, где бы он ни появлялся, заканчивались триумфом композитора. Через два года после разрыва с мадам д'Агу он снова посетил Россию, где имел немало добрых и верных друзей. На этот раз он приехал в Киев.

Беллони, своему секретарю, он сказал:

— Милый Гаэтано, бывать в Петербурге я опасуюсь, и виною тому один случай. Однажды, концертируя в Зимнем дворце, я прервал игру, когда русский император вдруг начал разговор со своим адъютантом. Николай удивился — почему смолкла музыка? Я ответил: наверное, когда Ваше Величество изволит говорить, музыке следует молчать. В ответ на это Николай сказал: «Господин Лист, экипаж вам подан». Я поклонился и вышел. А в гостинице меня навестил петербургский полицмейстер со словами: «Через шесть часов вы должны покинуть столицу», что я и сделал... По этой причине я более не рискую посещать Санкт-Петербург.

Но зато Киев принял Листа восторженно, и в один из дней Гаэтано Беллони радостно сообщил:

— Маэстро! Вы не поверите: одна местная дама купила билет на ваш концерт, оплатив его ста рублями, тогда как билет продается за рубль... Это ли не предел вашего успеха?

Лист давал концерты в пользу сиротского дома в Киеве, и щедрость дамы он воспринял как заботу о детях.

— Но все-таки, — велел он секретарю, — вы, Гаэтано, узнайте имя этой женщины, чтобы я мог отблагодарить ее. Хотя бы выражением душевной признательности...

Вскоре Лист был извещен, что щедрая дама — из семьи местных помещиков Ивановских, зовут ее Каролиной Петровной, она замужем за князем Николаем Витгенштейном, сыном российского фельдмаршала, у нее есть маленькая дочь Мария — Манечка.

— Но, — доложил всезнающий Беллони, — с мужем она не живет, Витгенштейн лишь изредка предстает перед женой только затем, чтобы взять у нее денег на прожигание жизни в невской столице, после чего этот шалун снова и надолго исчезает.

— Обоюдная любовь? — горестно усмехнулся Лист.

Секретарь пожал плечами, досказав главное:

— Каролина очень богата, и, чтобы не видеть мужа, наверное, она попросту откупается от него большими суммами. Ее имение Воронины неподалеку от Киева, и она ждет вас, маэстро, желая насладиться личным общением с вами...

По времени это событие совпало с выступлением в печати Марии д'Агу, которая, укрывшись под мужским псевдонимом «Даниэль Стерн», выпустила роман под названием «Нелида». В своем романе оставленная композитором женщина представила себя благородной жертвой плембей и выскочки, в образе которого Лист, конечно, узнал самого себя. Это была м е с т ь — чисто женская, но вряд ли простительная. Лист тяжело переживал оскорбление, столь широко обнародованное, стараясь делать вид, что все герои романа — обычный вымысел автора.

— Карета подана! — неожиданно доложил Беллони.

— Какая карета? — удивился композитор.

— Светлейшей княгини Каролины Витгенштейн-Сайн-Берлебург... Или вам, маэстро, безразлично желание прекрасной и знатной женщины, давно тоскующей в своем имении?

— Е д е м, — решил Ференц Лист...

Приехав в Воронины, музыкант был встречен самой хозяйкой и ее маленькой дочкой. Девочка сразу же оказалась на руках Листа, сказав ему по-детски наивно:

— Я тебя очень люблю. Но тебя любит и моя хорошая мамочка. Я прошу, чтобы ты всегда был с нами... Ладно?

Лист слишком выразительно посмотрел на Каролину:

— Неужели устами ребенка глаголет истина?

— Возможно, что и так, — потупилась княгиня...

Нет, его душа — душа великого артиста — не была доступна омерзительному мщению, и как бы ни обидела его мадам д'Агу, Лист все-таки сообщил ей: «У меня — новость! В Киеве я совершенно случайно повстречал необычную, выдающуюся женщину». Он мог бы и добавить — несчастную и любившую его.

Каролина Петровна призналась ему:

— Я была еще девочкой, когда — из почтения к богатству моих родителей — на меня нацепили бант фрейлинского шифра, чтобы я состояла при дворе императрицы. Потом меня выдали за князя Витгенштейна, дабы совместить мое наследство со знатностью фамилии Витгенштейнов. Я устала жить в ожидании любовной гармонии, которой никогда не испытывала. Простите, но, услышав вашу музыку, я сразу поняла, что в вашем мире я могу обрести надежды. Вот мой дом, — сказала она, — и, как видите, он богат. Но я согласна обменять его на жалкую хижину, лишь бы вы были рядом. Если же вы станете творить, я хотела бы дышать тем воздухом, которым дышит ваш несравненный гений... Поцелуйте меня!

Лист еще не окончил турне по Южной России, с дороги в Одессу он писал Каролине с ответным чувством: «Я схожу с ума, как Ромео, если, конечно, это можно назвать сумасшествием. Сочинять для вас,

любить вас... я желаю сделать вашу жизнь красивой и новой. Я верю в любовь к вам и с вами, благодаря именно вам. Без любви мне уже не нужны ни небо, ни земля. Давайте же будем любить друг друга, моя единственная...»

Вообще-то странная судьба у этой женщины. Мать ее из шляхетского рода Подосских жила отдельно от мужа, и потому Каролина с детства была как бы раздвоена между родителями. При отце — прозябание в сельской глуши, где за стенами роскошной усадьбы царил крестьянский мир мазанок, топот ухарских гопаков возле трактира и вечерние «спиванья» девчат. При матери — вечные вояжи по Европе, где ее, как носительницу крови Ягеллонов, принимали в самом высшем обществе. Каролина была ученицей Дж. Россини, юная пани пела в венских дворцах канцлера Меттерниха, ее голос вызывал восхищение композиторов Карла Мейербера и Каспаро Спонтини, а знаменитый философ Шеллинг, встретив девушку в Карлсбаде, воспел ее в стихах, как ангела во плоти. Конечно, после такой жизни, что ей знатный, но пакостный муж, ползающий на коленях по паркетам, вымаливая у нее денежные подачки?..

Каролина встретила Листа, когда ее решение о разводе уже созрело. Композитор был очарован не прелестями женщины, а ее ученостью и бесподобною эрудицией, а эти качества, согласитесь, способны покорять нас в женщине — даже некрасивой. (Антон Рубинштейн, узнавший Каролину позднее, писал о ней: «Образованная до чертиков, до тошноты, так что разговор с нею был для меня просто пыткой».) Каролина влюбилась в Листа, еще не зная его, когда однажды в костеле она невольно рухнула на колени, навзрыд плачущая, услышав мощные аккорды его «Pater noster». Уверовав в гений композитора, она уверовала и в то, что лишь подле гения она сможет обрести свое женское счастье.

Каролина навестила Листа в Одессе, где он концертировал, и здесь они составили не план своего будущего, а скорее заговор против жизненных обстоятельств, что мешали их единению. Лист не хотел любовной интриги — он желал законного союза, ибо, меняя страну за страной, отель за отелем, композитор уже изнемог от толчеи светских приемов, где на него глазели, как на жирафа в зверинце, он устал от кутежей с поклонниками, от случайных романов со случайными женщинами.

— Я, как и вы, мечтаю о семейной раковине, в глубине которой, словно невидимая миру улитка, буду наслаждаться муками творчества и озарением ваших поощрительных взоров.

— Не забывайте, — предупредила его Каролина, — что князя Витгенштейны близки ко двору, а император вряд ли согласится, чтобы мой супруг, разведясь со мной, потерял доходы с моих же имений. Разъезды супругов — обычная история среди российских аристократов, но разводы... разводов не прощают!

Вовсе не нуждаясь в лишних овациях, Лист решил дать концерт в Елизаветграде, куда прибыл Николай I для осмотра войск. Среди офицеров гарнизона был тогда и молодой поэт А.А. Фет (Шеншин), который вспоминал, что город был переполнен приезжими: «Трудно описать этот энтузиазм, который он (Лист) производил и своею игрою, и своей артистической головой с белокурыми, зачесанными назад волосами». Но энтузиазм публики не вызывал отклика в душе Николая I, от решения которого зависела судьба Ференца с Каролиной. Однако именно здесь, на подмостках сцены Елизаветграда, композитор объявил публике, что он расстается с бездомной долей вечно кочующего бродяги-артиста.

— Раковина для творчества уже приготовлена, — сказал он, — осталось лишь внутри ее натянуть звучные струны...

Эти намерения Листа совпали с революцией в Европе, которая всполошила русского императора, и разводов между супругами он не терпел, полагая, что они являются «потрясением основ» его империи. Каролина в этой ситуации оказалась практичнее композитора, который пытался воздействовать на царя громовыми аккордами рояля, и она решила просто б е ж а т ь за Листом. Женщина потихоньку, не делая огласки, распродала свои имения, дабы обеспечить творчество Ференца Листа не своими вздохами и поцелуями при лунном сиянии, а простым хлебом насущным.

Умная женщина, она все предусмотрела:

— С этой революцией при дворе словно помешались и отныне не дают паспортов для выезда за границу. Но право на отдельное от мужа проживание я давно приготовила, задобрив кого надо, чтобы иметь при себе и заграничный паспорт...

Она тронулась в путь за Листом, однако на границе была задержана. Офицер кордона сказал, что сейчас никакие вояжи по Европе неуместны, заграничные паспорта приказано отбирать безо всяких разговоров. Каролина прижала к себе плачущую дочь.

— Но я ведь не еду в Германию, чтобы возводить баррикады «под липами» Берлина — мы едем к Листу, он ждет нас!

Офицер оказался благороднейшим человеком:

— Ах, мадам! — сказал он. — Под суд меня подводите, да что делать? Ради уважения к Листу... я вас не видел. А если вас поймают, скажите, что перешли границу с контрабандистами.

Лист ожидал ее в Веймаре. «Бегство» (иначе и не назовешь) Каролины из России стало сенсацией при дворе Николая I, который велел наказать дерзкую даму. Если ее брак с Витгенштейном был совершен по православным обрядам, рассудил царь, то потребуйте от нее, чтобы она вернула отцу свою дочь, дабы тот воспитывал ее

в православии. Когда это решение самодержца дошло до Веймара, Каролина еще крепче прижала к себе ребенка, и ответ ее царю сохранился дословно: «Я крепко держу дочь в своих объятиях, пусть только попробуют оторвать ее у меня!»

— Надобно проучить эту бабенку, — указал царь. — Срочно секвестировать в казну все ее имения...

Но женщина только посмеялась, говоря Листу:

— Вы, дружок, думайте о том, как положить на музыку дантовскую «Божественную комедию», а деньги у нас есть... Заранее распродав часть имений, я выручила за них миллион рублей. Считайте этот миллион своим будущим гонораром!..

Долгие 12 лет они провели в Веймаре. Наш музыковед Яков Мильштейн делает такой вывод: «Веймарский период обычно считают САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ в жизни Листа». Это мнение я допущу словами Ла-Мара, писавшего Марии Липсиус, которая была издателем писем Листа: «Лист создал в Веймаре новую эпоху — музыкальную, последовавшую за литературной в образе Гёте...» Моя рука невольно потянулась к немецкому альбому по истории Веймара: «Боже, как далеко уводят эти тихие улицы, какая печаль разлита и в старинных парках, где над чистыми водами прудов склонились мосты для свидания влюбленных... Здесь остались их тени!»

Т е н и людей, о которых я пишу вам...

Веймар в ту пору был немецкой провинцией, где владычила очень умная женщина — гроссгерцогиня Мария Павловна (дочь императора Павла I), любившая ходить в гости к кому бы то ни было, еще с порога извещающая хозяев, никак не ожидавших ее визита:

— Мне сразу чашку чая, а мой муж хочет мороженого...

О том, чтобы Лист поселился в Веймаре, она хлопотала давно, соблазняя его тишиной провинции и удобствами жизни:

— Если боитесь стеснять меня во дворце Бельведера, так я дарю вам загородный замок Альтенбург по другую сторону реки Инна, он красиво возвышается на холме... рядом с городом!

Несмотря на такие приманки, Веймар для Листа, уже вкусившего славы в Париже и Петербурге, все-таки оставался провинциальным захолустьем, где в захудалом театре не было даже приличного оркестра. Сама же веймарская публика казалась Листу «величайшим ничтожеством», ибо ее волновал приезд цирковых карликов или появление дамы с дрессированными собачками. Бог с ними, с этими фокусами, но даже при могучей протекции гроссгерцогини композитор никак не мог поладить с ее придворной бюрократией, имевшей столь непомерные амбиции, будто их Веймар — пуп всей земли...

Альтенбург имел три этажа, и такой домина, бесспорно, вполне достаточен для проживания одного человека, даже для такого великого, каким был Ференц Лист. За это спасибо Марии Павловне, а за то, что Альтенбург стал чудесною «раковиной» для творчества, — спасибо Каролине. Она сделала все, чтобы Листу было уютно, чтобы его окружали только красивые вещи, а над роялем, доставшимся Листу от Бетховена, всегда висела его любимая вещь — известная дюреровская гравюра «Меланхолия». В замке была и заветная комната, которую Каролина — год за годом — превращала в музей Листа, собирая здесь все, что напоминало о нем, а дочери сызмала внушала:

— Ты, Манечка, еще маленькая, но когда вырастешь и поймешь величие Листа, никогда не забудь этой комнаты, куда будут съезжаться люди со всего света, а все эти милые пустяки, окружающие нас, станут священными реликвиями...

Здесь требуется не меньше страницы, чтобы перечислить великих и невеликих, которые съезжались в Веймар, дабы почтить Листа

своим низжайшим вниманием. Манфредо Пинелли, называя их по именам, пришел к прискорбному выводу: «Просто жалость берет, что я не жил в ту эпоху, потому что нет ничего скучнее наших собраний поверхностных людей, все образование почерпающих исключительно из ежедневного чтения газет!»

Революция в Европе затухала. Михаил Бакунин уже сидел на цепи в тюрьме, а Лист однажды вечером представил Каролине измученного, нищенски одетого человека:

— Вы, милая, не пугайтесь! Это... Рихард Вагнер, бывший капельмейстер дрезденской оперы. За участие в революции он приговорен к смерти. Полиция сбилась с ног, разыскивая его по всей Европе, и потому он вынужден скрываться. Я думаю, — сказал Лист, — что наш прекрасный замок Альтенбург самое подходящее место для создателя баррикад, которые он сооружал в Дрездене заодно с Мишелем Бакуниным... спрячьте его!

— Спрятать? И даже от гроссгерцогини?

— Герцогиня музыканта не выдаст. Заодно, будьте любезны, уделите для Вагнера толику из своего миллиона в счет будущих гонораров моего беспокойного коллеги...

Мария Павловна знала, кто скрывается в Альтенбурге.

— На меня можете положиться, — говорила она Каролине. — Только бы не узнали об этом мои идиоты министры...

Вагнер еще не ведал своей судьбы (как не знал он и того, что станет зятем Ференца Листа). Веймар с населением в 12 тысяч жителей, возлюбивших пиво и фокусников, поражал его почти деревенской тишиной и пустынностью своих улочек.

— Как ты согласился прозябать тут? — спрашивал он.

— Но, — отвечал Лист, — родина меня отвергла, ибо я оказался негодным слугой для Габсбургов, а в Веймаре я нашел покой, и, на-

конец, не забывай, что местная гротсгерцогиня — родная сестра русского императора Николая I, а моя бедная Каролина все еще надеется, что она поможет ей в разводе с мужем, чтобы затем сочетаться браком со мною...

До самой амнистии Рихард Вагнер пользовался помощью от щедрот Каролины. Благодарный женщине, он прислал в Альтенбург партитуру своего «Лознгрин», не слишком-то уповая на то, что его музыка, всюду гонимая, как и ее создатель, огласит ветхие стены веймарского театра. Лист, садясь за рояль, сказал:

— Велите подать вам кофе, а мне сигар. Мы сообща с вами начнем разбирать этого музыкального Гулливера по косточкам...

Он молча играл. Каролина молча слушала. За ужином оба не проронили ни слова. Вернулись к роялю. Ночь прошла. Они еще не спали. Лакей подал утренний кофе. В час дня был легкий завтрак. Утомления они не чувствовали, и вот... вторая ночь.

— Невозможно! — воскликнул Лист, закончив играть.

— Что? — спросила его Каролина.

— Музыкой Вагнера я могу наповал убить Мейербера.

Каролина, подумав, рассудила слишком здраво:

— Но если Мейербер гений, то музыка Вагнера не убьет его. А если Мейербер не гений, то нам стоит пожертвовать музыкой Мейербера ради музыки другого гения — Вагнера.

— Ваша логика страшна, но, кажется, справедлива...

Так на сцене Веймара прозвучал «Лознгрин», а затем и «Тангейзер». Между тем годы шли быстро, подросли и дети Листа от мадам д'Агу, подросла и Мария, дочь Каролины. Девушка часто вспоминала свою гувернантку Марию Васильевну, оставшуюся в России. Но скоро выяснилось, что эта гувернантка — бывают же такие судьбы! — стала женою ее отца, а заодно и светлейшей княгиней. Этим

браком с гувернанткой бывший муж Каролины дал ей повод считать себя женщиной свободной, и отныне, казалось, никаких препятствий к союзу с Ференцем Листом не существовало. Был уже 1859 год, когда юная княжна Манечка Витгенштейн вышла замуж за князя Гогенлоэ, и Каролина грустно сказала Листу:

— А вам, мой друг, не кажется, что мы стареем?

Женщине было всего лишь 43 года, но после замужества дочери в ней что-то изменилось. Каролина вдруг начала сборы в далекий путь. Убеденная католичка, она пожелала навестить Рим, дабы Ватикан заверил ее расторжение брака с Витгенштейном, уже расторгнутого православной церковью. Лист был печален.

— Мы встретимся в Риме, — обещал он Каролине...

Жить без нее он уже не мог, да и не хотел. Каролина стала как бы половиной его души. Мало того, что Лист допустил женщину в самое свое сокровенное — в свое творчество, и это связало их еще больше, опутывая не розами Гименя, а нерасторжимыми цепями соавторства. Теперь музыковеды невольно разводят руками, недоумевая: как относиться к литературным сочинениям Листа, если почти все они написаны не Листом, а — Каролиной? Историки музыки не смеют оспаривать творческий союз влюбленных, хотя и признают, что многие статьи Листа «представляют плод литературной фантазии Каролины». Пусть даже так, читатель, но соавторство любящих сердец лишний раз доказывает, насколько доверял композитор Каролине...

Впрочем, не только он — ей доверяли многие! Иногда диву даешься, как эта женщина, утонченная аристократка, охотно помогала людям, далеким от ее убеждений и верований. Вспоминается Феличе Орсини, швырнувший бомбу в императора Наполеона III. Так вот, когда Орсини уже сидел в тюрьме, ожидая петли на шею,

революционерка Эмма Гервекс, готовившая ему побег из тюрьмы, взмолилась о денежной помощи именно перед Каролиной, и Каролина не отказала в просьбе, а после казни Орсини сама же и утешала эту революционерку.

О, люди прошлого! Нам иногда трудно понимать вас...

Каролина въехала в Рим, готовый принять и Листа, который в августе 1861 года прощался с Веймаром, чтобы последовать за Каролиной, и вот что он говорил ей потом:

— Ах, какие чувства испытал я, прощаясь с Альтенбургом! Каждая комната, каждая вещь и даже тропинки парка — все напоминало мне о вашей любви, без которой я не мог бы существовать. Со слезами оставил я дом, в котором много лет подряд вы неустанно творили добро, указывая мне на самое прекрасное...

Ференц Лист поспешил за нею. Но именно здесь, именно в Риме, открывалась новая полоса в жизни для нее и для него тоже, но — трагическая! Им, столь возвышенным в своей любви, теперь предстояло падать и падать — перед алтарями...

Сначала все складывалось хорошо. Кардинал Антонелли, статс-секретарь папы, сообщил Каролине, что Пий IX исполнен самых благих надежд на услуги Ференца Листа в сочинении церковной музыки, при этом папа желает лично видеть спутницу его жизни. По словам М. Пинелли, они оба, и папа и кардинал, «были поражены глубокими богословскими познаниями княгини».

Все, повторяю, складывалось хорошо. Алтарь в римской церкви Сан-Карло на улице Корсо был заранее украшен живыми цветами. Бракосочетание Листа с Каролиной было назначено на 22 октября 1861 года, но... «молодых» внезапно навестил Антонелли:

— Союз ваших сердец откладывается, а его святейшество просит вернуть акты о разводе с князем Витгенштейном.

— В чем дело? — удивились и Лист, и Каролина.

Дело было опять-таки в происках Витгенштейнов. Что им, супостатам, понадобилось теперь от Каролины — это я, читатель, не знаю, но кардинал Антонелли почему-то упорно настаивал, чтобы Каролина дала церковную присягу в том, будто бы она стала женою князя Витгенштейна только по принуждению.

— Тогда все образуется, — убеждал ее Антонелли.

Но в женщине заговорила женская гордость.

— Подобной присягой я позориться не стану, — ответила Каролина. — Когда я шла под венец с Витгенштейном, я не была похожа на деревенскую дурочку и потому отказываюсь раздавать лживые присяги перед престолом Всевышнего. А что касается актов о моем разводе, то я вам их никогда не верну... Чувствую, будь я в России, и там сразу же стала бы госпожою Лист!

Казалось бы, после такого скандала Лист с Каролиной должны были велеть закладывать лошадей, чтобы вернуться в Веймар. Но случилось невероятное — такое, что не в силах объяснить даже те люди, которые лично знали Листа и Каролину. Манфредо Пинелли писал по этому поводу: «Каролина не только решила посвятить остаток жизни... церкви, которая помешала ее земному счастью, но убедила и Листа пойти по пути того же непоколебимого решения, то есть облачиться в рясу монаха и сочинять только духовную музыку...»

Церковь не соединяла их — церковь их разлучала!

Лист и раньше, еще в Веймаре, разочарованный в людях, зачастую впадал в жестокую меланхолию, от которой его не спасали философские принципы Сен-Симона, которым он следовал смолоду, а теперь... Что теперь ему, ступившему на порог старости? 25 апреля 1865 года Ференц Лист был «рукоположен» в сан аббата.

После веймарского Альтенбурга он обрел новое пристанище — близ церкви дель-Розарио, где его навещали папа Пий IX и римская аристократия, алчная до удовольствий. Вряд ли композитор был доволен новым своим положением, тем более что папа не слишком-то верил в искренность его религиозных порывов. Лист не читал даже «Оссерваторе Романо», главную газету Римской курии, говоря, что он ерундою не занимается, а газету Ватикана пусть читают лакеи. Наконец, Лист в присутствии самого Пия IX мог подойти к роялю, чтобы сыграть и пропеть для его святейшества бесшабашную танталеллу Россини:

И с брюнеткой. и с блондинкой
Стану, папа, танцевать...

Иное дело — Каролина! С детства воспитанная в фанатизме глубокого верования, она сомнений не ведала, и в своем выборе между гением и церковью предпочла все-таки церковь. Вот ей папа верил, наградив женщину небывалым отличием — ярко-красной мантией кардинала, что, по-русски говоря, наводило тень на плетень. В самом деле, Пий IX сделал из нее «князя церкви», и эта метаморфоза вызвала некоторое смятение, ибо такого в Ватикане еще не бывало. А я, автор, иногда думаю — не желал ли папа таким странным нарядом отблагодарить женщину за то, что она ввела в лоно церкви великого композитора?

Каролина снимала квартиру на углу Виа-Бабуино и Алиберт, где круглый год была окружена живыми цветами, а в комнатах ее было душно, словно в теплицах. Гости поневоле склоняли головы, и даже не потому, что впервые видели женщину в мантии кардинала, — нет, над ними нависали тесные ряды золоченых клеток с воркующими

голубями, которых регулярно поставлял для Каролины сам папа Пий IX, ибо голуби считались олицетворением Святого Духа. В таких вот условиях Каролина Петровна — уже не женщина, но и не мужчина! — мучительно и настойчиво, почти с сатанинским долго-терпением, писала книги. Книги, книги, книги...

Где они, эти книги? Кто читал их? Н и к т о!

Но страшно не это — другое: ОНА ЕЩЕ ЛЮБИЛА.

Не станем швырять в нее жесточайших упреков, а лучше осмелимся рассудить, что она сделала? Впрочем, не мы, читатель, а сама Каролина сама рассудила за нас. Настал судный день, когда она словно прозрела, и вот тут на нее обрушились такие адские муки раскаяния, что женщину можно пожалеть. Руками, скрюченными от подагры, она, уже некрасивая старуха, раскачивала над собой клетки с перепуганными голубями и при этом болезненно стонала... Стонала от угрызений совести:

— Боже праведный, что я сделала? Почему не отвратил ты меня от позора жалких намерений? И кто простит меня, грешную?..

Каролина вдруг поняла, что Ференц Лист принадлежит не ей и даже не церкви — нет, он достояние всего мира, а она, именно она, любящая, принесла его в жертву своим религиозным иллюзиям. Пусть об этом поведает сама Каролина, писавшая Листу через два года после того, как он стал аббатом.

«Клянусь, — заклинала она, — ежечасно думаю, что не сделала ничего хорошего, когда способствовала тому, чтобы Вы вступили в духовное сословие. Больше того, не пожертвовала ли я Вами, потому что в Риме, где ценили мои теологические фантазии, я чувствовала себя хорошо. И не было ли в этом чего-то такого, что с моей стороны напоминало Иуду Искарриота! Господь наградил

Вас особым гением. Этот гений я поняла, я любила его, и я хвалила себя за свое желание жить ради славы Вашего гения. Что делаю я теперь, когда побуждаю Вас быть прикованным к Риму?..»

Она раскаялась в содеянном — да! Но прежде нее раскаялся и сам Ференц Лист. Нет страшнее трагедии, нежели раскаяние...

Правда, она еще питала надежду, что папа сделает Листа управляющим Сикстинской капеллой и Лист раскроет свой гений в обновлении канонов церковной музыки. Но в 1869 году композитор порвал с Ватиканом, разругавшись с папой. Тогда же его дочь Козима оставила дирижера фон Бюлова, став женою Рихарда Вагнера, который принял ее вместе с детьми. Пий IX заподозрил Листа в том, что именно он способствовал этому разрыву, чтобы Козима, сделавшись женою Вагнера, перешла в лютеранскую веру.

Прощай, Рим! Листа снова закружило в том самом вихре, в каком прошла его буйная младость. На перепутье дорог ему как-то встретилась русская писательница Толиверова.

— Вы из той страны, — сказал Лист женщине, — которую я страстно люблю и в которой надеюсь побывать. В вашей дивной стране я пережил так много счастливых дней, которые, увы, более уже никогда не вернуться...

Толиверова запомнила облик композитора и карету его, в которой даже ночью горел фонарь, а перед Листом была устроена портативная клавиатура, по которой бегали его длинные костлявые пальцы, что-то наигрывая. Лист снова оказался в Веймаре, но теперь к его услугам не три этажа в замке Альтенбурга, а лишь две комнатенки в скромном доме герцогского садовника. Отсюда он часто навещал Байрейт, где

проживали Вагнер с Козимой; Листа в Веймаре окружали русские поклонники и ученицы, он верно и толково судил о тогдашней русской литературе, вкус к которой ему привила Каролина. Лист еще помнил Михаила Глинку, а теперь он принимал в Веймаре наследников его музыкальной славы. Из многих русских композиторов, навещавших его, Лист недолюбливал только Серова, которому от души советовал:

— Знаете, как следует поступить с вашей оперой «Юдифь»? Точно так же, как поступила сама Юдифь с Олоферном...

А жизнь клонилась к закату, и великий маэстро, словно желая вернуть себе молодость, опять скитался по свету, и всюду — триумф за триумфом! Его преследовали молодые красавицы, влюбленные в него. Лист не отказывался от вина, пьянившего его. Наконец-то, уже на исходе жизни, композитор примирился с родиной: венгерская столица поднесла ему старую мадьярскую саблю, украшенную драгоценными камнями. Чего желать еще и какой ветер наполнит его дряхлевшие паруса? Острым ударом в сердце отозвалась смерть Рихарда Вагнера, над его могилой в Байрейте осталась рыдать Козима. Летом 1884 года Ференц Лист последний раз дирижировал концертом в опустылевшем Веймаре...

Осталось сказать своим пенатам последнее «прощай»!

Из своей римской обители Каролина умоляла его в письмах, чтобы он подумал о своем здоровье. Да, у Листа стали опухать ноги, его мучили частые рвоты, он уже едва видел, полуослепший, почти не мог читать и писать. В таком состоянии композитор навестил Рим, где его давно устала ждать Каролина. Лист бывал перед нею тих и покорен, как ребенок, много нашаливший, а теперь приникший к матери, чтобы она простила его.

Этот безбожный аббат, еще вчера вникавший в программы Бакунина и Лассалья, он, которому так близки революционные идеалы Виктора

Гюго, теперь выслушивал от Каролины ее мистические откровения, которые старуха черпала из времен давно ушедших. Композитор терпеливо дремал в кресле, утомленный нескончаемым чтением древних буддийских молитв, из вежливости он кивал головою, когда Каролина насыщала его стихами китайских мудрецов, о которых забыли даже сами китайцы. Тихо ворковали голуби в клетках, и тихо дремал маэстро в келье старухи, окружившей себя его портретами, его бюстами.

— ...и не надо пить коньяк, — услышал он над собой, пробуждаясь, — не надо выкуривать более шести сигар в один день.

— Да, да, да, — очнулся Лист, — вы правы, моя дорогая. Нам давно пора подумать о возрасте и не делать глупостей...

Казалось, все уже кончено. Но как бы еще хотелось повторить всю жизнь сначала! Каролина тщетно пыталась удержать его в Риме, но Лист, как всегда, спешил — его ждут концерты, ему необходимо быть в Байрейте на свадьбе внучки.

— Наконец, — произносит он на прощание, — я хотел бы снова побывать в Петербурге, где так много друзей, любящих меня... Ближятся и вагнеровские торжества в Байрейте! Что скажет бедная Козима, если я пренебрегу ими?

Его соседями в купе поезда оказались молодожены. Наверное, он мешал им целоваться. Да, они конечно же очень любят друг друга. Их глаза сияют, им жарко от страсти, они даже просят, чтобы он позволил им открыть окно.

— Ради бога, дети мои, — согласился Лист. — Делайте что хотите и... будьте счастливы! Всегда, всегда... всю жизнь.

Из открытого окна пришла смерть, и она свалила его в жесточайшей простуде: Лист с большим трудом добрался до праздничного Байрейта. Вагнеровские громы и молнии потрясали театр, но он уже плохо их слышал. Начинался бред:

— Петербург... я обещал... Тристан, меня ждет Козима... передайте Каролине, что я... Кто же поймет меня?

Когда его не стало, он был понят всем миром!

...Каролина спешила за ним, но только не в бессмертие, как Лист, а в мрачное небытие, уготованное ей на великом погосте безымянного человечества. Можно лишь удивляться этой женщине: чем больше угасали ее силы, тем большие нагрузки она выдерживала, с каждым днем увеличивая количество написанных страниц. Она торопилась завершить свою последнюю книгу — книгу, состоявшую из ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ томов. По-прежнему ворковали над нею голуби, присланные из Ватикана, по-прежнему увядали яркие цветы, которыми Каролина украшала бюсты человека, одарившего ее своей яркой любовью. Наконец двадцать четвертый том был ею завершен. Каролина выпустила голубей на волю:

— Летите! Теперь мне можно и умереть...

Это случилось в феврале 1887 года, а 12 марта того же года ее уже отпевали в церкви Санта-Мария дель-Пополо. Согласно завещанию Каролины над нею, мертвой, яростно прогремел грандиозный реквием Листа, мелодию которого она так любила при жизни. Этот же реквием сопровождал ее до кладбища, что притихло возле базилики Святого Петра, — там все и закончилось.

Нет, не все! После Каролины осталась жить дочь Мария, в браке княгиня Гогенлоэ. Вот именно она и стала хранительницей музея Листа в Веймаре, где когда-то были счастливы Лист и ее мать, этот музей основавшая. Теперь и она, печальная старуха, доживала свой век возле давно угасшего очага не всегда понятной любви. Княгиня Мария Николаевна Гогенлоэ — русская «Манечка»! — скончалась в 1918 году, когда Германию потрясали бури военных поражений и революций. В том, что музей останется для мира, она свято верила. Но старуха не могла знать,

что вскоре близ тишайшего Веймара — именно там, где звучала музыка Листа и где бродила загробная тень ее матери, — там скоро возникнет порождение новой эпохи — концлагерь уничтожения Бухенвальд!

Не знала, не знала, не знала... как не знали все.

Но зато она знала другое: надо сохранить для людей светлую память о большой и несказанной любви!

Вот, кажется, и все, что я хотел сказать вам.

Букет для Аделины

Бельгийский Люттих, древний и богатый, как всегда, процветал в довольстве, однако не все его жители были счастливы. Среди неудачников горожане знали и почтальона Пако, отца пятерых детей, который осел в Люттихе недавно, а раньше плавал матросом, нажив на морях столь жестокий ревматизм, что теперь он, бедняга, с трудом одолевал крутые лестницы.

Под вечер, когда его сумка пустела, Пако забредал в дешевый кабачок, чтобы выпить на сон грядущий стаканчик рома.

— Морская привычка, — говорил Пако, — без такого стаканчика подушка для матроса тверже уличного булыжника...

Пако был человеком бедным, а потому о втором стаканчике даже не помышлял, вечно озабоченный семейными нуждами. Но однажды хозяин кабачка сам поднес ему вторую порцию рома.

— Мне жалко тебя, Пако, — сказал он. — Видно, жизнь крепко тебя изломала... Где же ты потерял свое здоровье?

Пако ответил, что молодые силы он растратил на пассажирской линии от Гамбурга до Нью-Йорка.

— Мое здоровье подкосила одна история, — загадочно пояснил Пако. — История с одной девушкой...

— Ты что? Влюбился в нее? — захохотал кабатчик.

— Да на кой черт мне эта любовь! — грубо ответил Пако. — Просто в одну из ночей наш пареходишко посреди Атлантики сделал хороший оверкиль — кверху днищем. Сначала нас было трое, кто уцелел. Два матроса и юная пассажирка. Нас долго болтало на волнах, и мы, конечно, держали эту девку изо всех сил. Потом мой приятель не выдержал и сказал: «Прощай, Пако, я больше не могу, лучше уж так!» — нырнул и обратно не вынырнул. Я остался на волнах один... я и эта вот девушка.

— Красивая? — любопытствовал кабатчик.

— Мне было тогда не до этого. Какая она там, красивая или уродливая, но она ведь была живая душа... разве не так?

— Ну и что же было дальше?

— Дальше она, уже полудохлая, вдруг расцеловала меня мокрыми губами и заплакала: «Пако, ты бы знал, как я хочу жить...» Я и сам от жизни никогда не отказывался. Но что делать, господи, если кругом одни только волны, светят нам звезды и — никого...

— И что же ты сделал?

— Я тоже поцеловал ее и поклялся всеми святыми и всеми чертями: «Пока я живой, я тебя не оставлю. Держись сколько можешь и не визжи от страха, иначе по морде получишь...»

— Так, так... интересно. А что же было потом? — спросил кабатчик, щедро наполняя для Пако третий стаканчик.

— Спасибо! — кивнул почтальон и жадно выпил. — Дальше было как в хорошей сказке. Мимо проходил бродяга-парусник, нас заметили, вытащили на палубу, обогрели и доставили в Америку. Я помню только, что звали девушку Аделиной, в Америке ее ждали, она там собиралась петь в театре... вот и все!

...Был уже поздний час, когда в двери его лачуги кто-то постучал с улицы. Пако был ошеломлен, увидев богато разряженную женщину,

которая появилась в сопровождении франтоватого господина; еще с порога она закричала:

— Пако! Наконец-то я отыскала тебя... Боже, как я счастлива видеть тебя. Узнаешь ли ты меня, Пако?

С этими словами женщина опустилась на колени, часто-часто целуя натруженные руки матроса и почтальона. Пако заскорузлой ладонью нежно погладил ее по голове, как ласкают ребенка.

— Встань, — велел он женщине. — Конечно, такие ночи, какая выпала нам однажды в пустынном океане, на другой день не забываются... Я тоже рад видеть тебя, Аделина, только скажи, кто этот прекрасный невежа, что, входя в мой дом, не догадался даже снять свою роскошную шляпу?

— Ах, извините, — разволновался тот, с поклоном представившись. — Честь имею — маркиз Деко, муж несравненной, непрекраснейшей, гениальнейшей и божественной Аделины, которой в восхищении рукоплещут столицы всего мира.

Аделина поднялась с колен, почти любовно обозревая лицо своего спасителя, на котором множество глубоких морщин казались резко выдавлены, как штрихи на старинной гравюре.

— Пако, — сказала она. — Чувствую, ты до сих пор не знаешь, к о г о ты спас в ту кошмарную ночь... Я не просто Аделина, каких немало на белом свете, — нет, я Аделина Патти... я пою во всех театрах мира, и маркиз Деко несколько не преувеличил восторгов публики.

Потом, оглядев убогое жилище почтальона, Аделина велела маркизу оставить на столе Пако все, что имелось в его бумажнике.

Маркиз, не прекословя, выложил двести франков:

— Простите, но у меня нет больше в наличии.

— Это не все! — заявила Патти. — Я сделаю много больше. Не забывай, Пако, что я твоя пожизненная должница. Сейчас я направ-

ляюсь петь в Петербург, где меня давно ждут с нетерпением, а из русской столицы вернусь обратно в Люттих и дам здесь концерт, чтобы весь сбор с этого концерта подарить тебе. Ты, Пако, не оставил меня в волнах страшного океана, а я никогда не оставляю тебя в этой страшной и трудной жизни...

Они ушли. Дети давно спали. Из потемок соседней комнаты появилась жена Пако и спросонья сразу потянулась к деньгам, но Пако живо перехватил ее алчную руку.

— Нет, — сказал он. — У этой девки Аделины добрая душа, а на каждое добро надо отвечать добром...

Слава о голосе Патти дошла и до наших дней. В том, что она была гениальной певицей, сомневаться не следует. Патти была способна не только подражать трелям соловья или соревноваться со звучанием оркестрового кларнета — Патти могла заставить людей даже плакать. Вот вам пример: однажды, будучи в Буэнос-Айресе, где никто не понимал по-английски, она так проникновенно исполнила британскую балладу «Home, sweet home» («Дом, мой дом»), что слушатели заливались слезами, даже не понимая смысла этой английской песни.

Волею судьбы она, дочь бродячих итальянских певцов, родилась в Мадриде, а вышла на подмостки сцены и впервые запела от великой нужды, ибо в тот день у родителей Патти не было денег для ужина. Да, она осознавала силу своего таланта, и слава не миновала ее. Но в своих мемуарах Патти скромнейше упоминает лишь два своих подлинных триумфа.

Первый — мадридский! В королевском театре пылкие испанцы выпустили из клеток стаи канареек, которые все и слетелись к ней, поющей, — очевидно, прилетевшие на звуки ее голоса. Второй

триумф — московский! Неожиданно Патти коснулась платьем сценической лампы, и платье вспыхнуло на ней, словно факел. Пламя быстро погасило, она даже не ощутила боли ожогов, но москвичи мигом расхватили — на память о ней! — обгорелые хлопья ее опаленной одежды, плававшие в воздухе...

Аделина Патти не раз бывала в России, покорив русских с бесподобной легкостью, выдержав трудное соперничество даже с блистательной шведкой Христиной Нильсон, хотя в русском обществе меломанов произошел внушительный раскол — на «паттистов» и «нильсонистов». Музыкальным партнером Патти не раз бывал прославленный тенор Эрнесто Николини, в дуэтах с которым, ведя любовную партию, Патти томно закрывала глаза, словно пьющая голубица... Петр Ильич Чайковский писал, что «г-жа Патти по всей справедливости занимает уже много лет сряду первое место между всеми вокальными знаменитостями... Это одна из тех немногих избранниц, которые могут быть причислены к ряду первоклассных из первоклассных артистократических личностей».

На этот раз Аделина Патти ехала в Россию, которая начинала войну на Балканах, — ради освобождения братьев-болгар. Маркиза Деко певица — на правых жены — сразу предупредила, что доходы со своих концертов она превратит в дарственную лепту ради помощи раненым русским воинам.

— Русские всегда были так добры и так щедры ко мне, что мне стыдно обвешиваться новыми бриллиантами, если вместо бриллиантов я могу хоть чем-то облегчить людские страдания...

Русские давно восхищались Патти, и в мемуарах счастливых, хорошо знавших ее, певица осталась очень милой брюнеткой небольшого роста, у Патти была маленькая головка, фигура грациозно-подвижная, со всеми людьми она ладила, бывая деликатной даже со

швейцарами. Но, конечно, Патти была уже достаточно избалована славою, отчего с нею не так-то легко было управиться, если она вдруг начинала капризничать...

Санкт-Петербург стыл в жесточайших морозах. Патти ждали с великим нетерпением, к ее услугам сразу появились роскошные шубы и оренбургские платки, даже санки с лихачом-извозчиком. Ее навестил в гостинице русский друг Иван Мельников, обладатель мощного баритона, он перецеловал красавице руки, заранее предупредил, что теперь в русской опере новый дирижер:

— Молодой, но очень толковый — чех Направник, прежний-то дирижер, Константин Лядов, состарился, болеет, оркестр подпустил, а Направник его подтянул, и ныне говорят, что его русский оркестр лучше оркестра итальянской оперы.

— Мне бояться его придирик?

— Бойся! Направник — это сущий деспот, и не дай бог сфальшивить — сразу заметит... сразу разоблачит!

Своей камер-фрау Патти указала покупать свежие розы, которыми собиралась украсить пояс атласного платья.

— Мне это нужно... для партии Джильды в бенефисе «Риголетто», — сказала она смущенно. — Тем более что в дуэте со мною будет петь волшебный Эрнесто Николини...

Но прежде Патти предстояло участие в концерте Русского патриотического общества, которое устраивало такие концерты ежегодно в зале Дворянского собрания: программа благотворительного концерта была составлена из фрагментов русских опер, среди русских певцов одна лишь Аделина Патти должна петь по-итальянски из своего привычного репертуара. Маркиз Деко, счастливый обладатель Патти, кажется, волновался более самой Патти, спрашивая, что она собирается петь.

— Ах, не все ли тебе равно! — капризно отвечала Аделина. — Возьму хотя бы вальс «Еcho» из музыки Флориана Эккерта...

Накануне концерта камер-фрау доложила о приходе Направника. Это удивило балованную примадонну:

— Интересно, что ему надобно? Впрочем, проси...

Эдуард Францевич Направник приехал в Россию, чтобы руководить частным оркестром князя Николая Юсупова, но своим талантом и трудолюбием достиг таких высот, что стал главным дирижером Мариинского театра. Представ перед Патти, он сказал:

— Простите, мадам, но как дирижер я вынужден потревожить вас ради репетиции пьесы, избранной вами для исполнения. Не беспокойтесь. Я не утомлю вас своим вниманием.

Патти решила польстить ему:

— Но с таким талантливым капельмейстером, каким являетесь вы, господин Направник, я и не думала о репетициях. Тем более что эккертовское «Еcho» не блистает сложностями.

Направник учтиво, но весьма настойчиво убеждал ее слегка пройти пьесу хотя бы под музыку рояля.

— Ах, стоит мне утруждать вас игрою на рояле? Я согласна дать вам ноты со своими пометками.

— Но я нуждаюсь, мадам, в знании оттенков вашего голоса, чтобы вести за вами все звучание оркестра. Наконец, я прошу вас хотя бы промурлыкать мне...

Патти «намурлыкала» ему, а Эдуард Францевич, сидя за роялем, делал в нотах отметки, чтобы иметь представление об ее манере исполнения. После чего, поклоном отблагодарив певицу, он сказал, что свои отметки в нотах перенесет в оркестровую партитуру, дабы голос Патти хорошо сомкнулся с величием оркестрового звучания. Прощаясь, Направник сказал:

— Завтра у нас последняя репетиция, и мне с моим дурным пальцем никак не заменить вашего присутствия.

Конечно, Патти великолепно отсутствовала, и Направнику пришлось самому — вместо Патти! — подпевать оркестру, хотя в остальном дирижер остался доволен всеми артистами.

— Итак, дамы и господа, — заключил он, — начало концерта, как всегда, в час дня, прошу не опаздывать, ибо нас почтут своим посещением и особы правящей династии...

Актеры, как водится, собрались заранее, оркестр уже настраивал инструменты, зал наполнялся публикой, и певец Мельников, вспоминая тот день, писал: «Блестящие мундиры военных, эффектные дамские туалеты, множество красивых элегантных дам — все это весело жужжало, как пчелы в улье». Среди актеров, заложив руки за спину, похаживал молчаливый и внутренне сосредоточенный Направник, которого Мельников спросил:

— Эдуард Францевич, вы, я чувствую, чем-то озабочены?

— Меня беспокоит, что главная репетиция прошла без Патти, а теперь я боюсь, как бы эта прима не опоздала...

Патти не опоздала, и камер-фрау сразу же начала раскутывать «заморское диво» от множества теплых одежд, а Патти при этом весело приветствовала русских коллег, говорила о чудесной прелести езды по снегу в санях, перед громадным трюмо она придирчиво оглядывала себя, всю сверкающую бриллиантами. Час концерта близился, оркестранты уже притихли, закончив настраивать инструменты. Направник решительно натянул перчатку на правую руку. Аделине Патти он сказал по-немецки:

— Я несколько не сомневаюсь в вашем голосе. Но петь после вас другим артистам боязно, посему программу концерта составили таким образом, чтобы вы заключали каждое отделение концерта последним номером — перед антрактом...

Концерт начался бравурною увертюрой из глинковской оперы «Руслан и Людмила»; на сцене менялись певцы и певицы, но в зале росло нетерпение — когда же появится Патти? Направник сам вывел ее на сцену, а потом, заняв свое место возле пюпитра, терпеливо выжидал, когда умолкнет буря аплодисментов; овации затянулись, и даже в оркестре, не смея аплодировать, скрипачи постукивали смычками по бокам скрипок. Патти ловким движением ноги откинула шлейф платья и шагнула вперед, давая знак дирижеру, что она готова.

Направник взмахнул палочкой, овации разом смолкли, и Патти запела, легко переливая свой голос из одной тональности в другую, показывая всем, что ей это дается так же легко, словно переливание воды из одного сосуда в другой. Русские певцы и певицы стояли за колоннами, невидимые публике из зала, но сами-то хорошо видевшие и Патти, и Направника.

В д р у г ..

Эти проклятые «вдруг» иногда бывают сильнее человека!

— У них что-то случилось, — прошептал Мельников.

Да, из-за колонн виделось то, что было сокрыто от публики. Эдуард Францевич низко нагнулся к первым рядам оркестра, что-то горячо нашептывая им, музыканты невольно подались к нему — в вопросительных позах, чуть не отрываясь от стульев, а сам Направник лихорадочно перелистывал партитуру.

Оркестр еще играл, Патти еще разливала свой чарующий голос, не боясь в руладах соперничать с игрой кларнетиста, а певец Мельников... Мельников только пожимал плечами...

— Что за чертовщина там происходит?

Но тут Направник, воздев над собой обе руки, довольно четко произнес магическое «эн», и невнятная суматоха в оркестре мигом

исчезла, музыканты с каким-то незримым воодушевлением разом встрепенулись, и вскоре Патти с небывалым успехом закончила свой номер. Публика взревела от восторга, к ногам певицы сыпались цветы и футляры с дарственными подношениями, она кланялась, кланялась, кланялась, а Направник, бросив палочку на пюпитр, вдруг — круто и резко — удалился в артистическую, развевая фалдами своего концертного фрака.

— Антракт! — объявили для публики...

Оркестранты, сложив инструменты на стулья, выходили в коридор передохнуть от напряжения, почти небывалого, и вид у них был такой усталый, будто Направник заставил их таскать тяжелые мешки. Мельников спросил:

— Друзья, что у вас там стряслось сегодня?

Музыканты молчали, еще не в силах опомниться после пережитого, потом заговорили все разом и возбужденно:

— Черт бы побрал эту Патти...

— Вот что значит манкировать репетициями...

— Патти сегодня трагически ошиблась...

— Она пропустила сразу тридцать тактов...

— Да, да, и сразу перешла на ходу к финалу...

Направник не пожелал разговаривать, отрывисто сказав Мельникову, что Патти начала петь сразу со второй половины пьесы, которая отделялась от первой промежуточной ригурнелью.

— Впрочем, спросите у нее сами... что она скажет?

Иван Александрович застал Патти в слезах.

— Боже, что я наделала? — страдала она. — Не могу объяснить, что со мною случилось? Направник с п а с меня, сделав почти невозможное, и я теперь готова валяться у него в ногах, чтобы вымолить прощение.

— Успокойся, дорогая Аделина, не надо плакать.

— Я виновата, — продолжала Патти. — Ведь любой иной дирижер, будь он на месте Направника, сразу бы остановил оркестр, чтобы разоблачить перед публикой ошибку певицы, а он... он так благороден... так удивительно талантлив! Мне стыдно.

Она разрыдалась. Направник действительно свершил в этот день чудо из чудес. Заметив промах Патти, он в считанные моменты направил игру оркестра совсем в ином направлении — и так ловко проделал это, что публика даже не заметила ошибки великой певицы. Мельников сказал ей:

— Но, милая Аделина, если хорош Направник, то подумай, каков же и сам русский оркестр, чтобы сразу понять дирижера, и даже без слов, только с намеков его и жестов, тут же послушно следовать за тобою совсем в другой тональности.

— Я знаю, — ответила Патти, — что виновата, хотя в публике так и не распознали моей вины, а Направник избавил меня от всеобщего позора... вместо скандала я получила фурор!

Тут вошел режиссер и поклонился Патти:

— Мадам, вы слышите, что творится в зале? Публика неистовствует, требуя от вас повторения. Направник у пульта.

Патти вытерла слезы и осмотрела себя в трюмо.

— Как я выгляжу, Жан? — спросила она Мельникова.

— Превосходно... как всегда.

— Спасибо. Я готова. Я — и д у.

Бедный Пако, намаявшись за день, вечерами по-прежнему навещал кабачок, чтобы пропустить стаканчик рому.

— Пей сколько влезет, — убеждал его кабатчик. — Ведь ты сам рассказывал, что великая Аделина Патти оставила тебе двести франков. А при таких деньгах можно пить бочками.

— Эти франки так и лежат, не тронутые мною, — отвечал Пако. — Плохой бы я был мужчина, если бы пропивал деньги, подаренные женщиной. Я, конечно, себя не обижу, но выпью только после свидания с нею в нашем Люттихе, а сейчас Аделина поет в Санкт-Петербурге. Видит бог, я не только разношу газеты подписчикам, иногда их и читаю. Так вот, в газетах пишут, что моя Аделина в русской столице всех посводила с ума.

— Только ты сам не сходи с ума, — посоветовал кабатчик...

Да, на этот раз Патти задержалась в Петербурге, и настал волшебный день ее бенефиса в партии Джильды, для чего верная камерфрау украсила ее пояс свежими тепличными розами. Кажется, в этот вечер — вечер ее триумфа в опере «Риголетто» — она превзошла самую себя, и голос женщины чарующе вплетался в голос Эрнесто Николлини, ее партнера. Когда же петербуржцы, покинув театр, разъезжались по домам и ресторанам, продолжая восхищаться ее красотой и голосом, как раз в это время — всю ночь и до самого утра — в номере гостиницы Патти переживала одну из самых трагических сцен своей жизни. Слава богу, на этот раз она не тонула в океане, а, напротив, высоко парила в новом, возвышающем ее чувстве.

Маркиз Деко почти всю ночь простоял на коленях:

— Кто он, мой соперник? Назови мне его.

— Догадаться не так уж трудно, — отвечала Патти. — Обоюдный дуэт с Николлини завершился обоюдным признанием...

В эту ночь она выдержала все — угрозы, мольбы, слезы, но ни в чем не уступила, и эта ночь завершилась разводом. Столичные меломаны никак не думали, что Патти в образе Джильды останется для них приятным воспоминанием прошлого. Петербург наполнился слухами о коварной измене Патти своему мужу, и, чтобы избежать постыдных кривотолков, Аделина Патти поспешила оставить русскую столицу.

— Н а в с е г д а ! — объявила она Мельникову уже на вокзале. — Нет смысла гастролировать в Петербурге, если обо мне здесь стали судить не как о хорошей певице, а лишь как о гадкой женщине, бросившей знатного мужа ради красивого любовника. Сейчас я еду петь в бельгийском Люттихе. Прощай, Жан, мне очень больно оттого, что больше мы никогда не увидимся...

Наконец-то она появилась в Люттихе, встревоженном ее обещанием дать концерт. Каково же было удивление Патти, когда она известилась, что бедный Пако, сильно нуждаясь, так и не истратил двести франков, оставленных ему.

— В чем дело? — недоумевала она...

Оказывается, ее спаситель Пако всегда оставался благородным человеком. В самый канун приезда певицы в Люттих почтальон объявил конкурс среди цветоводов Люттиха, и эти двести франков он обещал выдать тому из них, кто составит для Аделины Патти самый нарядный, самый благоуханный букет.

Патти дала концерт жителям Люттиха с огромным успехом, и, когда ей поднесли этот драгоценный букет, она вышла из-за кулис на сцену с Пако, объявив публике:

— Вот человек, которому никто и никогда не аплодировал. Между тем не будь на свете Пако, не было бы на свете и меня, а вы никогда бы не услышали моего голоса...

И тогда в зале театра встали все, аплодируя на этот раз уже не ей, единственной и неповторимой, а матросу и почтальону Пако, который корявым пальцем вытер одинокую скупую слезу. А потом он сказал, поклонившись публике столь неумело, словно нагнулся, чтобы поднять с панели жалкую монету:

— Конечно, я не знал, кого я тогда удерживал на волнах за волосы, чтобы она не захлебнулась. Но все-таки я удержал ее и, как вы-

яснилось теперь, удержал не напрасно. А сейчас она, моя славная и добрая Аделина, держит меня за руку как своего лучшего друга...

— Поцелуйте его! — потребовали из зала.

Раздался чарующий звон серебряных колокольчиков.

Это вдруг стала смеяться Аделина Патти.

— Мы уже целовались, — отвечала она. — Но давно... еще тогда, в волнах океана, и наши поцелуи видели только волны, тучи и звезды. Но я охотно исполню желание публики и поцелую Пако сейчас, чтобы мой поцелуй видели все вы!

И все-таки Аделина Патти — после очень долгого перерыва — снова появилась на берегах Невы в 1904 году.

И снова пела. Тогда была Русско-японская война.

Как и в предыдущий свой приезд, певица все доходы от своих концертов отдала на пользу русским воинам.

Аделина Патти умерла в конце 1919 года, и незадолго до смерти, не потеряв ни женской красоты, ни волшебного голоса, она писала в автобиографии: «Не думайте, что я принимала доброту, оказываемую мне целым светом, и многие почести, которых меня удостаивали, за вполне заслуженные мною. Я знаю, что это лишь дань за ниспосланное мне Богом дарование, а я только использовала этот свой Божий дар...»

«Радуйся, благодатная...»

Конечно, гетеры древнего мира, как и японские гейши, имеют право на то, чтобы занять подобающее место в истории человеческих отношений; женщины подобного рода пленяли не только пластикой соблазнительных танцев, но славились и большим умом, способные вести беседу на любую тему. Совсем иное дело — уличные

девки, от которых никто не ждал знания философии Платона или прозрачных стихов об увядающих в садах хризантемах, поэтому я думаю — может ли обычная шлюха внести свой богатый вклад в историю общества? Тут я сомневаюсь. Но, продолжая сомневаться, я все-таки полагаю, что страницы проституции не следует перелистывать с брезгливой поспешностью. Задержим свое внимание хотя бы на одной из картин нашего прошлого, дабы высветить карьеру женщины, имевшей самую «древнюю» профессию мира...

Добавлю. Человечество издревле пыталось разрешить сложную проблему: как отличить порядочную женщину от продажной, тем более что все женщины носят одинаковые одежды, а на лбу у них не написано — кто она такая? Когда-то проститутки заставляли носить золотой аксельбант над левой грудью, как бы точно указывая — ее сердце принадлежит всем. Потом в войсках испанского герцога Альба, который любил вешать солдат, подобный же аксельбант — в виде веревочной петли — носили его подчиненные, выражая этим свое презрение к смерти через повешение. А в жуткий период Тридцатилетней войны адъютанты Валленштейна носили аксельбанты у левого плеча, как и проститутки, но вкладывали в него совсем иной смысл: мое сердце принадлежит только моему полководцу.

Конечно, все это давно позабытое. А наша героиня никогда аксельбантов не нашивала. Зато она столь яростно вцепилась в аксельбанты одного известного придурка, почему и заняла соответствующее место в российской истории. Приступим!

Все началось с того, что, перебирая однажды остроты князя А.С. Меншикова, я встретил такое его выражение:

«Люблю графа Адлерберга, только мне его мина не нравится!»
Если под «миной» подразумевать лицо человека, то соль меншиков-

ского остроумия пропадает. Но Меншиков имел в виду его фаворитку М и н у Буркову, и я с удивлением обнаружил, что герценовский «Колокол» часто вызванивал ее имя.

Впрочем, эту женщину современники награждали разными именами: Вильгельмина или Эмилия, Карловна или Ивановна по отчеству, а знаменитый Бисмарк, тогдашний посол в Петербурге, докладывал о ней в Берлин, даже величая ее на прусский лад — «фон Бурггоф»... Кто же она такая?

История самая банальная. Жил да был в Москве честный труженик из немцев — некий столяр Иоганн (или Карл) Гут (или Гуде, как пишут иные). Были у него три дочери — Мина, Юлия и Александра. Бедный работяга помышлял устроить их счастье, но у сестриц были свои планы, далекие от отцовских. Повзрослев, они сообразили, что их цветущая внешность — это такой ходовой товар, на который всегда найдется покупатель, и они смолоду готовились торговать своими прелестями. Были тридцатые годы прошлого столетия — время диктатуры Николая I, и тогда в Москве главной бандершей числилась Мария Бредау, а в Петербурге «живым товаром» заведовала Анна Михайловна Гейдер.

Александра Гут была старшей, и она первая из сестер сделала карьеру на этом поприще: в нее влюбился гвардейский полковник В.И. Родзянко, который и увез «сокровище» в свое полтавское имение. Но, прощаясь с сестрами, Александра Гут напутствовала их:

— Бойтесь попасть в кабалу Марии Бредау, лучше уж сразу поезжайте в столицу. А теперь простимся! Уж я своего добьюсь, уведу под венец своего полковника и стану помещицей...

В 1834 году Мина и Юлия решили ехать на берега Невы, чтобы искать свое «счастье». Железной дороги тогда еще не было, между Москвой и Петербургом сновали частные и казенные дилижансы.

Попутчиком девиц оказался некий Михаил Семенович Морголи, наживший немалое состояние от винных откупов на юге России. Приглядевшись к девицам и догадавшись, ради чего они едут, он рассудил трезво и дельно:

— Я согласен содержать не одну из вас, а сразу двух, и прошу согласиться на мои условия, ибо не прогадаете...

Сестры согласились. Морголи снял для них в Петербурге скромную квартиру на углу Большой Подьяческой, содержал их очень скромно, но сестры были вполне довольны своей судьбой, говоря меж собой примерно в таком духе:

— О, майн гот! Сыты, одеты, дрова есть, дворник наколет и сам принесет... чего еще желать нам?

Были они в ту пору почти бедными, платья носили самые скромнейшие, а внешностью никак не выделялись, похожие на захудалых мещаночек или на дочерей затрушенных чиновников — без приданого. Целый год продолжалось мирное сожительство сестер с богатым, но скуповатым откупщиком, который сестриц не баловал. Но однажды Морголи явился не один, а привел с собой лысого господина с разноцветными глазами (один был серый, другой — голубой).

— Рекомендую вам Абрама Григорьевича Юровского, — сказал Морголи. — К сожалению, мои пташечки, дела отзывают меня в Одессу, а вас я оставляю на попечение своего друга...

Юровскому было уже за пятьдесят, и сделка была оформлена как надо, нисколько не возмущив Мину с Юлией, смущенных не цинизмом сделки, а лишь разноцветными глазами своего нового покровителя. Юровский нажил себе состояние тоже на откупах, торгуя вином сразу в нескольких уездах Малороссии, и он, человек уже семейный, оказался гораздо щедрее своего предшественника. Под его личной опекой сестры приделались получше, стали нанимать

извозчика, катаясь по городу, но вот подачек Абрама Григорьевича не поделили.

Начались меж ними скандалы, весьма далекие от вопросов ревности, зато в перебранках сестер часто поминались рубли, полтинники и червонцы. Юровский рассудил здраво:

— Я человек семейный, уже в годах, внуков имею, я к вам хожу не затем, чтобы мирить... Мне вас двоих и не надобно! Вот и решайте сами, кто останется на Подьяческой, а кому... марш на улицу!

Победила Юлия, оставшаяся на хлебах Юровского, а бедная Мина, связав пожитки в узел, оказалась на улице. Обращаться к услугам Анны Михайловны Гейдер она боялась, рассчитывая сыскать себе нового покровителя. Но где найдешь его, если столица переполнена шикарными этуалями, разъезжающими на собственных рысаках под бархатными попонами... Дотащила она свой узел до кварталов Песков — это был район на отшибе столицы, где проживали скудные мещане, ремесленники и торгошники всякой мелочью, едва сводящие концы с концами, у солдатской вдовы сняла комнатенку и стала глазеть в окно на редких прохожих. Авось кто-нибудь из них и подмигнет ей?..

Так она проживала в лютой тоске и одиночестве, озлобленная на сестру, до тех самых пор, пока Пески не объял грандиозный пожар. Императоры в ту пору не ленились выезжать на пожары, дабы лично указывать способы их тушения. Николай I прискакал на Пески вместе со своим генерал-адъютантом — графом Владимиром Федоровичем Адлербергом. Пески горели страшно, огонь почти сразу объял захламленные жилища бедняков, лошадь под императором нервно переступала копытами среди узлов всякого жалкого барахла, ветоши, самоваров и горок посуды... Николай I вдруг заметил, как из горящего дома выбежала босая девица в одной сорочке и приникла к фонарному столбу, плача. Император указал Адлербергу:

— Несчастливая. Укрыть. Одеть. Накормить. Обеспечить.

Слово сказано — к исполнению. Адлерберг скинул с себя шинель и накрыл ею плечи девицы, рыдающей от страха, ободрил ее. Полицмейстер Кокошкин был тут как тут:

— Куда, граф, прикажете отвезти несчастную?

— Вези ко мне домой, а там разберемся...

Коротко об этом Адлерберге: интимный приятель императора, он служил начальником почтового департамента, при нем впервые в России на конвертах появились почтовые марки; в чине генерала от инфантерии Адлерберг позже стал министром императорского двора, заведывая им и в царствование Александра II; женат был на Марии Васильевне Нелидовой... О чем думала эта Мария Васильевна, когда полиция доставила ей на дом «погорелую» нищенку, — этого я не знаю. Но думаю, что без семейного скандала не обошлось, ибо граф Адлерберг вскоре нанял для Миночки особняк со всей обстановкой, а в дверях поставил сердитого швейцара...

М.С. Морголи как-то посетил столицу по своим делам, не отказав себе в удовольствии навестить квартиру сестриц на Подьяческой улице. Юлия встретила его безо всякой радости.

— А где же Миночка? — спросил у нее Морголи.

— Чтоб ее черти съели! — отвечала девица с досадой. — Теперь ее за хвост не поймаешь — высоко залетела...

Михаил Семенович все-таки отыскал Мину в особняке, где швейцар в ливрее, украшенной золотыми брандесбурами, величаво задержал его в дверях, внутрь дома не пропуская:

— Как прикажите доложить барыне?

— Доложи, братец, что ее старый друг Морголи, ничего от нее не желая, хотел бы только поздравить ее с успехом.

Швейцар удалился, а вернувшись, принес ответ Мины:

— Госпожа велела сказать, что незнакомых людей она не принимает и просит более ее не беспокоить...

Вот те на! Это заело Морголи, и он, сунув в лапу швейцару полтинник, стал убеждать его, чтобы снова поднялся к своей госпоже, ибо нехорошо забывать старых друзей, тем более... Но тут откуда-то с антресолей раздался голос самой Мины:

— Степа, что ты там размусоливаешь? Кулак есть, так и гони этого проходимца — в три шеи!

Конечно, светский Петербург давно привык ко всяким «шалостям» самого императора, потихоньку сплетничал об амурных делишках его придворных. Дошли слухи до Николая I, что та бедная девица с Песков слишком хорошо устроилась в своей жизни, и он сказал Адлербергу, чтобы связь с нею он «узаконил»:

— Эту чухонскую Аспизию, дружок, надо выдать замуж, и чтобы я больше не слышал о том, как ты ее балуешь...

Слово сказано — к исполнению, и стал граф Адлерберг подыскивать «жениха» для своей ненаглядной Миночки, чтобы она, душечка, осталась довольна — не женихом, конечно, а непременно им, его сиятельством. Жених требовался гадкий, противный, отвратительный, нищий, задрипаный, хорошо бы еще и сопливый... Такого найти всегда легче! В почтовом департаменте давно прозябал жалкий и лысенький старикашка, уже не чаявший, как ему дотянуть до пенсии, чтобы в отставке чайком баловаться да завести в утеху себе канаречку.

Был он срочно изъят из канцелярии и предстал перед грозные очи графа — напудренного, нафабренного, нарумяненного.

— Назовись, — потребовал он, — ибо всех насекомых я в своем департаменте помнить не могу... да и не собираюсь помнить.

— Бурков Тимофей Иваныч... честь имею! А состою в чине коллежском при разбирании депеш по алфавиту адресатов.

Словно выбравшись из гоголевской «Шинели», Бурков взирал на Адлерберга преданно, помаргивая слезившимися глазками.

— Коллежский, а ты в статские не желаешь ли выползти?

Одинокая слеза сорвалась с дряблой щеки Буркова:

— Шутить изволите, ваше сиятельство? Да кто ж меня, при алфавите состоящего, в статские советники произведет?

— Я произведу, — отвечал Адлерберг, — но с одним неизменным условием. Служить в новом чине ты, братец, в Сибирь отправишься, но прежде обязан жениться...

— Свят-свят-свят! — перекрестился Тимофей Иванович. — Да какая ж дура на меня польстится? Эвон сколько здоровенных бугаев по коридорам департамента так и сигают, так и мечутся вверх-вниз по лестницам, так и скачут... только не ржут еще! Почему ж вы меня в женихи выбрали? Да и хороша ли невестушка?

— Во... такая! — изобразил Адлерберг нечто эфемерное в воздухе, словно обрисовывая соблазнительные женские контуры. — А коли откажешься от такой прелести, — заключил граф, — так я тебя, сморчок, задвину в чин титулярный... навеешься!

До самой свадьбы Бурков даже не видел своей невесты, а когда рассмотрел ее в церкви, стоя под венцом с нею рядышком, тут ему захотелось и большего — не только чина. Воспылал он надеждой показать прыть молодецкую, только бы поскорей церемония кончилась. За свадебным столом, устроенным за счет Владимира Федоровича, чиновники почтового департамента орали «горько», Бурков целовал свою избранную через воздушную кисею флера, готовясь свершить супружеский подвиг...

Но тут граф Адлерберг спросил своего адъютанта:

— Любезный, а что карета? Подана ли?

— Так точно. Лошади заранее овсом откормлены.

— Тогда пора уж нам кончать эту свадьбу...

Тут адъютант выманил жениха на улицу и затолкал его в карету. Бурков начал рыпаться, говоря, что главной обязанности по отношению к невесте еще не исполнил, на что адъютант его сиятельства мудрейше отвечивал:

— Ты, дурак, чин получил?

— Премного благодарны... не ожидал!

— А если в чин попал, так какого еще рожна тебе надобно?

— Должен же я, как христианин, перед супругою долг исполнить.

Ведь даже не облобызал нареченную.

— Меня облобыжай — и катись!

— Куда, господи?

— Как и договорились... в Сибирь!

И покатил несчастный управлять тасжной почтой, выписывая газеты волкам и медведям, а Мина Ивановна, получившая от него фамилию, осталась процветать на берегах Невы в немалом чине статской советницы. Вдруг нагрянула в Петербург ее сестра Александра Ивановна Родзянко, сообщившая, что полковник умер, оставив ей в наследство 230 крепостных душ:

— Теперь бы мне жить да радоваться! Уже и кавалера нашла из Одессы, он меня всячески ублажает, так родственники эти проклятые отсуживают у меня имение, доказывая в Сенате, что брак мой с Родзянко был фиктивный.

— Надеюсь, таким он и был? — рассмеялась Мина.

— Конечно, — не стала скрывать сестра, — без взятки священнику не обошлось, чтобы он повенчал нас тайком, а я тогда целую неделю поила своего полковника, чтобы, представ перед святым аналоем, он ничего не сообщал... Помоги, Миночка!

Через графа Адлерберга было воздействовано на решение Сената, и новая помещица, став законной дворянкой, вступила в свои права, а священник был отдан в солдаты. Но в скором времени Владимир Федорович стал замечать, что его Миночка чем-то недовольна, не поет, бедная, не веселится.

— Душечка, что с тобой? Не таись. Скажи...

Долго не отвечала Мина, заставляя мучиться Адлерберга в догадках о причине ее недовольства, и наконец однажды она капризно надула губки и каблучком притопнула:

— Не хочу быть только статской советницей, а хочу быть действительной статской советницей, чтобы муж обрел чин генеральский, превосходительный...

Маленькое объяснение: по Табели о рангах, заведенной на Руси еще со времен Петра I, гражданский чин действительного статского советника соответствовал военным чином генерал-майора или же контр-адмирала. Тут бы и графу Адлербергу ногою топнуть да оттаскать Миночку за волосы по коврам и паркетам, чтобы она, стерва, не больно-то зарывалась, но... ах, годы, годы, годы! Где же ему, стареющему бонвивану, сыскать такое небесное создание?

— Как ты скажешь, так и будет! — бодро отвечал старик. — Я переведу Тимошку Буркова в какой-либо городишко, чтобы повысить его... прости, тебя, в чине! Только не гляди такой букой! Одари поцелуем любящего тебя Вольдемара...

Поцелуй состоялся. Но возникло крохотное препятствие.

Однажды граф Адлерберг навестил Мину — мрачный.

— Опять ты поскандалил со своей женой?

— Хуже! — отвечал министр императорского дворца. — Оказывается, этот муженек твой, Тимофей Иванович, давно изволил скончаться, и ты, будь любезна, впредь писаться вдовою лишь статского советника...

Вот когда началась буря в стакане воды!

— Не любишь ты меня... разлюбил, — билась в истерике Мина Ивановна, вдруг овдовевшая, — не желаешь меня, бедную, осчастливить... О-о, зачем я, глупая, отдала тебе самое драгоценное, что свято сберегала в годы девические? Что мне с того, если этот Бурков оочурился? Неужто ты не можешь произвести покойника в следующий чин... хотя бы за выслугу лет!

Адлерберг думал, думал, думал... потом сказал:

— За выслугу лет повышать покойника в чине как-то неудобно. Попробуем его, дохленького, повесить за отличие по службе. А потом я объявлю в департаменте о преждевременной кончине его в благоухании святости...

Так и сделал! Стала теперь Мина Ивановна сиживать в ложе театра как важная генеральша, сверху вниз поглядывая в ряды партерные (хорошо бы плюнуть туда!), а лакеи, подавая ей роскошную шубу, величали ее «ваше превосходительство». Дальше — больше. До того вскорости обнаглела, что всякий стыд потеряла.

— Графиня Адлерберг, — представлялась она. — Впрочем, сиятельством можете не титуловать меня, называйте просто — превосходительством! Терпеть не могу церемониться...

Князь Петр Долгорукий, хорошо знавший «тайны мадридского двора», сообщал читателям, что Адлерберг имел от казны более 70 000 рублей серебром в год, владел казенными квартирами, на дровишки не тратился, подолгу жил в царских дворцах, катался в придворных экипажах, а вот жена его, благодаря заботам Мины Ивановны, видела от своего мужа только... кукиш: «Почти все деньги идут на Мину Ивановну. Зато г-жа Буркова и живет великолепно: мебель у нее из дворца, экипажи и лошади с придворной конюшни, цветы из придворных оранжерей, придворные повара готовят ей на стол из придворных запасов...»

Конечно, Герцен должен был вмешаться!

Иначе к чему же звенел «Колокол»?..

Герцен называл Мину чудовишной клоакой, но обложенной бриллиантами, звон «Колокола» оповещал россиян, что от настроения «чухонской Аспазии» зависит получение даже ангажементов в итальянскую оперу; через Мину можно раздобыть звание не только камер-юнкера, но и камергера. Герцен ненавидел семью Адлербергов, полагая, что министр двора должен бы получать не тысячи, а лишь два рубля — как ночной сторож, ибо большего и не заслуживает. Не забыл Герцен и той истории с покупкой дома на Гороховой улице, который так понравился фаворитке. Для этого Адлерберг сократил жалованье своим чиновникам. Мина открыла салон на Гороховой улице, а графа Владимира Федоровича прозвали «Сократом Федоровичем» — за сокращение им чиновного жалованья. Летом 1862 года Герцен сообщил «приятное известие о прибытии в Висбаден графини Мины Ивановны, где она проигрывает большие деньги и платит золотом русского чекана. Откуда у нее такая куча русского золота? На паспорт (для выезда за границу) теперь не выдают даже 60 имперялов. Как вы думаете, господа, откуда?..» Вопрос был задан Герценом неспроста, зато ответ был простой: чтобы услужить своей Миночке, граф Адлерберг уже запустил лапу в казенные золотоприиски на Горном Алтае...

Мина Ивановна рано стала болеть: часто выезжала в Германию на лечебные воды, и, будучи за границей, она откровенно величала себя графиней Адлерберг, а белье ее было обшито метками с графскими вензелями. Не пойму: почему Мина каталась в Висбаден или Шлагенбад со множеством тяжелых жаровных утюгов, какими пользовались тогда в деревнях наши прабабушки, раскаляя их печными углями?.. Русские люди, званием попроще, встречаясь с Бурковой

на европейских курортах, с нею не сближались, и общество Мины состояло из немцев и французов.

Зато вот петербургская знать низкопоклонствовать перед нею никогда не гнушалась. Мина через подставных лиц открыла на Невском свой магазин «Парижские моды», и, чтобы угодить ей, следовало прежде купить перчатки, заплатив за них от ста до пятисот рублей. После этого можно было попасть в список гостей на ее «четверги». Конечно, с открытием салона на Гороховой улице Мина Буркова не стала мадам Рекамье, а салон ее более напоминал явочную квартиру заговорщиков, кому жаждалось чинов, орденов и званий. В этих случаях Мина действовала через графа Адлерберга, чересчур смело вторгаясь в придворную, театральную и финансовую жизнь столицы.

Бисмарк тогда был прусским послом в Петербурге.

— Эта дама, — говорил он своим подчиненным, — вынуждает меня пронаблюдать за нею. Мне, конечно, бывать на Гороховой неудобно, но прошу атташе посольства не пренебрегать ее «четвергами». Я должен быть в курсе дел этой дамы...

«Только внешняя политика России, — докладывал он в Берлин, — настолько монополизирована князем Горчаковым, что осталась недоступна влияниям Мины Адлерберг. Будь это иначе, и я был бы поставлен в необходимость спрашивать у Берлина ассигнование мне значительных секретных фондов...» Как раз тогда на грани разорения оказался банкирский дом Брандта, но... банкротство почему-то не состоялось, а Брандт ожил.

— Вы узнали, в чем дело? — спросил Бисмарк у атташе.

— Да, господин посол, русская казна вовремя ссудила дому Брандта шестьсот тысяч рублей.

— Ага, понятно! — хохотал Бисмарк. — Но я желал бы знать, во что это обошлось банкиру Брандту на Гороховой улице?

— По слухам, Мина имела от него двадцать тысяч...

Наверное, из графа Адлерберга мог бы получиться хороший пример — он достиг небывалого совершенства в накладывании на себя всяческих помад, кремов и красок, даже не понимая того, как он смешон с ярким румянцем на щеках, с пунцовыми губами. Мина Буркова никак не могла пользоваться косметикой с таким же бесстыдством, и потому в свои сорок лет она выглядела подле цветущего графа вялою замухрышкой.

Фаворитка уже привыкла ко всеобщему поклонению, и Мина даже не удивилась, когда в Москве ей поднесли кубок.

Близорукая, но очков не носившая, она прищурилась:

— Не могу прочесть, что здесь написано?

— «Радуйся, благодатная...» — прочел для нее московский губернатор князь Щербаков, униженно опустившись на колени.

...«Сократ Федорович» Адлерберг, никогда не болея, прожил очень долгую жизнь, а его «благодатная», — по словам доктора Пеликана, — «сошла в могилу во цвете лет», но в каком году — об этом источники умалчивают.

В стороне от большого света

В стороне от большого света, в захудалой деревушке Буйского уезда Костромской губернии, летом 1883 года умирала одинокая и очень странная женщина. Подле нее находилась близкая ей кухня, и если верить ее описанию болезни, то больная страдала от приступов стенокардии (или «грудной жабы», как говорят в народе)...

Однажды, после очередного приступа, кухня услышала от умиравшей трогательную просьбу:

— Заклинаю тебя всеми святыми — не пиши мою биографию и никому не рассказывай о моей постылой жизни. Сколько раз так

бывало, что умрет человек, а потом на его могилу навалят с три короба всякого мусора, каждое слово переиначат на свой лад, каждую строчку вывернут наизнанку. Не было славы при жизни — не нуждаюсь и в славе посмертной!

Она умерла, ее тихо отпели в деревенской церкви, под кровлей которой ворковали голуби, и не было лавровых венков, как не было и рыданий толпы — наследница нарвала цветов, посаженных еще по весне покойной, и этими цветами украсила скромные похороны. Через шесть лет кузина и наследница, разведенная с мужем, сильно нуждаясь, предложила стихи покойной в «Ярославские губернские ведомости». Газета опубликовала их в одном из номеров 1889 года. Наследница поэтессы, зная, что существует такое понятие, как «гонорар», явилась в редакцию, просила денег — хоть малую толику.

— Гонорар? — весело удивились в редакции. — Это не мы вам, а вы сами должны заплатить нам за то, что мы тиснули этот старомодный х л а м.

— Странно, — сказала наследница, прослезившись. — Стихи моей покойной кузины хвалил Белинский, о них горячо отзывался Добролюбов, а вы называете их «хламом».

— Времена изменились, да и читатель пошел иной, — отвечали ей. — Что могло нравиться вашим белинским и добролюбовым, то совсем не нужно современному поколению.

Сжалившись, ей все-таки выплатили три рубля, и женщина, униженно благодаря, покинула редакцию, невольно припомнив строчки, посмертно опубликованные в официозе губернии:

Любовь усыплю я, пока еще время холодной рукою
Не вырвало чувство из трепетной груди,
Любовь усыплю я, покуда безумно своей клеветой
Святыню ея не унизили люди...

Валериан Никандрович, капитан-лейтенант флота в отставке, не оставил даже царапины на скрижалях боевой славы флота российского, зато, когда поселился в своем Субботне под Ярославлем, он все переделал на флотский лад, сочтя усадьбу кораблем, пребывающим в долгом плавании. Звенела рында, чтобы вставали, по свистку старосты-боцмана дружно шагало стадо коров на выпас, а лакеи в доме Жадовского уже не ходили, как нормальные люди, а носились опретью, словно матросы при срочном аврале, когда от постановки или уборки паруса зависит жизнь всего ошалевшего от ужаса экипажа...

В отличие от мужа, его жена, Александра Ивановна, взятая Жадовским из культурной семьи Готовцевых, была женщиной тихой, сентиментальной: в 1821 году она вышла из Смольного института, оставив свое имя на «золотой доске» ученых девиц. Тайком от грозного повелителя она сочиняла печальные стихи, в его присутствии она боялась коснуться клавиш фортепиано. Беременность юной женщины совпала как раз с распоряжением мужа переделать в доме лестницы, которые показались ему чересчур пологими:

— Эдак-то мои лакеи совсем разлентяятся, а мне для их скорости необходима крутизна корабельных штормтрапов...

Старый лакей, несущий господам самовар, пострадал первым, а потом упала и разбилась жена на середине беременности. 29 июня 1824 года она родила девочку, и домашние боялись показать ее матери. Ребенок оказался уродом. У него совсем не было левой руки, но возле плеча из тела торчали два пальца, а на правой руке — только три пальца, один из которых не двигался. Но мать оставалась матерью, и, несчастная в браке, она расцеловала свою малютку:

— Пусть она станет гордою Юлией и будет она моим утешением в этой жизни, которой я, увы, не радуюсь...

Юлия Жадовская еще от пеленок удивляла домашних ловкостью, с какой обходилась одной ручкой. Однажды ей захотелось варенья, и мать в ужасе увидела, что ее дитя подносит блюдце, схваченное пальцами... ноги. Отец соизволил заметить, что ему совсем не нужна дочь, которая пользуется ногами, словно обезьяна, и покорная мать наказала нянькам, чтобы Юленьку обували. Но даже в сапожках девочка помогала ногами своей единственной руке (и это свойство Жадовская сохранила на всю жизнь, особенно в женских рукоделиях).

Через год мадам Жадовская родила сына Павла* и, *не вынеся тирании* мужа, тихо угасла в скоротечной чахотке.

Из дома родителей девочку увезли в деревню Панфилово, где проживала ее бабушка Анастасия Петровна Готовцева; в усадьбе была старая библиотека дедушки, и Юленька впервые узнала о мудрецах «дяде Вольтере» и «дяде Руссо». Двенадцать лет Юлия провела в тишайшем Панфилове, зная только крестьян и дворню, книги и бабушку, а бабушка не мешала ей читать что вздумается, любившая, чтобы внучка развлекала ее чтением романов. Анастасия Петровна сознательно не учила ее писать, чтобы не травмировать девочку, у которой из кисти руки торчали три пальца. Но внучка сама освоила письмо, чем и порадовала бабушку:

— Умница ты моя! На-ка, поешь еще малинки...

В 1838 году Панфилово навестила Анна Ивановна Корнилова, дочь бабушки и сестра Юлиной матери. Это была шумливая высокообразованная женщина, печатавшая свои стихи и статьи в «Сыне Отечества», в «Московском Телеграфе» и прочих солидных журналах. Племяннице она заявила:

* П.В. Ж а д о в с к и й (1825–1891) — впоследствии кадровый офицер армии, поэт и военный писатель, автор многих книг, одна из которых была конфискована цензурой.

— Дикарка! Прежде чтения на сон грядущий Экарстгаузена тебе надобно осилить французский язык... Забираю тебя!

Тетка увезла ее с собою, и за один год Юлия прекрасно освоила не только французский, но познала историю, географию, математику. В доме Корниловых ей было очень хорошо, а девочка уже стала казаться девушкой. Если бы не это врожденное уродство, наверное, Юлию Жадовскую сочли бы даже очень и очень миленькой: она развилась в грациозную шатенку, лицо имело нежный оттенок, голос был сочный, волнующий, а когда перед зеркалом ей расчесывали волосы, они касались ее колен... В доме Корниловых как-то уже расходились по спальням, когда со двора вдруг брякнул колокольчик...

— Господи, кого там несет на ночь глядя?..

Это нагрянул отец, вдруг припомнивший, что его дочери скоро 16 лет и уже пора ей «браться за ум». Неукоснительным тоном, каким на кораблях командуют «Пошел все вантам!» — он сказал, что обо всем уже договорился... Где? — Конечно, в Костроме. — С кем? — Ясно, что с мадам Прево де Люмьен, что содержит пансион для благородных девиц.

— Во-во! — сразу вмешалась тетка Корнилова. — Там, в этом пансионе, свора дураков учит будущих дурех и...

— Я своих приказов не отменяю. Собирайся!

Звякнул колокольчик, кони понеслись, и вот она, Кострома, и вот он, пансион мадам Прево де Люмьен, где полно дур и дураков. Здесь Юлия Жадовская испугалась, что и сама станет «дурочкой». Рутинка в пансионе царил страшная, девицы, что сидели второй год, не знали даже того, что Юлия узнала еще от бабушки, а педагоги не могли понять, почему девица Жадовская знает больше их, педагогов. Честнее всех оказался словесник Акатов, который заявил, что учить Юлию — только портить. Но именно здесь, в пансионе, Юлия Жадовская сочинила стихотворение... первое. Самое первое!

Читатель и друг, задержим внимание на пропавшем в беславии Александре Федоровиче Акатове — это необходимо.

Сей Акатов, не ко сну будь помянут, был ярко выраженным графоманом с манией величия, присущей всем ему подобным. Он верил, что его стихи перевернут весь мир вверх тормашками. Но, еще не став поэтом, Акатов сочинил научный трактат «Поэзия», в котором поучал глупцов — как следует писать стихи, чтобы стать великим. Освободив Жадовскую от постижения причастий и деепричастий, он заставил ее наизусть вы зубрить свой трактат, начинавшийся такой фразой: «Поэзия есть выражение и дивный отголосок души и чувства».

— Мадемуазель Жадовская, вы разве не согласны?

— Не знаю, Александр Федорович, что тут еще добавить?

— Теперь... сознавайтесь: вы пишете стихи? — Жадовская покраснела и, потупив взор, созналась, что грешна. — А-а, — радостно завопил Акатов, — попались мне... читайте!

Как прекрасен Божий мир!..
День похож на чудный пир.
Вся природа торжествует,
Птичек хор весной ликует.

Боже, что тут случилось с Акатовым: его корежило от хохота, он падал со стула, готовый убить ее за бездарность, он издевался над ней, а она... Юлия Жадовская хохотала заодно с Акатовым. Совершенно лишенная мелочного тщеславия, девушка заливалась смехом — так, словно не она, а кто-то другой корпел над этими жалкими стихами. С тех пор их связывала нерушимая и нежная дружба: она, поэтесса, писала стихи, а он, критик, уничтожал их. Эта «дружба» завершилась вмешательством папеньки, который отзывал ее в Ярославль, где он состоял чиновником особых поручений при тамошнем губернаторе.

Встретив дочь, отец указал ей — заканчивать гимназию. Кроткая, она не возражала. Но в гимназии Ярославля ее сразу же обвинили в незнании именно грамматики.

— Я знаю ее, — робко отвечала Юлия.

— Кто внушил вам эту крамольную мысль?

— Костромской учитель Акатов...

Ей посоветовали, чтобы отец нанял репетитора.

День его появления в доме Жадовских запомнился на всю жизнь, и этот день она унесла с собою в могилу.

Петр Миронович Перевлесский — так его звали.

Сын захудалого дьячка, он, живя на гроши, окончил Московский университет, стал преподавателем в гимназии, ему прочили блистательную карьеру. Бог с ней, с этой карьерой, но... до чего же красив! Юленька опустила глаза и весь урок не поднимала их на учителя. Это была любовь с первого взгляда. Но, отдавшись чувству, она вдруг стала писать хорошие стихи, и сама ощутила, что любовь изменила ее стихи, ставшие просто хорошими. Наконец она засела за немецкий язык и скоро переводила Гёте и Гейне... Кажется, учитель начал видеть в Юленьке не только свою ученицу. Однажды он сказал, что граф Строганов, попечитель московского учебного округа, усиленно переманивает его в Москву.

— А как же я? — вырвалось из души Юлии; она поняла, что проговорилась, тихо добавив: — Как же наша грамматика?

Перевлесский все понял, но ничего не сказал; оба они лелеяли свои чувства в невинности, счастливые даже от сознания, что видят один другого и никто не мешает им наслаждаться... хотя бы в изучении грамматики! Между тем Петр Миронович, ничего не сказав Юлии, отослал два ее стихотворения в Москву, где они и были напечатаны в «Москвитянине», а критика отозвалась о них с похвалой. Юленька растерялась:

— Это сделали... вы? Сознайтесь — вы?

— Нет, это сделали вы сами. А я вас поздравляю...

Увидев имя дочери в печати, Валериан Никандрович был в этот день столь добр, что даже оставил Перевлесского поужинать в своем доме. Наконец молодые люди объяснились — именно в тот день, когда выяснилось, что граф Строганов отзывает Перевлесского в Москву, обещая повышение.

— Что скажет отец? — пугалась Юленька.

— Он скажет, чтобы мы всегда были счастливы...

Отец, как только увидел их счастливые лица, сразу обо всем догадался. Он, которому прочат место заседателя гражданской палаты, он... он... и чтобы сын дьячка?!

— Убирайся вон прочь, скнипа! — закричал он на учителя, по-синев от ярости, топая ногами, чубуком размахивая. — Вон, нечестивец! Клякса чернильная, синтаксис с орфографией... чтобы ноги твоей здесь больше никогда не было!

Перевлесский пошатнулся и, почти падая от унижения, вышел. Юлия долго-долго стояла, безмолвна и недвижима, даже не плача. Потом протянула к отцу свою единственную руку, на которой оттопырилось всего три пальца.

— Папа, а как же я? Обо мне ты подумал ли?

— Дочь моя, разве не хочу я добра тебе?

— Вижу! Посмотри, каким уродом я предстаю перед людьми, это ведь я — твоя дочь, ты меня такой сделал... Кому я нужна в этом свете? Нашелся человек, который полюбил меня, и я его полюбила, и даже теперь ты отнял мое счастье...

Длинным чубуком Жадовский указал на дверь:

— Убрался... туда ему и дорога!

— Как ты можешь, отец?

— Приведи мне кого угодно, хоть старого или нищего, но только дворянина! И не забывай, кто такие мы, Жадовские...

...Петр Миронович Перевлесский умер действительным статским советником, профессором Александровского лицея, автором множества учебников по российской словесности и правописанию. Юлия Жадовская никогда не изменила первой любви, и эта любовь так и ушла вместе с нею — в могилу.

Кажется, отец и сам был не рад тому, что он натворил, разорвав сердца молодых, — Юлия замкнулась в себе, и только однажды из груди ее вырвался почти истошный крик:

— Отец, да пожалей ты меня...

Не пожалел. Хотел жалеть и — не мог!

Постепенно имя Юлии Жадовской становилось известно. Где-то там, в ином мире, нашлись добрые люди, уже хлопотали об издании сборника ее стихов, приехал в Ярославль известный тогда переводчик Михаил Вронченко, брат министра финансов, внушал отцу, что нельзя же томить дочь взаперти, грешно командовать поэтессе, чтобы гасила в комнате лампу ровно за час до полуночи, наконец, она уже не принадлежит сама себе — ее должны видеть в столицах... Что бы ни говорили о ней, Юлия оставалась равнодушна к людским похвалам, все «написанное никак не могло удовлетворить ее, все лестные отзывы людей, компетентных в литературе, она считала снисхождением и каким-то особенным счастьем, которого она не заслуживала». Отец не раз слышал от дочери:

— Меня просто жалеют по причине моего уродства, как пожалели бы, наверное, и собаку с перешибленной лапой...

Появляться в обществе она даже страшилась. Если в Костроме или Ярославле она, чувствуя себя «дома», как-то забывала о своем убожестве, то смелости показаться в столицах не хватало. Отец все-

таки вытащил ее в большой литературный мир, и все оказалось не так уж страшно, как раньше ей думалось. «Всех интересовала эта молоденькая девушка с таким кротким смиренным видом и вместе с тем с таким серьезным взглядом на жизнь, искусство и науки...»

Как измерить доброту и деликатность людей, которые в Москве и Петербурге привечали ее, которые целовали даже культияпку ее руки с таким же благоговением, как и благоуханные, балованные руки светских красавиц! А какие имена, читатель! Тургенев, Некрасов, князь Вяземский, Хомяков, Загоскин, Аксаковы, Погодин, Дружинин... Нет, Жадовская не имела широкой известности, какой обладали все эти люди. Если ее и знали в обществе, так даже не имя Жадовской, а лишь слова ее стихов, уже переложенных на музыку романсов: «Ты скоро меня позабудешь», «Не зови ты меня бесстрастной», «Я се еще его, безумная, люблю».

Иногда она пренебрегала рифмой, столь насущной для поэзии, а от «белого стиха» незаметно для себя перешла к прозе, и первая ее повесть стала мучительной исповедью о разбитой любви, а потом вышел в свет и роман «В стороне от большого света» — опять о себе, и героине романа Жадовской, юной дворянке, злые люди не давали любить бедного разночинца-учителя. Иначе и быть не могло, а между тем Жадовскую оглушали звуки роялей в светских салонах и звоны гитар в провинции, больно ранивших сердце ее же собственными словами: «Я все еще его, безумная, люблю...» Да, она любила!

А здоровья не дал ей Бог, и вскоре Жадовская стала прихварывать. Два летних сезона она провела в Гапсале близ моря, но курортная жизнь мало помогла женщине. И вскоре она решила вернуться в Ярославль, памятуя, очевидно, что «дома и солома едома». Отец состарился, но еще хорохорился, похваляясь своей быстрой карьерой при губернаторе, и Юлия Валериановна снова попала под невыноси-

мый гнет его деспотической натуры. В эти годы что-то надломилось в женщине, раз и навсегда, и когда Достоевский просил у нее новую повесть для «Времени», Юлия Валериановна прислала «Женскую историю», которая прошла незамеченной, как и вторая повесть «Отсталая». Болезнь, угнетавшая ее, и невнимание критики, охладевшей к ней, стали причиной тому, что она вдруг замолчала, страдающая в своем провинциальном одиночестве...

Был уже 1862 год. Лечил ее старый ярославский доктор Карл Богданович Севен, обрусевший немец-романтик, способный рыдать над увядшею розой. Юлия Жадовская привыкла к нему, считая Севена почти родным человеком, и была удивлена, когда в один день он поднес ей цветы, предложив свою руку и сердце. Слова старого холостяка были трогательны.

— Я не прошу у вас любви, — сказал он, — было бы нелепо, если бы вы от меня, старого человека, требовали юношеской пылкости. Я делаю вам предложение — как человек человеку, и пусть наши одинокие сердца согревают чувства большого добра и уважения одного к другому. Поймите меня...

Юлия Жадовская поняла, что старый добряк желает избавить ее от деспотии отца, и согласиём отозвалась на эти слова.

— Благодарю вас, Карл Богданович, — сказала она...

Они обвенчались, но отца в церкви уже не было: разбитый параличом, он был уже близок к смерти. Но, принимая ухаживания дочери, он по-прежнему отдавал команды — как надо жить, когда гасить свет, кого пускать, а кого и гнать в три шеи. Валериан Никандрович был, конечно, жалок в такие моменты, все люди давно покинули его, всеми забытый, он лежал в постели, развороченной, словно цыганский рыдван. И только она, его дочь, которую он так безжалостно тиранил, оставалась при нем, верная и заботливая...

Перед смертью отец не выдержал — разрыдался.

— Прости! — крикнул он дочери. — Прости меня, подлеца, что сделал тебя несчастной... не хотел, видит бог, не хотел! Я был несправедлив к тебе, и не потому ли Всевышний и наказывает меня столь жестоко? Если можешь — п р о с т и...

После его смерти Юлия Валериановна продала дом в Ярославле и на вырученные деньги купила небольшое имение в семи верстах от уездного Буя, где природа напомнила ей те самые места, где прошло ее детство под надзором бабушки, где впервые с полок книжных шкафов дедушки ей горько усмехнулся «дядя Вольтер», где ее сурово поучал «дядя Руссо»...

Карл Богданович Севен, воспитанный на выпренности поэзии Клопштока, поклонник Гёте и Шиллера, боготворил свою жену, считая себя самым счастливым мужем на свете.

— Сударыня, — старомодно раскланивался он перед нею, — я счастлив иметь вас своею супругой, для имени которой уже уготовано место в грандиозных анналах истории...

За два года до своей кончины она потеряла Карла Богдановича, отдавшись разведению цветов с такою же страстью, с какой когда-то сочиняла стихи...

Впереди ничего уже не было.

Впереди была только смерть, и она пришла к ней, почти спасительная, ибо «в стороне от большого света» Жадовская сделала все, что могла, а чего не могла — того и не делала.

Вспомним же ее! Вспомним и... не забудем.

Зина — дочь барабанщика

Если гравёр делает чей-либо портрет, размещая на чистых полях гравюры посторонние изображения, такие лаконичные вставки называются «заметками». В 1878 году наш знаменитый гравёр Иван

Пожалостин резал на стали портрет поэта Некрасова (по оригиналу Крамского, со скрещенными на груди руками), а в «заметках» он разместил образы Белинского и... Зины; первого уже давно не было на свете, а второй еще предстояло жить да жить.

Не дай-то бог вам, читатель, такой жизни...

В портретной картотеке у меня заложена одна фотография, которая — и сам не знаю почему? — всегда вызывает во мне тягостные эмоции: Зина в гробу! Ничего, конечно, похожего с той юной привлекательной женщиной, которую Пожалостин оставил для нас в своей гравюрной интерпретации. Давнее прошлое человека, отошедшего в иной мир, порою переживается столь же болезненно, как и нынешние наши невзгоды. Надеюсь, что историкам это чувство знакомо... Однако как мало было сказано об этой Зине хорошего, зато сколько мусора нанесли к ее порогу! Если бы великий поэт не встал однажды со смертного одра и не увел бы ее в палатку военно-походной церкви, мы бы, наверное, вообще постарались о ней забыть.

Но забывать-то как раз и нельзя. Помним же мы Полину Виардо, хотя вряд ли она была непогрешима, безжалостно вырвав талант русского романиста с родных черноземов Орловщины, чтобы ради собственного тщеславия пересадить его на скудные грядки Буживаля, — но если у нас любят посудачить об этой французской певице, то, по моему мнению, не следует забывать и нашу несчастную Зину — дочь безвестного русского барабанщика...

Некрасов провел всю жизнь среди врагов, распространявших о нем разные небылицы. Враги и завистники никогда не щадили его. Но даже любившие Некрасова не щадили ту, которая стала для поэта его последней отрадой. Пожалуй, только великий сердцеед Салтыков-Щедрин, всезнающий и всевидящий, сразу

понял, что Зина появилась в доме Некрасова совсем не случайно, и он свои письма поэту заключал в самых приятных для нее выражениях:

«У Зинаиды Николаевны я целую ручки...»

У нас почти с восхищением листают «донжуанский список» Пушкина, насчитывающий более ста женских имен, а вот Некрасову, кажется, не могут простить его подруг, старательно и нудно пережевывая мучительный разлад с Авдотьей Панаевой... «Я помню чудное мгновенье» — эта строка, исполненная любовных восторгов, никогда бы не могла сорваться со струн некрасовской лиры, ибо его печальная муза скорбела даже от любви:

Бывало, натерпевшись муки,
Устав и телом и душой,
Под игом молчаливой скуки
Встречался грустно я с тобой...

Какое уж тут, читатель, «чудное мгновенье»?

Правда, любить Некрасова было не так-то легко, а женщины, которых любил он, кажется, иногда его раздражали. Одна хохотала, когда ему хотелось плакать, другая рыдала, когда он бывал весел. Одна требовала денег, когда он сам не знал, как рассчитаться гононраром с кредиторами, а другая отвергала подарки, требуя святой и бескорыстной любви.

Можно понять и поэта — трудно иметь дело с женщинами!

Мы, читатель, со школьной скамьи заучили имя Анны Керн, а что скажут нам имена Седины Лефрен, Прасковьи Мейшен или Марии Навроотиной, ставшей потом женою художника Ярошенко? Между

тем они были, и были при Некрасове не как литературные дамы, желавшие поскорей напечататься в его журнале, — нет, каждая из них занимала в жизни поэта свое особое место. Но каждая свое особое место нагрела для другой и оставила его. Одни уходили просто так, разбросав на прощание платки, мокрые от слез, а одна умудрилась вывезти из имения поэта даже диваны и стулья, которые, очевидно, ей срочно понадобились для возбуждения приятных воспоминаний о былой страсти.

Перелом жизни — Некрасову было уже под пятьдесят.

Скажи спасибо близорукой
Всеукрашающей любви
И с головы, с ревнивой мукой,
Волос седеющих не рви.

На этом переломе времени, столь опасном для каждого человека, и появилась Зина — дочь солдата, полкового барабанщика из Вышнего Волочка, о котором мы ничего не знаем (и вряд ли когда узнаем). В ту пору она еще не была Зиной и не имела отчества — Николаевна, а звали ее совсем иначе: *Фекла Анисимовна Викторова*. Думаю, она нашла не только приют в доме Некрасова, но отыскался для нее и теплый уголок в стареющем сердце поэта. А рвать седеющих волос с его головы она не собиралась.

Анна Алексеевна Буткевич, любимая сестра поэта, в преданности которой брату нет никаких сомнений, сразу возненавидела эту Феклу, переименованную по желанию поэта. Сестра считала, что брат слишком доверчив, идеализируя подругу, которая только притворяется влюбленной, чтобы он не забывал о ней, когда придет время составлять завещание. Анна Алексеевна Буткевич даже

утверждала, что дочь барабанщика стала Зинаидою не тогда, когда появилась под кровом брата, а еще гораздо раньше.

— По секрету, — сообщала она друзьям, — имя Зины эта особа обрела еще в том доме на Офицерской улице, где принято облагораживать имена всяких там Фросек, Акулек и Матрешек...

Впрочем, уже давно (и не помню) замечено, что сестра поэта слова путного не сказала о Зиночке, а потому вопрос об Офицерской улице отпадет сам по себе. Николай Алексеевич уже прихварывал, а явная, ничем не прикрытая ненависть любимой сестры к любимой им женщине, конечно, никак не улучшала здоровья поэта. Обоюдная неприязнь женщин, одинаково дорогих для него, была мучительна. Чтобы не досаждать сестре, Некрасов еще в 1870 году, на заре своих отношений с Зиною, посвятил ей стихи, но само посвящение утаил в буквах: з-н-ч-к-е.

Остались ее фотографии тех лет. Зина была девушкой стройной, румяной, веселой, благодушной и скромной, с ямочками на щеках, когда она улыбалась. С ней было легко. Сенатор А.Ф. Кони, наш знаменитый юрист, увидев однажды Зину, сразу понял, что она глубоко предана поэту и с ней поэту всегда хорошо. Иные же писали, что внешне Зина напоминала сытенскую, довольную жизнью горничную из богатого господского дома, которую гости не прочь тронуть за подбородок, сказав в умилении:

— Везет же этим поэтам... ах, до чего же хороша!

Нет, не думала она, входящая в дом Некрасова, о его завещании, не собиралась делить наследство поэта с его сестрами и братьями. Вряд ли она, безграмотная провинциалка, даже понимала тогда, что Николай Алексеевич не только богатый человек, но еще и п о э т, имя которого известно всей великой России...

Ах, кому же из нас на Руси жить хорошо?

Некрасову хорошо никогда не было.

Работал, работал, работал — и хотел бы всегда работать!

В один из визитов А.Ф. Кони извинился перед ним, что редко навещает его — все, знаете ли, некогда, некогда, некогда.

Николай Алексеевич только рукою махнул:

— По себе знаю, что «некогда» в нашем Питере слово почти роковое: всем и всегда некогда. Оглядываясь на свое прошлое, сам вижу, что мне всегда было некогда. Некогда быть счастливым, некогда пожить душой для души, некогда нам было даже любить, и вот только умирать нам всегда время найдется...

Авдотья Панаева в учении не нуждалась, образование же других подруг поэта не беспокоило, а вот для Зины он даже нанимал учителей, водил ее в театры, Зина приохотилась к чтению его стихов, случалось, даже помогала Некрасову в чтении корректуры. Николай Алексеевич вместе с нею выезжал в свою Карабаху, там Зина амазонкою скакала на лошади по окрестным полянам, метко стреляла... Поэт уже тогда начал серьезно болеть.

Помогай же мне трудиться, Зина!
Труд всегда меня животворил.
Вот еще красивая картина —
Запиши, пока я не забыл...

Как бы Некрасов ни любил свою сестру, но ее побеждала все-таки она, последняя любовь поэта. «Глаза сестры сурово нежны», — написал однажды Некрасов, но потом эту строчку исправил, и она обрела совсем иное значение: «Глаза ж е н ы сурово нежны...» Обычно сдержанный в выражении чувств, Николай Алексеевич подарил Зиночке книгу своих стихов, украсив ее словами, которыми не

привык бросаться: «Милому и единственному моему другу Зине».

И она заплакала, прижимая книгу к груди:

— Ой! Заслушила ль я такие слова? Неужто «единственная»?

Некрасов болел, и, боля, он утешал ее как мог:

Да не плачь украдкой! Верь надежде,
Смейся, пой, как пела ты весной.
Повторяй друзьям моим, как прежде,
Каждый стих, записанный тобой...

Если бы это было правдой, что Зина досталась ему с Офицерской улицы, то вряд ли Некрасов стал бы при ней стесняться. Но он, напротив, оберегал Зину от каждого нескромного слова, и не раз так бывало, когда в застолье подвыпивших друзей начинались словесные «вольности», Николай Алексеевич сразу указывал на свою подругу, щадя ее целомудрие:

— Зинаиде Николаевне знать об этом еще рано...

Но уже открывалась страшная эпоха «Последних песен».

Некрасов страдал, и эти страдания были слишком жестоки.

Я не стану описывать всех его мук, скажу лишь, что даже легкий вес одеяла, даже прикосновение к телу сорочки были для него невыносимы, причиняя ему боль. Молодой женщине выпала роль сиделки при умирающем. Зина считала, что при каждом вздохе или стоне его она обязана немедленно являться к нему, и она — являлась! Но... как? Зина даже п е л а.

«Чтобы ободрить его, — вспоминала она потом, — веселые песенки напеваю. Душа от жалости разрывается, а сдерживаю себя, пою да пою... Целых два года спокойного даже сна не имела». Это верно: сна Зина не имела, а чтобы не уснуть, она ставила на пол зажженную свечу, становилась перед ней на колени и упорно глядя на пламя свечи, не позволяла себе уснуть...

Вот когда родились эти трагические строки Некрасова:

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоём
Стоны мои отзываются.
Двести уж дней,
Двести ночей.
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
Зина, закрой утомленные очи.
Зина! Усни...

Ей было 19 лет, когда поэт ввел ее в свой дом, сейчас она превратилась в изможденную старуху. Потом сама же и рассказывала племяннице: «Мне казалось, что все это время я нахожусь в каком-то полусне...» Впрочем, о Некрасове заботилась и сестра поэта, соперничая с Зиной в своем беспредельном внимании к больному. Анна Алексеевна, ревниво делившая с Зиной страшные бессонные ночи, кажется, заодно и следила — как бы ее брат не завещал Зине свое ярославское имение Карабиху! Николай Алексеевич, наверное, и сам уже догадывался, как сложится судьба Зины, если его не станет...

Нет! не поможет мне аптека,
Ни мудрость опытных врачей.
Зачем же мучить человека?
О небо! смерть пошли скорей.

— Пошлите за Унковским, — наказал Некрасов лакею...

Ранней весной 1877 года (это была его последняя весна) Некрасов решил освятить свой гражданский брак с Зиной церковным обрядом. Но, прикованный к постели, поэт уже не мог подняться, чтобы пред-

стать перед аналоем в церкви. Друзья поэта сыскали священника, который (естественно, не бесплатно) взялся было венчать Некрасова дома. Об этом по секрету узнал Глеб Успенский, у которого секреты долго не держались, и священник, испугавшись слухов, венчать поэта с Зиною отказался:

— Я же место хорошее потеряю! Бог с вами со всеми... Вы тут наблюдали в незаконном браке, а я и отвечаю за вас?

Алексей Михайлович Унковский, приятель Некрасова, появился вовремя. Это был образованный юрист, общественный деятель, человек умный и тонкий, о котором, жаль, у нас редко вспоминают. Выслушав поэта, он проникся его благородным желанием и сразу же навестил столичного митрополита Исидора (Никольского). Два умных человека одинаково сочувствовали поэту, но...

— Законы церковные да останутся нерушимы, — сказал Исидор, — и как бы я ни уважал Николая Алексеевича, как бы ни сочувствовал его желаниям, уставы церковные позволяют венчание только в церкви... Так что не обессудьте, Алексей Михайлыч.

— Ваше высокопреосвященство, как же быть в этом случае, если больной прикован к постели, а желание его благородно?

— Увы! — отвечал Исидор, хитро прищурившись. — Мы же не военные. Это у военного духовенства все просто: где ни поставил палатку походной церкви, там и венчай... все у них законно!

Спасибо митрополиту — он намек сделал, а Унковский намек понял и с благоговением приложился к руке Исидора:

— Благодарю за мудрый отказ, ваше высокопреосвященство...

Военные духовники венчать поэта сразу же согласились:

— Вам бы надо было сразу к нам обратиться...

4 апреля в самой большой комнате квартиры поэта был раскинут шатер военно-полевой церкви, как на боевом фронте. Некрасов, ис-

томленный болями, поднялся с постели, ставшей для него смертным одром, — босой, в одной нижней рубашке, которая, дабы облегчить его страдания, была разрезана ножницами на длинные ленты. Он был уже так слаб, что его поддерживали под руки, поэт трижды обошел с Зиной вокруг церковного аналоя. «Веселые свадебные песни, сулившие ему долгие годы супружеского и отцовского счастья, звучали для всех панихидой».

— Теперь, Зина, за тебя я спокоен, — сказал он ж е н е.

— Век не забуду! — разрыдалась Зинаида Николаевна...

Вскоре Некрасов и скончался.

«Только в день похорон его, — говорила потом Зина, — поняла я, что сделал он для общества, для народа: видя общее сочувствие и внимание, начала я задумываться — чем он такую любовь заслужил?..» Похороны поэта превратились в демонстрацию студенчества, и в толпе молодежи шла за гробом Зина, а впереди ее ожидали долгие с о р о к лет одиночества.

— Мне, — сказала ей Буткевич, сестра покойного, — не совсем то приятно, что мой брат объявил тебя наследницей посмертного издания его «Последних песен»... Не сердись за откровенность, милочка, но что ты понимаешь в поэзии?

— Наверное, ничего, — согласилась Зина.

Карабиха оставалась за семьей Некрасовых, поэт оставил жене свое чудовское имение Лука, что в Новгородской губернии, где была его дача; поэт завещал Зине и обстановку петербургской квартиры. Я совсем не желаю осуждать Анну Алексеевну Буткевич, которая всю жизнь оставалась верна памяти брата. Но все же, читатель, следует договаривать правду до конца. В посмертном издании Некрасова, когда уж кажется, что каждому слову поэта оставаться в первоизданной святости, Анна Алексеевна разгадала смысл «з-н-ч-к-е» и одним взмахом

пера уничтожила посвящение брата. А на титуле «Последних песен» Некрасова его жена, издательница согласно духовному завещанию, была названа уже не Некрасовой, а... Викторовой!

— Пусть скажет спасибо, что не называю ее Феклой, — решила мадам Буткевич. — Стихи же моего брата, ей посвященные, — наказала она в типографии, — оставить без примечаний. Кому может быть интересна эта особа, вкравшаяся в доверие моему брату?

Никому. Это стала понимать и сама Зина.

Только напрасно злые люди решили, что она проникла к поэту едино лишь ради корысти. Зинаида Николаевна вскоре же и доказала, что корыстных умыслов у нее никогда не было.

Право переиздания стихов своего покойного мужа она сразу уступила сестре его — той же Анне Алексеевне Буткевич.

Право на владение чудовским именем Зина уступила опять-таки той же Анне Алексеевне Буткевич.

А сама осталась ни с чем, и она... и с ч е з л а.

...Россия жила своей бурной жизнью, никогда не забывая своего народного поэта, но зато в России очень скоро забыли его верную подругу — Зину, дочь барабанщика. А коли забыли, так о ней теперь можно говорить что хочешь. Появились мемуары, в которых она предстала в искаженном свете, как особа хитрая и безграмотная, чуть ли не насильно водившая Некрасова вокруг аналоя, чтобы сделаться мадам Некрасовой и получить от поэта немалое наследство... Пожалуй, один только сенатор А.Ф. Кони, глубоко почитавший поэта, не терпел подобных мещанских отзывов о вдове поэта, в своих выступлениях он постоянно призывал уважать память о Зинаиде Николаевне:

— Ее уж нет среди нас, и потому она не может возвысить голос в защиту своей женской чести, потому, дамы и господа, призываю уважать эту женщину, достойную нашего уважения...

Кони ошибался, как ошибались и другие: Зина была жива.

Шли годы. Много позже выяснилось, что Зина Некрасова, покинув столицу, поселилась в Москве, где готовилась в послушницы Новодевичьего монастыря, но... передумала. Конечно, в доме поэта она жила как у Христа за пазухой, сытая и одетая, о деньгах не помышляя, а теперь следовало полагаться лишь на себя.

Кое-какие сбережения у нее, правда, были. И начался период очень странных метаний женщины по стране — зигзагами молний, всегда загадочных и не всегда объяснимых. Зина вдруг объявилась на Кавказе, потом исчезла надолго, но ее как будто видели в Киеве, кто-то узнал ее в Одессе, а затем она снова пропала и, кажется, уже навсегда.

Россия вступала в XX век. Читатель, это уже наше время...

Николай Михайлович Архангельский, наш современник, умер в 1941 году (исторически только «вчера»). Это был типичный русский интеллигент, в ту пору он редактировал «Саратовский листок». Однажды в доме на Кострижской улице (ныне улица Сакко и Ванцетти, которые к Саратову притянуты за уши), где Архангельский жил и работал, его посетил репортер городской хроники, уснащавший газетные скрижали сведениями о пожарах, драках, воровстве и скандалах в трактирах, — все знал человек!

— А в баптистской-то общине Саратова опять свара великая, — сообщил он редактору. — Свиной режут, в колбасы сало пихают, живут — кум королю, а тут старуха одна, так они ее под конец обчистили... До копейки все выманили да еще в церкви ее «оглашенной» объявили. Старуха-то на паперти... плачет!

Архангельский оторвался от чтения типографских гранок.

— Какая старуха? — спросил он рассеянно.

— Обыкновенная. По фамилии Некрасова, а зовут будто Зинаидой, живет на отшибе города на Малой Царицынской. Уже старая. Одинокая как перст. Побирается. Кто что подаст!

Архангельский призадумался, вслух размышляя: «Зинаида, Зинаида, еще Некрасова... Конечно, Некрасовых на святой Руси великое множество, но... Зина? Возможно и совпадение, да-с!»

— Вот что, — решил Архангельский. — Едем. Навестим.

— Старуху-то? Так она никого не принимает. Двери у нее на крючок, и через дверь просит всех оставить ее в покое.

— А вдруг это... о н а?

— Кто? — удивился репортер.

— Та самая, которой поэт писал: «Зина, закрой утомленные очи...» А вдруг да она? Бери свою шляпу — поехали.

Приехали на Царицынскую, отыскивали лачугу в три окошка, долго в дверь барабанили. Старуха действительно оказалась жалкой, но ее нищенская комнатенка удивляла опрятностью.

— Да, это я... — созналась Зинаида Николаевна, ощутив доброе расположение редактора. — А не пускаю к себе никого, живу взаперти, чтобы, не дай-то бог, не проведали в городе, кто я такая... К чему все это? Скоро уже сорок лет как я живу без него, а скоро, даст бог, в ином мире и встретимся. То-то радость для меня будет, да и Николай Алексеич чай мне обрадуется.

Архангельский уяснил главное: саратовские баптисты, сплошь местные свиноторговцы, каким-то образом пронюхали, что в городе проживает вдова Некрасова, заманили ее в свою общину, суля блага всяческие, уход и заботу о ней, о старухе, а сами выманили у нее все деньги, которые она берегла «на черный день».

— Вот и стала я нищей, — сказала Зинаида Николаевна.

— Вы хоть расписки-то с них брали?

— Зачем? Я ведь на слово людям верить привыкла.

— Выходит, так вот и отдали все самое последнее?

— Да как не дать? Ведь просили-то во имя Божие...

Я, читатель, не желаю порочить всех баптистов подряд, пусть они живут и молятся далее, но факт остается фактом: саратовские сви-ноторговцы, сплошь состоявшие в секте баптистов, действительно ограбили вдову поэта, зато отстроили новые свинарники, а колбасы в их мясных лавках сразу стали жирнее и дороже.

Архангельский засел за стол редактора, полный решимости:

— Мы этого дела так не оставим... пусть все знают!

«Саратовский листок» оповестил горожан о том, как подло поступили «свинячьи души» с забытой всеми вдовою великого русского поэта. Николай Михайлович на этом не успокоился, его корреспонденции о бедствиях г-жи З.Н. Некрасовой обошли все газеты Москвы и Петербурга, русский читатель был поражен:

— А мы-то и не знали, что «Зина» еще жива... надо же, а? Стихи о ней наизусть помним, а она... столько лет молчала?

Весь гнев саратовских баптистов обрушился на голову Зинаиды Николаевны: ее обвинили в том, что, богохульствуя в газетах, она отступилась от истинной веры, сделали ее «оглашенной», чтобы впредь не смела в храм ногою ступать, а молилась только на паперти, как великая грешница. Мало того, обещали ее «простить», ежели не станет денег своих обратно требовать, а один колбасник, давно ей задолжавший, даже такое сказал:

— Ты, старая, на меня не жмурься — я тебе ни копейки назад не верну. Но, ежели хошь, возьму тебя в лавку, чтобы колбасу резала. Кому фунт, кому полфунта... Не хошь? Ну и не надо. Просить да кланяться тебе не стану. Без тебя обойдемся...

Дело дошло до Государственной думы, и кто-то из думцев (я не выяснил — кто?) доложил Л.А. Кассо, что он, как министр народного просвещения, должен бы вмешаться — в Саратове голодает, нищенствуя, вдова великого русского поэта.

— Помилуйте! — отвечал Кассо, поигрывая шнурком от пенсне. — У нас тут все государство трещит, а вы мне о какой-то вдове поэта. Это уже история, батенька вы мой!

Архангельский обратился к саратовской общественности, чтобы помогла старухе, и помощь пришла именно со стороны местных интеллигентов. В один из дней Николай Михайлович застал Некрасову просветленной, она раскрыла перед ним книгу стихов Некрасова с дарственной надписью от 12 февраля 1874 года:

— Все пропало, а вот это в гроб мне положат. Видите, как тут писано? «Милой и единственной...» Сподобил меня Господь остаться для него последней и единственной.

Хлопотами Архангельского старуха была причислена к «литературному цеху», и он поздравил ее с тем, что отныне она станет получать от Литфонда пособие — по 50 рублей в месяц.

— Ой, вот спасибо, вот спасибо, — говорила старуха.

Николай Михайлович вскоре же известился, что из этого скромного пособия от Литфонда она уделяет немалую толику для тех людей, что ее беднее.

В 1911 году вдову поэта навесит Корней Чуковский, еще молодой и обаятельный, входивший в большую славу:

— Вот, приехал в Саратов, дабы вас повидать...

Но Зинаида Николаевна незнакомых журналистов остерегалась и сразу замкнулась. Очевидно, франтоватый Чуковский ей даже не понравился, она отвечала ему односложно, даже с некоторым подозрением, и, наверное, Зинаида Некрасова тоже не понравилась Корнею Чуковскому, который тогда же сложил впечатление, для вдовы поэта не совсем-то лестное, как о женщине недалекой и ограниченной, случайно ставшей подругой поэта.

Но летом 1914 года ее навесит Владислав Евгеньев-Максимов, будущий профессор, наш знаменитый некрасовед...

Вот с ним Зинаида Николаевна разговорилась.

— Жить было можно, — записывал он ее рассказ. — Да я ведь все, что у меня было, сама и раздала. Просят. То один, то другой, как откажешь? Моложе была, так еще работала. А теперь вот пособием живу... Я в свою скорлупу, как улитка какая, забилась, живу тихонько. Никого и не вижу. Бог с ними, с людьми-то. Много мне от них нехорошего вытерпеть довелось. Уж сколько лет прошло, а раны-то в душе не заживают... Если б не добрый Николай Михайлыч, что в газете служит, так Христовым бы именем на паперти побиралась...

Евгеньев-Максимов, к великому своему ужасу, обнаружил, что никаких некрасовских реликвий уже не осталось.

— Что и было, так все растащили, — сказала старуха...

В январе 1915 года она скончалась и, приобщенная к великому «цеху литераторов», успокоилась между могил писателей — Чернышевского и Каренина-Петропавловского. На кладбище все зарыдали в один голос, когда над раскрытой могилой раздалось слова:

Зина, закрой утомленные очи.
Зина! Усни...

Беспамятные люди затоптали ее могилу, ни ограды, ни памятника не сохранилось. Только в недавнее время нашлись добрые души, оградили место ее вечного успокоения и поставили над могилою памятный обелиск с портретом. Некрасовская Зина снова смотрит на нас — молодая, пленительная, словно сошедшая с той самой «заметки», что оставлена Пожалостинным на широких полях гравюрного портрета Некрасова...

Спи спокойно, наша Зина! Мы тебя не забыли.
И не скажем о тебе слова дурного... Спи.

Закройных дел мастерица!

Надежда Петровна Ламанова говорила:

— Костюм есть одно из самых чутких проявлений общественного быта и психологии. Одежда является как бы логическим продолжением нашего тела, у нее свое служебное назначение, связанное с нашим образом жизни и с нашей работой. Костюм должен не только не мешать человеку, но даже и помогать ему жить, радоваться, горевать и трудиться...

Чувствуете, как много требований к одежде!

И много лет подряд, когда бы я ни касался материалов о быте Москвы начала прошлого века, мне всюду встречалось это имя — Надежда Петровна Ламанова; о ней писали как о человеке довольно-таки известном в жизни России. Сначала я пропускал это имя через фильтр своей памяти как имя личности, которая ничего героического в нашей истории не совершила. Что мне с того, что с Ламановой «соперничали великолепно вышколенные мастерицы города Лиона — Лямина, Анаис и другие чародеи женских нарядов». Но вот прошло много лет, мое мнение об этой женщине обогатилось, и теперь я, напротив, уже сам стал выискивать ее имя — везде, где можно.

Станиславский говорил о Ламановой:

— Это же второй Шаляпин в своем роде. Это большущий талант, это народный самородок!

В самом деле, к этой женщине стоит присмотреться...

В 1861 году у офицера Ламанова, ничем не прославленного, родилась дочка, которую нарекли Надеждой; деревенька Шузилово в нижегородской глуши дала ей первые впечатления детства. Но

вот окончена гимназия, и девочке сразу пришлось взяться за труд. Родители умерли, а на руках Нади Ламановой остались младшие сестры. Она выбрала себе иглу...

Игла, наперсток, утюг, ножницы, аршин.

Скучно! Но что поделаешь? Жить-то надо...

Это было время, когда технический прогресс грозил ускорить темпы жизни, а значит, должен измениться и покрой одежды. Фрак остался лишь для торжественных случаев: мужчина из сюртука переодевался в короткий пиджак — почти такой же, какой носим и мы, который уже не мешал резким движениям; женщина нового века готовилась сбросить клещи корсета — этот ужасный пресс отдаленных времен, ломающий ребра, сжимающий тазовые кости, затрудняющий дыхание, но зато создававший эфемерную иллюзию «второго силуэта фигуры».

Надя Ламанова приехала в Москву и стала учиться на портновских курсах госпожи Суворовой, потом работала моделисткой у мадам Войткевич... Шить она, конечно, умела, но шить не любила, о чем откровенно и заявляла:

— Терпеть не могу ковыряться с иглой...

Ее волновал творческий процесс — мысленно она одевала людей на улице в такие одежды, какие рисовала ее богатая фантазия.

Надя была совсем еще молоденькой девушкой, когда стала ведущим мастером по моделированию одежды, о ней уже тогда заговорили московские красавицы, отчаянные модницы:

— Шить надо теперь только у мадам Войткевич — там есть одна новенькая закройщица, мадемуазель Ламанова, которая истиранит вас примерками, но зато платье получится как из Парижа.

Париж был тогда традиционным законодателем мод.

— Париж, — рассуждала Надя Ламанова, — даст нам только фасон, но этого еще мало, чтобы человек был красив, а фасон — лишь придаток моды. Однако люди-то все разные, и что идет одному, то на другом сидит как на корове седло... Нет уж! Людей надобно одевать каждого по-разному, соответственно их привычкам, их характеру, их фигуре... Особенно — женщину, которая самой природой назначена украшать человеческое общество!

Надежде Петровне исполнилось 24 года, когда она поняла, что для воплощения своих творческих замыслов ей необходима самостоятельность. На свои первые сбережения она открыла в Москве мастерскую под вывеской «Н.П. Ламанова», и хотя вскоре вышла замуж за юриста Каютова, но из престижа фирмы осталась для своих заказчиц под девичьей фамилией — под этим же именем она вошла в историю нашего искусства... Да, да! Я не ошибся, написав именно это всеобъемлющее слово — «искусство».

Надежда Петровна еще со времени гимназии испытывала большую тягу к живописи, а ее муж, Андрей Павлович Каютов, был актером-любителем, выступая на подмостках под псевдонимом «Вронский». В доме Ламановой-Каютовой своим человеком стал юный мечтатель Константин Станиславский; как близкий друг приходила сюда на чашку чая знаменитая актриса Гликерия Федотова... Что удивляться? Надежда Петровна была человеком добрым и мягким, отзывчивым и хлебосольным, а в искусстве всегда хорошо разбиралась.

Зато в своей мастерской она была деспотична, как Нерон в сенате, какородовой в участке, как бюрократ в канцелярии.

— Повернитесь, — командовала она. — Поднимите руку... да не эту — правую! Нагибайтесь... не жмет? Сядьте. Встаньте.

У нее, как у художника, был свой взгляд на вещи.

— Искусство требует жертв, и это не пустые слова, — утверждала она. — Мне неинтересно «просто так» сшить красивое платье для какой-нибудь красивой дурочки. Когда я берусь за платье, возникают три насущных вопроса: для чего? для кого? из чего?

Эти вопросы — как три слона, на которых она ехала.

— Но сначала я должна изучить свою натуру...

По Москве шла неудобная для портнихи слава:

— Ходить к Ламановой на примерки — сущее наказание...

Это правда! Надежда Петровна работала над платьем, как живописец работает над портретом. Иной раз создавалось впечатление, что она, подобно Валентину Серову, брала «сеансы» у заказчиц. Подолгу и пристально Ламанова изучала свою «натуру», прежде чем соглашалась облечь ее в одежды своего покроя. При этом — никакой иглы, никакого наперстка и никакого утюга с тлеющими углями. Между губ Ламановой зажаты несколько булавок, и она, придирчиво осматривая фигуру, вдохновенно обволакивала ее тканью, драпируя в торжественные складки, и все это закалывала булавками.

— Теперь снимайте, — говорила заказчице. — Только осторожнее, чтобы булавки не рассыпались... Эскиз готов!

Иногда ее просили:

— Только, пожалуйста, сшейте вы сами.

Надежда Петровна отвечала:

— Я вообще не умею шить.

— ?

— Да, — продолжала Ламанова, — я только оформляю модель, какой она мне видится! Шить — это не мое дело. Ведь архитектор, создавая здание, не станет носить на своем горбу кирпичи, его не заставишь вставлять стекла в оконные рамы — для этого существуют подмастерья...

В Москве тогда был собран пышный букет знаменитых красавиц.

Вера Коралли, Маргарита Карпова, Лиза Носова, Вера Холодная, Лина Кавальери, Генриетта Гиршман, Маргарита Мрзозова, Ольга Гзовская, «королева танго» Эльза Крюгер — и много-много других. Все они втайне мечтали, чтобы их обшивала деспотичная чародейка Надежда Ламанова.

Она имела самую блестящую (и самую, кстати, капризную) клиентуру, и скоро на вывеске ее фирмы появились многозначительные слова: «Поставщик двора ея императорского величества». Но это было скорее бесплатным приложением к той шумной славе, которую она уже завоевала в Москве и в Петербурге...

Валентин Серов — великий художник-портретист.

Надежда Ламанова — великая мастерица-модельерша.

Между ними, если присмотреться к стилю их работы, есть много общего. Между прочим, они были давними друзьями.

Серов любил бывать в доме Ламановой-Каютовой.

Швейцар этого дома позже рассказывал:

— Валентин Ляксандрыч давно были нездоровы, только от людей ловко болезнь прятали. С нашей барыни они портрет ездили писать, так еще на прошлой неделе мне говорить изволили: «Ой, плох я стал, Ефим, на лестницы всходить не могу, сердце болит». Я все их на лифте и подымал, а в прежние-то годы иначе как бегом Серов по лестницам не ходили...

1911 год — последний год жизни Серова; в этом году Надежде Петровне исполнилось 50 лет, и Серов начал работать над ее портретом... Он писал Ламанову на картоне, используя три очень сильных и резких материала — уголь, сангину, мел! По силе звучания этот портрет можно сравнить с портретом, который Серов написал

с актрисы Ермоловой. Искусствоведы давно заметили: «При всем различии обликов этих двух женщин в них улавливается нечто родственное... это чувствуется в постановке фигур, в выборе того психологического состояния портретируемых, к которому Серов внимательно относился. И Ермолова, и Ламанова изображены в момент творчества, в состоянии внешне спокойном, но исполненном напряженной работы мысли...»

Как это точно! Посмотрите еще раз портрет Ермоловой

Писан по заказу москвичей в 1905 году. Теперь посмотрите сделанный в 1911 году портрет Ламановой.

Острым и цепким взором она, интеллигентная русская дама, примерилась к своей «натуре», которая стоит за полями картона; ее полнеющая фигура вся подалась к движению вперед, а левая рука мастерицы уже тянется к вороту белоснежной блузки, привычным жестом сейчас Ламанова достанет булавку, чтобы заколоть складки будущего платья, которому, может быть, суждено стать произведением русского искусства...

«21 ноября в седьмом часу вечера Валентин Александрович сделал свой последний штрих на этом портрете, и в общих чертах он уже был закончен. Затем простился с хозяйкой, поехал к своему другу И.С. Остроухову, провел у него вечер в скромной товарищеской беседе, и утром 22 ноября, после краткого сердечного припадка, он был уже в гробу...» Смерть застала великого Серова над портретом Ламановой!

Надежде Петровне было 56 лет, когда грянула революция

К этому времени она была уже зрелым, всеми признанным мастером. Казалось бы, ей будет особенно трудно пережить грандиозную ломку прежнего уклада жизни, казалось, она уже не сможет освоиться в новых и сложных условиях. Но это только казалось. Именно при

советской власти начался расцвет творчества Надежды Петровны, бывшей «поставщиком двора Ея Императорского Величества».

«Революция, — писала она, вспоминая былое, — изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь...» Начиналась вторая молодость знаменитой российской закройщицы.

И тут она показала такое, что можно лишь ахнуть...

Время было голодное, трудное, страна раздета, не было даже ситцев... «Из чего шить?» Ателье имели «богатый» выбор материй: шинельную дерюгу, суровое полотно и холст, по грубости близкий к наждачной бумаге. История русского моделирования одежды преподнесла нам удивительный парадокс: полураздетая страна в солдатской шинели, донашивая старые армяки и дедовские картузы, на Международных конкурсах мод в Париже стала брать первые призы. В этом великая заслуга Надежды Петровны Ламановой!

Впрочем, не только ее — будем же справедливы.

В 20–30-е годы костюму придавали большое значение, и вокруг журнала мод СССР сплотились такие мастера кисти, как Кустодиев, Грабарь, Головин, Петров-Водкин, Экстер, Юон и скульптор Мухина; над проблемами покроя одежды работали даже некоторые писатели...

В таком окружении Ламановой было интересно дерзать!

Она стала ведущим художником-экспертом, создавая одежды для международных выставок. Слава о ней как о художнике костюма вышла далеко за пределы нашей страны, и Ламанову энергично переманивали к себе на «сладкое житие» Париж, Нью-Йорк, Лондон...

Но у нее, нуждавшейся и плохо одетой, никогда не возникало мысли оставить свое любимое отечество.

И она работала! Никогда не хватало времени.

Театр Вахтангова, театр Революции, театр Красной Армии — она успевала обшивать всех актеров. Она создавала костюмы для фильмов «Аэлита», «Александр Невский», «Цирк», «Поколение победителей». Но никогда не изменяла своей старой любви — к Станиславскому и его детищу МХАТу.

Сорок лет жизни она посвятила театру, на торжественном занавесе которого пролетает стремительная чеховская чайка.

Одна актриса наших дней вспоминала, что после спектакля Станиславский «вставал со своего режиссерского места и шел через весь зал навстречу Н.П. Ламановой и целовал ей руки, благодаря за блестящее выполнение костюмов. И тут же он говорил нам, молодежи, что Надежда Петровна Ламанова считает себя хорошей закройщицей, но на самом же деле она — великий художник костюма; как скульптор она знает анатомию и умеет великолепно приспособить тело актера к телу образа».

В бумагах Станиславского сохранилась трогательная запись: «Долгое сотрудничество с Н.П. Ламановой, давшее блестящие результаты, позволяет мне считать ее незаменимым, талантливым и почти единственным специалистом в области знания и создания театрального костюма».

Врачи посоветовали больному Станиславскому загородные прогулки на автомобиле по московским окрестностям. Медицинская сестра, сопровождая артиста, брала в дорогу шприц и камфору, а Станиславский приглашал в попутчики Надежду Петровну. Два старых друга, великий режиссер и великая закройщица, люди между-

народной славы, сидели рядом, и ветер от быстрой езды шевелил их седые пряди волос... Это была неизбежная старость, но осмысленная старость. Жизнь прожита, но прожита не как-нибудь, а с большой, хорошо осознанной пользой.

Надежда Петровна пережила своих друзей — она умерла восьмидесяти лет в октябре 1941 года, в грозном октябре той лютой години, когда, лязгая гусеницами танков, железная машина врага устремлялась к Москве, и смерть великой закройщицы осталась в ту пору почти незамеченной... Это понятно!

Мне могут возразить:

— А стоит ли так возвеличивать труд Ламановой? Ведь, по сути дела, что там ни говори, ну — закройщица, ну — модельерша, но все-таки, рассуждая по совести, просто она хорошая ремесленница. При чем здесь искусство?

А я отвечу на это:

— Что касается Ламановой, то это уже не ремесло — это искусство! Причем большое искусство... Одежды, вышедшие из ее рук, приняты на хранение в Государственный Эрмитаж как произведения искусства, как образцовые шедевры закройного дела...

...Искусству, оказывается, можно служить иглой и ниткой.

Желтухинская республика

Время действия — последняя треть XIX века...

Благовещенск! Если приезжий спрашивал:

— Простите, а кто такой у вас Базиль де Морден?

— Так это же наш Васька Мордасов, — объясняли ему, — только уже разбогатевший.

Благовещенск, одноэтажный и деревянный, поражал отчетливой планировкой прямых улиц, все его кварталы были точными квадратами.

В городе было две гимназии, 13 трактиров, 5 бань, 6 гостиниц, пивоваренный завод и школа коновалов (ветеринаров), а типография Благовещенска обладала двумя шрифтами — русским и маньчжурским, благо торгующего китайца на каждом углу встретишь:

— Твоя сюда ходи-ходи, моя твоя плодавай мало-мало...

О чем тут разговаривали? Ну, конечно, о картах: кто кого вчера обыграл, а кого и просто обжулили. Сообщались с миром по амурским волнам, котлы пароходов работали на дровах. Ходили слухи о создании Великой Сибирской магистрали. Грамотные объясняли за выпивкой безграмотным, что вагоны тащит паровоз, после чего люди непосвященные деликатно интересовались:

— А кто же тогда паровоз тащит?

— Как кто? Машинист! Ему за это большие деньги платят...

Но больше всего жители Благовещенска любили поговорить о золотишке. Неизвестно, кто был тот столичный мудрец, который позволил банкам Сибири скупать от населения золото, не задавать глупых вопросов — где взял, как твоя фамилия, покажи паспорт, откуда самородки? Золото так и поперло в казну российскую, а Васьки Мордасовы быстро превращались в Базилей де Морденов!

Гулять тоже умели. Являлся из тайги босяк с мешком за плечами, а в том мешке ничего путного — ничего, кроме чистого золота. Конечно, сразу нанимал солдата с барабаном, парня с гармошкой, а еврея со скрипкой. После чего гулял, выстилал улицы города голубым бархатом, а бабы плясали вокруг него и взмахивали платочками, взвизгивая от удовольствия. Обычно старатели являлись в

Благовещенск под осень, а весною, пропившись вдребезги, никому не нужные, снова нищие, они удалялись обратно в тайгу. Но редко кто из них возвращался: то ли тигр заел, то ли на хунхузов нарвался, то ли умер от голода в колодце своего глубокого шурфа, уже не в силах из него выбраться...

Но однажды на самой окраине подобрали человека-гиганта. Рубаха на нем заскорузла от крови, ноги торчали из рваных опорок, а сам он весь был заросший волосами, словно дикий.

— Кто ты? — спросили его ради порядка.

— Я — президент...

— Кто, кто, кто? Или ты спятил?

— Не смейтесь, — прохрипел бродяга. — Я действительно президент... первый президент Желтухинской республики.

Чтобы он поскорее очухался, влили в «президента» целый шкалик. Волоком потащили в городскую больницу. Выживет ли?

— Выживет, — рассуждали дорогой до больницы. — Гляди, какой вымахал! Нонеча таких людей на Руси не бывает. Эдакие-то великаны ишо при Ваньке Грозном по Москве с кистенями бегали...

Итак, «Желтухинская республика». .. не выдумка ли это?

Помню, я был еще начинающим писателем, и однажды ленинградский поэт Семен Бытовой решил «прощупать» мои знания. Спросил наугад о том о сем, потом вдруг задал вопрос:

— Валя, а Желтухинскую республику знаешь?

— Так, кое-что, но знаю.

— Откуда? — удивился он.

Я объяснил, что вычитал о ней в комментариях Василия Ивановича Семеновского к его истории нашей золотопромышленности.

— А писательницу Рашель Мироновну Хин знаешь?

— Слышал, что была такая, но не читал.

— Странно! Ведь ее никто не знает...

Я снова объяснил, что с именем Р.М. Хин встретился, когда занимался биографией Ивана Гавриловича Прыжова.

Семен Бытовой отозвал меня в сторону, шепнул:

— Как подступиться к этой загадке? По слухам, все материалы о Желтухе были в архиве Рашели Мироновны... в Харбине!

С тех пор прошло много лет, давно не стало и Семена Бытового, имя Р.М. Хин очень редко мелькает в нашей печати, а тайна Желтухинской республики остается за семью печатями. С великой робостью приступаю к этой теме, зная еще очень мало, и пусть меня дополнят те, кто знает больше меня...

Молоденькая княжна Юлия Павловна Голицына влюбилась не в заморского принца, а в купеческого сына Прокунина, который в деревне, что лежала близ усадьбы Голицыных, имел заводик по выделке купороса на продажу. Любовь оказалась обоюдной, а потомуки легендарного Гедемина, свободные от предрассудков, не стали мешать их счастью, и княжна сделалась купчихой.

Таково начало. Было у них четыре сына; трое из них купоросом не интересовались, люди тихие, они тянулись больше к искусствам. Зато вот четвертый, нареченный Павлом, родился сразу с зубами, во что я не очень-то верю. Но зато я верю, что для его персонального обслуживания наняли двух кормилиц, которые с утра до глубокой ночи едва успевали его молоком накачивать.

— И откуда такой взялся? Юленька, — говорил отец матери, — кого ты родила нам? Ведь он еще в нежном возрасте, а уже, послушай, свистеть стал — как Соловей-разбойник...

Подрос Паша и усвоил великое значение купороса.

Отвезли его в Москву, где учился он в пансионе Циммермана, а потом и в университете. Приятель его по учебе вспоминал: «Он был умен, энергичен и смел, в то же время добродушен, но... не всегда умел справляться со своими страстями и слабостями». Думаю, в последней фразе нет оттенка дурного. Павел Прокунин — еще в пансионе — уже отличался безумной храбростью (точнее: любил подраться). Когда по ночам с площади слышались вопли о помощи «Караул, грабят!», тогда ученики Циммермана храбро открывали форточки, крича в непроглядную темень:

— Сейчас идем... уже оделись. Только обуемся!

Но, посулив защиту, оставались дома, один лишь Паша Прокунин, даже полураздетый и босой, выбегал на площадь, и, сколько бы там ни было грабителей, он всех укладывал в один ряд, словно дровишки в поленницу, после чего разбойничьим посвистом созывал будочников и городских, говоря им:

— Нет, не дохлые... еще шевелятся. Тащите в участок!

Кулаки Прокунин имел во такие, каждый — что тыква...

Юнца влекли естественные науки, но, помня о купоросе, он возлюбил химию и в ее теории разбирался столь хорошо, что ему предложили остаться на кафедре университета, дабы готовиться к профессуре. Но молодой адъюнкт отказался:

— У меня там родители в деревне, с купороса кормятся, но завод-то их в убыток работает, вот и надобно мне вернуться, дабы помочь папеньке своим знанием химии.

Отца он застал вконец разоренным, но зато с золотой цепью на груди, гордого званием мирового судьи уезда.

— Ах, Паша, Пашенька, — сказал он сыну, — лучше бы ты в профессоры вышел да помог нам, старикам, от жалованья научного, а с этого купороса, будь он неладен, какая нам прибыль?

Прокунину казалось, что его сила и энергия, в сочетании с научным знанием химии, вытащат завод из кризиса. Целых пять лет он трудился в поте лица, но купорос все равно остался убыточен. Мать, уже потерявшая двух сыновей, тихо угасала, а одинокий старик отец тоже слег.

— Паша, — сказал он сыну в канун кончины, — бросай ты всю эту погань, сам видишь, что никакие кредиты уже не спасут...

Отец умер. Прокунин торопливо листал юридические книги, вчитывался в законы, искал выход уже не в химии, а в юридической казуистике, наконец, отложил судейские книги и признался:

— Выхода нет... это — к р а х!

Но, честный человек, он даже «крах» желал бы пережить так, чтобы никто не пострадал. Заводскую кассу оставил в полном ажуре, привел в порядок все отчеты по финансам завода, ничего из имущества себе не взял, чтобы контора сама расплатилась с кредиторами, и, сделав все это, Прокунин... и с ч е з. Где он, жив или мертв, куда делся — никто не знал...

Дальний Восток лежал еще впусе, никем не освоенный, а Россия еще не распознала многих тайн, что скрывали его сокровища. Русский народ в те времена кушал одну лишь рыбку — волжскую, а живущие на Амуре даже рыбу ловить ленились, покупая ее у китайцев. Нетронутые дебри поражали воображение. Виноградная лоза почти любовно обвивала смолистую пихту, пробковое дерево жило в обнимку с нежной русской березкой. Надменный тигр считал соболя своим добрым соседом, а белая сова, прилетевшая из тундры, с удивлением пучила глазищи на странного пришельца — японского ибиса. Это на земле, а что под землей — не догадывались.

— Здесь только копни, — рассуждали амурские поселенцы, — эвон, бродяги-то наши чего только из тайги не тащат...

О железной дороге в эти края только поговаривали, а на житье в Приамурье добирались кто как умел — месяцами. Паше Прокунину путешествие до Амура обошлось в стоимость золотых часов с цепочкою, что остались ему от папеньки. Так-то вот Амур-батюшка узрел на своих берегах странного и явно голодного человека. Подозревая в нем беглого каторжника, каких здесь было немало, его задержала полиция — кто таков?

— Я не беглый, не думайте обо мне плохо.

— Занятие какое у вас имеется?

— При случае могу быть и... адвокатом. Законы знаю.

С адвокатской практики не разбогател. Один лимон в Благовещенске стоил рубль. Присмотрелся молодой человек к тому, чем живы люди, и стало ему вдруг скучно.

— Нет, это не жизнь, — сказал Прокунин себе...

В его судьбе, уже переломленной, словно краюха хлеба, вдруг случился еще один перелом, самый существенный, — от единого лишь слова, произнесенного шепотом, словно секретный пароль для всех блуждающих и бесприютных (сейчас таких людей у нас называют «бомжами», а в старину называли «гулящими»).

Случилось это в трактире, где загулял золотоискатель, намывший в тайге золотишка больше, чем требуется одному человеку. Пользуясь всеобщим уважением пьяных, ибо он щедро оснащал их столы дармовою выпивкой, бродяга стал задевать Прокунина:

— А в ухо не хошь? Тады, давай, в глаз вдарю.

Прокунин взял его за ноги и, размотав над собой, словно прашу, выбросил в окно. Старатель, человек бывалый, даже не обиделся и, очухавшись после непредвиденного полета, на четвереньках, словно собака, вернулся в трактир.

— Выйдем, — просипел он. — Я к таким, что меня не испугались, завсегда с великим почтением. Выйдем. Сказать хочу. Я ведь вижу, что у тебя рупь в кармане остатний...

Небо над Благовещенском рассыпало чистые звезды.

— Хошь, я тебя богатеем сделаю? — последовал вопрос.

— Ничего не получится, братец. Впрочем... изволь.

Тут старатель огляделся по сторонам, чтобы их не подслушали, обнял Прокунина за шею, словно лучшего друга, прошептал:

— Даю тебе точный адрес — Ж е л т у х а...

Вернее — не Желтуха, а Желтуга, но желтые россыпи золота в этой реке невольно внесли осмысленную поправку. Эта речка-невеличка (один из многих притоков Амурского бассейна) протекала по земле Цинского Китая, в близком соседстве с Россией, а по-китайски она называлась «Жел-Тэ». Место было столь глухое и безлюдное, что без особой надобности туда даже охотники на тигров не забредали. Казачья станица Игнашино, расположенная неподалеку, еще на русской территории, была, пожалуй, единственным поселением, где жители знали, что такое Желтуха:

— Туда и с полком лейб-гвардии лучше не соваться. Кто туда ушел, тот человек пропащий. Редко кто живым выберется, да пока обратно до Благовещенска тащится, у него все отнимут. Чтoб они там все передохли скорее в этой Желтухе...

Страшен путь до Желтухи, не отмеченный крестами могил. В густой траве смрадно догнивали трупы убитых ради ограбления; на узкой, как жердочка, таежной тропе иногда встречались желтоглазые и немигающие тигры, которым следовало уступать дорогу, иначе разорвут. А загадочная символика зарубок на деревьях предупреждала не всех, а лишь посвященных, что здесь поставлены самострелы на

пушистого зверя — один неверный шаг, и стрела легко и беззвучно пронзала человека насквозь...

Павел Прокунин благополучно добрался до Желтухи.

Желтуха еще не была «республикой», а тайным лагерем бродяг и бездомных, которые жили где придется — даже в ямах, многие ночевали, уронив головы на болотные кочки. Вестимо, никто здесь не пересчитывал людей, но историки все-таки сошлись во мнении, что иногда Желтуха насчитывала до 15 000 человек, одни, припрятав золото, незаметно скрывались, другие, обнищавшие, прибывали. Чего никогда здесь не знали, так это национальной розни. Желтуха давала приют китайцам, маньчжурам, корейцам, были тут даже японцы и... русские, ибо без них нигде горох не молотят.

Сколько зарабатывал простолудин в России? — г р о ш и.

А на Желтухе, если тебе повезет, в один день намывали золота на 150–200 рублей. Старая истина: где золото, там и кровища. Нравы были таковы, что, ложась спать, никогда не знаешь — проснешься ли завтра? Вокруг лагеря старателей бродили подозрительные искатели женьшеня, больше смахивающие на хунхузов, шныряли в тайге неутомимые спиртоносы, таскавшие на спинах громадные бидоны с рисовой самогонкой. По вечерам, напившись этой ханжи, желтухинцы озверело убивали друг друга — в одиночку и скопом. Все ужасы американского Клондайка казались детской игрой по сравнению с теми нравами, что процветали на этой речушке...

Павел Прокунин, столь удачно сочетавший в себе буйную кровь Ильи Муромца с голубою кровью русской аристократии, очень скоро уяснил для себя самое главное и для всех нужное.

— Слушайте! — заявил он однажды. — Если Желтуха возникла между Россией и Китаем, неподвластная ни династии Романовых,

ни пекинским Цинам, то она — слушайте! — является независимым государством, в котором должен царить дух той самой паршивой демократии, что возведет нашу Желтуху в ранг самостоятельной республики... Так, сволочи, или не так?

Посмотрев на его кулачищи, многие сразу согласились.

— Моя-твоя говоли плавда! — кричали ему и китайцы.

Русские от своих восточных братьев не отставали.

— Всех — к едреней матери! — заявили они. — Своя башка на плечах, и пока, видит бог, ишо не шатается... Ты прав! На што нам царь или мандарины усатые? Мы сами с усами...

Прокунин напористо и властно высказал главное:

— Слушайте! Республика нуждается в законах, чтобы никакая гнида не выростала в гигантскую вошь, алчущую чужой крови. Таких — давить... Гляньте: как мы живем? Так жить нельзя. Надо выработать конституцию и законы, неукоснительное соблюдение коих обеспечит всем нам личную безопасность и процветание...

Известно, что в любом обществе, даже самом окаянном, всегда сыщутся разумные люди, склонные к порядку и добродетели.

— Молодец! — горланили они. — Давай нам республику!

Тут же была составлена бодрая конституция, единогласно был принят уголовный кодекс, состоявший из одного лишь пункта.

— Слушайте! — зычно провозгласил Прокунин. — За любое убийство, пьян ты был или трезв, за воровство, тайное или явное, за нанесение увечий в драке или при дележе — СМЕРТНАЯ КАЗНЬ...

Но уже назрел вопрос о главе молодого государства!

Образцово-показательный кулак, что бы там о нем ни говорили, всегда был и остается немаловажным фактором убеждения. Ознакомься с достоинствами прокунинского кулака на практике, боль-

шинство признало его юридическую правоту, выбрав Прокунина атаманом.

— А здесь не шайка! — возмутился Паша. — Здесь, сокрытое от взоров дипломатии, вырывает новое богатейшее государство, а по-сему меня устроит только звание «президента»...

Став таковым, Прокунин обрел и права диктатора, а спиртоносы отныне обходили Желтуху стороной, устраивая «питейные заведения» на болотах или под корягами буреломов. Но закон о смертной казни не оставался пустыми словами. Правда, расстрелов или виселиц на Желтухе не было. Все собирались «в круг», осужденный выходил в его середину. Следовал лишь один удар кулаком — и казненного тащили до первой ямы, а Прокунин спрашивал:

— Ну? Кому еще не нравится наша конституция?..

Петербург равнодушно воспринял известие о появлении какой-то дикой «республики». Зато китайскую императрицу Цыси сильно встревожило то, что золото, добытое на Желтухе, минует ее царственную шкатулку. В убогий шалаш Прокунина однажды проникли ее мандарины и, вежливо шипя, «потребовали выдачи им всего намытого золота и удаления (с Желтухи) сего общества. Желтухинцы не подчинились и, конечно, прогнали их». Тогда Цыси послала войска. Желтухинцы оказались вооружены гораздо лучше китайской армии, и войско Цыси бежало, теряя свои широкие шляпы и громадные щиты из рисовой соломы, что были разрисованы устрашающими драконами... После боя «республиканцы» рассуждали:

— Питер-то уж ладно, у них своих забот полон рот, а вот эта поганая старушенция из Пекина добром от нас не отстанет...

Настал 1886 год. Цыси через дипломатов договорилась с Петербургом о совместных действиях против «республики». Теперь с юга

ударил по ней регулярные войска Пекина, а со стороны севера, форсировав Амур на пароходах, двинулись русские. Желтухинские китайцы сражались ожесточеннее русских, ибо у тех была дорога к отступлению — обратно в Россию, а китайцев ожидала лютейшая участь. Они охотно, даже покорно сдавались в плен русским офицерам, а те, что попали в полон Цыси, были недалеко от границы обезглавлены. Русские же солдаты, разорив лагерь на Желтухе, всех пленных переправили на другой берег Амура, где им было сказано: «А теперь убирайтесь ко всем чертям». И все мигом разбежались в разные стороны...

Но Павел-то Прокунин понимал, что угрожает ему лично, как «президенту» самозванной «республики» на границах империи!

Окруженный верными людьми, он не сдался ни русским, ни китайцам, проломившись в непроходимые таяжные дебри. С ним была и казна Желтухи, составленная из подоходных налогов (мешок с золотым песком и ящик самородков). Прокунин не учел одного: за время своего «президентства» он заимел немало врагов, только и ждавших момента, чтобы с ним разделаться. Нападение совершилось ночью, когда все спали. Спросонья возникла страшная поножовщина, какую трудно себе представить. Прокунин работал кулачищами, круша черепа врагов, но его свалили выстрелами в упор, и, казалось, он больше никогда не встанет...

Но глаза вдруг приоткрылись. Но губы вдруг прошептали:

— Не бросьте меня... домой... в Россию...

Кое-как соорудили носилки, на которых Прокунин и лежал, впадая в беспамятство, а кормились в пути ягодами. Многие падали и умирали — от ран и голода. Наконец Прокунин остался один. Хватаясь за стволы деревьев, побрел далее, потом долго полз, как ящерица, и вот наконец перед ним блеснули спасительные волны

Амура. Китайский рыбак перевез его на другой берег, на самой окраине Прокунина заметили прохожие.

В больнице он пролежал больше двух месяцев. Выжил.

Миновал срок, и вдруг... Прокунина арестовали.

— За что? — возмутился он.

— Сам знаешь. Завод-то свой в Московской губернии бросил, а контора с кредиторами не рассчиталась... Банкрот, да еще злостный! Хотел подале от Москвы укрыться? Все едино нашли...

Жил тогда в Москве замечательный человек — Николай Васильевич Давыдов, опытный юрист, который в свое время снабдил Льва Толстого материалами для создания пьес «Власть тьмы» и «Живой труп», без его помощи не возник бы и роман «Воскресение». Давыдов был другом детства Паши Прокунина, ибо имение его родителей примыкало к владениям Голицыных, близ которого работал заводшко по выделке купороса.

Паша пропал, исчез, растворился — давным-давно.

Каково же было удивление Николая Васильевича, когда он узнал, что бежавший от кредиторов Прокунин вдруг объявился в Благовещенске и, арестованный, вскоре будет выслан на родину этапным порядком — для суда над ним. Встреча старых друзей состоялась в дешевой московской гостинице. Прокунин не встал с диванчика, только улыбнулся другу вымученной, виноватой улыбкой.

Расцеловались. Прокунин даже поплакал.

— Видишь, Коля, как обернулась судьба. Не свяжись я тогда с этим купоросом, может, и профессором стал бы.

«Мы долго сидели молча, — вспоминал Н. В. Давыдов. — Обоим вспомнилось счастливое детство, веселые, беззаботные годы студенчества...» Давыдов тоже всплакнул, спрашивая:

— Паша, как ты жил-то после Желтухи?

— Наверное... хорошо, — был ответ. — Не веришь? Напрасно. Служил даже бухгалтером, в Благовещенске меня уважали. И все пошло прахом, ибо пришлось внести крупный залог, чтобы не держали под стражей. Стыдно являться на Москве под конвоем...

Давыдов как юрист расспросил обстоятельства дела. Прокунин не скрывал от него, что исчез он сознательно, желая разбогатеть в дальних краях, чтобы вернуться в родные края другим человеком, желал он снова уйти в науку.

— Я ведь был уверен, что завод сам по себе расквитается с кредиторами, а теперь — после Желтухи мое имя стало частенько мелькать в газетах, один из кредиторов, с которым не расплатились как надо, по газетам и установил, что я живу и благоденствую в Благовещенске. Остальное тебе, Коля, известно. Для меня это удар, и боюсь, он станет для меня роковым.

— Я надеюсь, — утешал его Давыдов, — с твоей стороны было только банкротство, но не злостное, ибо ты бежал только при часах покойного отца, а уголовно наказуемого сокрытия имущества с твоей стороны не усматривается. Так и говори на суде, что обижать или обманывать кого-либо ты не хотел.

— Поверят ли? — жалко усмехнулся Прокунин.

— Должны, — убежденно произнес Давыдов...

Адвокат на суде доказал честность Прокунина:

— Когда от правосудия скрывается злостный банкрот, он прихватывает с собой что-то самое ценное, о других не думая. Однако мой подзащитный, хотя и признал свое банкротство, но юридически он остался непорочен, аки ангел небесный, ибо, скрываясь, господин Прокунин не взял ни копейки...

Давыдов оказался прав: суд оправдал Прокунина.

Но трагедия его жизни стала уже необратимой.

Чувство виноватости перед людьми не покидало Прокунина, и вскоре он отъехал обратно на Амур, — «уехал (по словам того же Давыдова), настроенный пассивно к настоящему и недоверчиво к будущему», говоря на прощание:

— Ах, если б оно у меня было, это будущее. Проклятый купорос, потом желтухинское золото выели мне всю душу. Ненавижу сам себя! Господи, как я был смешон, когда тропую тигров да хунхузов пробирался на Желтуху, мечтая иметь миллионы. А теперь я спрашиваю себя: з а ч е м?

Расставание на вокзале было очень печальным.

— Ты хоть напиши мне, как там... Ладно?

— Напишу, — обещал Прокунин, но Давыдов как-то сразу подумал, что писем от него ждать уже не следует.

Поезд тронулся. Осталось помахать шляпой.

...Прокунин скончался в Благовещенске летом 1896 года на сорок седьмом году жизни. Кое-где мелькнули краткие и маловыразительные некрологи, в которых журналисты старались выделить именно то, что покойный был президентом Желтухинской республики. Вряд ли кто из читателей понял их намеки:

— Желтухинская республика — это где такая?

Ужин у директора государственного банка

Евгений Иванович Ламанский, академик и глава Российского государственного банка, тайный советник, видный экономист империи, был женат на баронессе А. К. Левендаль — отвратной особе! Ученый финансист изнемогал от ее бестолковых притязаний на

проникновение в высший «бомонд» столицы. Александра Карловна страдала болезненной манией тщеславия: ей казалось, что их дом, дом директора государственного банка, должен стать обязательным средоточием политической и духовной жизни всего Петербурга. При этом сама она была неинтересна, неумна, малопривлекательна и нелюбима всеми...

— Эйген, — внушала она мужу в который раз, — пора нам снова устроить ужин. Ты должен пригласить всех послов и министров, а чтобы гости не заскучали, из итальянской оперы следует позвать и певцов... Как зовут этого тенора?

— Но ты же знаешь, душа моя, — трагически отвечал Ламанский, — чем заканчиваются все наши ужины!..

Ужины заканчивались оскорбительно для хозяев. Иноземные послы, аккредитованные при дворе Петербурга, обычно присылали к Ламанским своих секретарей. Министры тоже не являлись, и места их занимали в лучшем случае начальники канцелярий...

Однако же Александра Карловна была настырна в своих претензиях, и семейные ссоры обычно разрешались одним.

— Хорошо, душа моя, — уступал Ламанский жене. — Не вводи меня во грех, а уж в долги-то мы и сами влезем... Ладно, еще раз я накормлю секретарей посольств и напою чиновников особых поручений... пусть мерзавцы жрут! Пусть негодяи пьют! Пусть артисты — на мои кровные — услаждают их слух пением... Да, пусть!

Надо сказать, что дело происходило в царствование Александра III, который затворнически проживал в Гатчине, а послы месяцами не могли видеть его. Страдавшего запоями императора никакими клещами из Гатчины было не вытащить, и даже когда Джебевский

демонстрировал свою подводную лодку (одну из первых в России), даже тогда он погружался на дно... пруда в Гатчине!

Элемент неожиданности был внесен в обстоятельства ужина у Ламанских странным поведением послов двух враждующих стран. Франции и Германии!

Маркиз Луи Монтебелло позвал к себе первого секретаря.

— Бовинэ, — сказал он ему, показывая карточку от Ламанских. — Вы видите, любезный Бовинэ, эту бумажку?

— Увы, маркиз, — отвечал игривый секретарь. — Предчувствую, что мне снова предстоит замещать вас за столом в этом скучнейшем доме Петербурга и развлекать барышень Ламанских, уже давно высохших в неприятном для них девичестве.

Маркиз Монтебелло сказал:

— Нельзя так долго играть на одной струне. Столь часто я отказывал Ламанским, что отказать и ныне просто неловко. Я поеду к ним... На этот раз не вы, а я! Но, — продолжал посол, — вам тоже предстоит побывать у Ламанских. После моего отъезда из посольства вы явитесь к Ламанским, и пусть лицо у вас, мой милый Бовинэ, будет крайне озабоченно. Вы скажете при этом, что меня ждут безотлагательные дела... Таким образом, вечер не окажется потерянным безнадежно. Вам ясно?

Бравый прусский генерал Бернгард Вердер, представлявший в России кайзеровскую Германию, также получил от Ламанских (уже в который раз!) приглашение к ужину. Он взялся за колокольчик.

— Черт бы их всех побрал, — выругался он, — как будто мне так уж интересно сидеть под кадушкой с цветами и слушать разные дамские глупости. — На звон колокольчика явился

граф Рекс — первый секретарь германского посольства. — Вот что, — сказал ему Вердер, — ехать к Ламанским для меня... как давиться! Обычно давились за меня вы, граф. А теперь настала моя очередь. На этот раз поеду! Граф Рекс, слушайте меня внимательно... Через полчаса после моего отбытия к Ламанским явиться туда и вы, громко заявляя, что меня экстренно вызывают в Гатчину... Поняли?

Здесь неуместно излагать международную обстановку, но вкратце все-таки скажем. Существовал опасный для Франции Тройственный союз, и Парижу хотелось переключить альянс прусско-российский во франко-российский. Так что Гатчина с ее притихшим замком немало будоражила воображение дипломатов Европы, и хотя Александр III редко бывал трезвым, но его слова, произнесенные даже в пьяном состоянии, имели большой вес в политике мировых держав. Россия есть Россия — с ней всем следует считаться!

Хозяин и хозяйка встречали гостей внизу парадной лестницы. Свезенные (напрокат) из Ботанического сада душистые деревья источали приятные запахи. Под сурдинку играла музыка. Шуршали платья прекрасных дам. Хрустели панцирные манишки финансовых тузов. Заводчик Путилов беседовал о качествах шведской стали с фабрикантом Лесснером. Присутствовали литераторы «с дарованием» и женщины «со связями». Были здесь экс-министры и неминистры, которые надеялись стать ими в будущем... Наконец у подъезда всхрапнули кони, накрытые позлащенной сеткой, и госпожа Ламанская закатила глаза к потолку.

Даже не верилось: к ним прибыл сам посол Франции!

Вечер сразу обрел небывалую остроту и политическую пикантность, когда на лестнице показался и посол Германии — грубый

здоровяк Вердер... Вот он, этот вожделенный миг, когда дом Ламанских должен стать «пупом» духовной жизни Петербурга! Александру Карловну просто корежило от восторга... Франция и Германия — уже в их доме; прослышав об этом, быстро прикатил и посол Испании, граф де Вилла-Капсало, за ним и прочие. Ламанский был даже растерян, а жена пребывала в полной прострации. Но едва гости были проведены к столу, как явился граф Рекс и твердо, как солдат, отрапортовал, что посла ждут... в Гатчине!

— Где ждут меня? — умышленно переспросил Вердер.

Рекс повторил.

— Ага... — Вердер поднялся из-за стола, раскланялся со всеми и покатил к своей старой любовнице Поповой, у которой проводил все свои вечера.

Теперь взоры гостей обратились к послу Франции!

Монтебелло резко отодвинул бокал. Срочный вызов Вердера в Гатчину мог означать многое. Позор Седана еще не забыт в Париже, и... «Зачем? Зачем этот пруссак поехал в Гатчину?»

Но тут прибыл к Ламанским взволнованный, как хороший актер, секретарь посла Бовинэ и шепотом достаточно громким, чтобы его все слышали, сообщил, что экстренные дела призывают маркиза вернуться в посольство.

Монтебелло скомкал салфетку. Резко откланялся.

Он ушел в дурнейшем настроении...

И теперь уже никто у Ламанских не сомневался, что Европу ждут политические катаклизмы. Горизонт мирной жизни заволокло тучами войны. Финансовые тузы сорвались с кресел вслед за послами — надо срочно спасать свое состояние от краха! Дамы «со связями» окружили хозяина дома, прося его (как директора банка) сообщить им по секрету: какие бумаги выгоднее продать на бирже, а какие

скупить. Литераторы «с дарованием» слушали все, что говорилось, но, увы, не все понимали. Однако они что-то уже чиркали на своих манжетах карандашами, надеясь завтра же заработать трешку или пятерку в «Биржевых ведомостях»...

Когда же из итальянской труппы прибыли долгожданные певцы, они застали в громадном зале великолепный стол, а за столом — по-нурые — сидели в одиночестве супруги Ламанские.

— Концерта уже не надобно, — сказал хозяин артистам. — Вы видите этот стол, почти нетронутый. Если вам угодно, синьориты и синьоры, то распоряжайтесь им по своему усмотрению.

Итальянцы с веселым гамом, словно саранча, кинулись на этот роскошный стол, а госпожа Ламанская возрыдала!

Отозвав (согласно договоренности) посла Монтебелло из дома Ламанских, Бовинэ преспокойно направился в яхт-клуб, где и засел за бесконечной партией в «безик». Сюда же за полночь подкатил на тройке с бубенцами и граф Рекс. Два первых секретаря враждующих посольств никогда не дружили. Но на этот раз германский секретарь все же пересилил себя.

— Бовинэ! — окликнул он француза. — На два слова...

Он отвел его в сторонку и сказал ему:

— Не понимаю: отчего вы так спокойны? Хотя политика и разделяет нас, но коллегиально хочу предупредить: бросайте этот «безик» — ваше место сейчас в посольстве!

— Благодарю, — отвечал Бовинэ. — А... что случилось?

С таинственным видом граф Рекс прошептал:

— Будет лучше, если все остальное вы узнаете не от меня...

Бовинэ отправился на Французскую набережную, в дом госпожи Голенищевой-Кутузовой-Толстой, у которой маркиз Монтебелло

любил проводить не только вечера, но и ночи. Однако посла здесь сегодня не оказалось, а хозяйка дома была встревожена:

— По столице блуждают какие-то странные слухи. Мой муж сказал, что не вернется ночевать, пока не выяснит: в чем дело? Мужа нет... маркиза нет... я всех и вся подозреваю!

Французское посольство было ярко освещено огнями, внутри него все, начиная от швейцара, были взбудоражены, взвинчены.

— А-а, вот и вы! — сказал Монтебелло, завидев секретаря. — Где вы крутитесь, когда настал момент действовать?

— Я не понимаю: что произошло, маркиз!

— Ужасное! Этот берлинский громила Вердер вызван в Гатчину. Мы здесь дрожим от страха: вдруг завтра последует колебание курса петербургского кабинета. Наконец, если учесть последнюю фанфаронаду Бисмарка, допущенную им в отношении Эльзаса и Лотарингии, то... Вы же понимаете, Бовинэ!

Всю ночь работал телеграф. С берегов Невы летели молнии секретных депеш — в Берлин, в Париж и далее, по всему миру.

Что-то стряслось, но... ч т о? Ах, знать бы.

Под утро невыспавшийся Ламанский навестил министра финансов.

— Положение неясно, — сказал он, — и надо придержать рубль. На случай войны я закрываю депозит. При шаткости акциза нам грозят потрясения финансовых извращений... Мне страшно!

Министр иностранных дел, Николай Карлович Гирс, явный германофил и враг Франции, был труслив как заяц. В это утро у него решений не было. Впрочем, не он первый, не он последний, кто в подобных обстоятельствах прибегал к помощи барона Жомини. И сейчас Гирс тоже велел заложить свою карету:

— Для Александра Генриховича... как можно скорее!

Барон А. Г. Жомини уже привык быть правой рукой всех министров иностранных дел. Министрам было невыгодно, чтобы в обществе знали об этом Жомини, который вершит их делами. Несравненный стилист, Жомини целых полвека блестяще редактировал все политические документы России... Сейчас он, румяный и почтенный старец, предстал перед Гирсом, и тот поведал ему о сомнительных конъюнктурах. Жомини растряс в руке парижский платок, расшитый картою Европы (что весьма удобно для путешественников), и отвечал:

— Сначала профильтруем обстановку через выжидание...

Гирс всё же выехал в Гатчину, но императора во дворце не застал. Выбираясь из крепчайшего запоя, Александр III с начальником своей охраны, генералом Черевиным, удил рыбку в мутных прудах. В высоких драгунских сапогах с блямбами, стоя по колено в воде, он нехорошо смотрел на подходящего с поклонами министра.

— Жомини да Жомини, а об водке ни полслова... Петя! — повернулся он к Черевину. — Полчаса уже прошло... плесни-ка!

Черевин преподнес ему гвардейский «тычок» (без закуски).

Император выпил, озирая кусты — не подсматривает ли там жена? — и после этого хмуро заметил Гирсу:

— Ну что у вас там? Опять разные гадости?

Гирс, стоя на берегу, поведал о неясностях в политике. Император насадил на крючок свежего червяка, закинул удочку.

— Ерунда, — отвечал басом. — Когда русский император изволит ловить рыбу, тогда Европа может и подождать.

Гирс успокоился: «Жомини прав... подождем!»

После бессонной ночи маркиз Монтебелло принял решение.

Италия — в дружбе с Германией, а значит, она враждебна к Франции. Однако посол итальянский, барон Марокетти, был другом детства самого Монтебелло... «Неужели дружба ничего не значит по сравнению с дурацкой политикой?»

Он застал Марокетти еще в постели и начал так:

— Мой дорогой Марок, политика разделила наши страны, но она не властна разделить наши верные сердца. Взываю к твоей совести! Сознайся: что тебе известно из германского посольства о целях визита посла Вердера в Гатчину?

Марокетти до утра ужинал в обществе девиц с «Минерашек», было много брызг шампанского и разных прочих брызг...

— Клянусь, — отвечал он, держа на голове полотенце, — что германское посольство меня ни о чем не оповещало.

— Допустим! — Монтебелло нервно поднялся из кресла. — Я не требую от тебя раскрытия тайны вашего союза. Но по дружбе старой дай мне хотя бы намек на обстоятельства. Я догадаюсь сам!

Марокетти твердо стоял на своем:

— Луи, уверяю тебя, что ничего не знаю. Но теперь я, — и он сбросил с головы полотенце, — обязан выяснить, что немцы от меня скрыли... Ты мне задал, дружище, задачу!

— Вот, вот... — мстительно произнес с порога Монтебелло. — Теперь вы, итальянцы, на своей шкуре убедитесь в коварстве и вероломстве своих прусских союзников... Прощай, Марок!

Марокетти, отпив зельтерской, велел закладывать карету:

— И подавайте ее сразу же к подъезду...

Тройственный союз, конечно, не может быть прочен, если германцы творят политику тайком от Рима. Посол прыгал на пышных диванах кареты, колеса которой отчаянно дребезжали по булыжникам

петербургских мостовых. С другой стороны, как заставить Вердера проговориться? Если спросить напрямик, зачем он ездил в Гатчину, тогда он велит подать в кабинет крепкий мюншенер и ничего толком не ответит... Германское посольство с утра было уже на ногах, и по оживлению среди чиновников Марокетти догадался, что тут не все в порядке. Выходит, что Монтебелло прав!

— Я заехал на одну минуту и не задержу тебя, — сказал посол Рима, входя в кабинет посла берлинского.

— Даже прошу тебя не утруждать меня сегодня, — ответил ему Вердер, озабоченный. — У нас возникли неожиданные дела...

На письменном столе Вердера стоял фотопортрет Александра III, и находчивый Марокетти вдруг восхитился им:

— Ах, какой великолепный мастер этот художник Левицкий, как он дивно выполняет фотографии с людей... Кстати, друг мой, а ты давно ли видел русского императора?

Вердер наморщил лоб, тужась вспомнить:

— Давно... забыл когда!

— А как давно? — выпытывал Марокетти.

— Ну, если желаешь знать точно, то... граф Рекс! — Моментально предстал граф Рекс. — Дай-ка сюда календарь моих поездок в Гатчину. — Педантичный пруссак по календарю точно определил: — Со времени моего последнего свидания с русским императором прошло, милый Марок, пять месяцев и четыре дня...

Марокетти с улыбкой поднялся:

— Если так, то напрасна вся эта суматоха из-за твоего неожиданного вызова в Гатчину от Ламанских.

Вердер чистосердечно признался союзному послу, что терпеть не может бывать у директора Российского государственного банка.

— Но, — сказал он, не скрывая тревоги, — Берлин сейчас озачобен другим! После того как я ушел от Ламанских, туда явился пройдоха Бовинэ и, удивительно взволнованный, отозвал из гостей посла Монтебелло. Теперь мы здесь ломаем головы: чего можно ожидать от французских каверз? А канцлер торопит выяснить...

Марокетти уже спешил к дверям — со смехом:

— Я все понял! Но ты подумай сам: может, и Монтебелло, как и ты, тоже не любит бывать у Ламанских?

Все эти дни Российский государственный банк лихорадило от политических неясностей. Как и следовало ожидать, в игре на бирже многие неслыханно обогатились. Но были и вконец разоренные. Ламанский испытал на себе это судорожное дерганье финансов империи, на которой невольно отражались политические конвульсии Европы!

Директор государственного банка устал от этих передраг. Раздраженный, он возвращался вечером со службы... Дома сразу прошел в гостиную, где в чопорном ожидании застыли возле стола жена с дочерьми. Царило неловкое молчание. Судя по всему, Александра Карловна готовила для мужа какую-то одну «убийственную» фразу.

Ламанский поспешил предупредить ее:

— Я устал и сегодня лягу пораньше...

В спину ему прозвучал от стола голос жены:

— Эйген, скажи: мы еще долго будем так жить и мучиться?

Уже в спальне Ламанский с неприязнью сказал супруге:

— Отныне никаких ужинов в своем доме я не потерплю. Хватит!

С меня довольно... Спокойной вам ночи, сударыня...

И щипцами он загасил дымящий фитиль свечи.

Тучи над Европою постепенно рассеивались.

Шарман, шарман, шарман!

Литератору ставится в заслугу, если он поднимает признанных народом героев прошлого. Это, конечно, справедливо. Но история государства, к сожалению, не слагается лишь из подвигов замечательных патриотов. В историю вкраплены и такие лица, которые ничем путным себя не заявили. Однако история не будет полной, если этих «трутней» не касаться. Жизнь прошлого надо давать двум сторонам, обращая ее перед читателем, как медаль. Вот парадная ее сторона — аверс, теперь медаль перевернем — реверс!

После «генерала-метеора» Котляревского, после Кульнева и Перовского — для контраста! — любопытно обрисовать и облик «генерала-шарманщика». Человек, о котором пойдет речь, не способен вызвать нашего восхищения. Но даже презрения он не заслуживает. Пишешь вот о таком и невольно теряешься, порою не зная, к а к следует к нему относиться. Ведь он не злодей, в жизни никому зла не сделал!

Для начала кладу перед собою его портрет. Он глядит на меня — благообразный, упитанный сливками и шампанским, красивый, представительный человек — мужчина. Взгляд ласковый, мироточащий. Сразу видно: этот господин всем в жизни доволен. Внешне он производит очень приятное впечатление. Но я-то как историк отлично извещен, что это не человек — тля... Поразительно, как из ничтожества тля выросла до размеров непомерного величия. В таких случаях следует искать первый день — зацепку за те обстоятельства, которые выдвинули человека. И я нашел этот день!

Весною 1873 года по Невскому проспекту ехали в экипаже две титулованные дамы столичного света. Напротив Морской в их экипаж врезалась с разбегу коляска, в которой сидел юнкер. Молодой,

здоровый, красивый и лыка не вязавший. Кучера экипажа, не долго думая, он трахнул кулаком между глаз. А когда дамы возмутились, юнкер покрыл их такой бранью, какую можно услышать только на конюшне кавалерийского полка (да и то в провинции!).

Женщины пожаловались. Виновника обнаружили. В свое оправдание юнкер сказал, что он не совсем виноват, ибо с полудни до четырех плотно завтракал и что было с ним дальше — не помнит... Звали юнкера — Александр Николаевич Николаев, он был сыном захудалого исправника Тульской губернии.

Боже, что стало с этим юнкером потом, как его разнесло!

Великий скрипач Паганини, говорят, мог заставить слушателей рыдать, играя только на одной струне. Николаев сделал карьеру на одном лишь слове, которое он знал из всего французского языка, и прожил не хуже, а даже намного лучше Паганини... Когда обстоятельства требовали от Николаева выявления чувства, он умело пользовался этим одним словом, придавая ему различные оттенки:

— Шарман... шарман, шарман! — восклицал он.

Княгиня Нелли Бярятинская после того, как ее бросил знаменитый итальянский тенор, возжаждала именно Николаева. Иногда так бывает, что после тонкой гастрономии тянет на кашу со свинными шкварками. «Шарманируя» и дальше, Николаев проник ко двору великой княгини Марии Павловны и вскоре стал ее любовником. Таким образом, судьбу свою он уже «зашарманил»! Полно стало друзей-приятелей. Надо ехать в Новую Деревню к цыганам — зовут Николаева. Требуется срочно распить ящик шампанского — опять без него не обойтись. Одну истину крепко уразумел Николаев — ласковый теленок всех маток пересосет. И потому никому и никогда

ни о ком не сказал дурного слова. Всегда ровный, приветливый, в хорошем настроении, он уже становился душой общества.

Никаких мыслей! Никаких чувств! Никаких тревог!

— Шарман, шарман... — и этого вполне довольно.

Петербург смеялся над его бескультурьем — Николаев не обращал на это внимания. Казалось, ничто не выведет его из равновесия. Жизнь его катилась как по маслу, никого не задевая, никого не оскорбляя. Есть карьеристы, которые, достигнув чинов, начинают тиранствовать, преследовать врагов, затевают реформы. Совсем не то Николаев — он жил только сегодняшним днем, и сыт и пьян...

Тогда попасть в Яхт-клуб было так же невозможно, как во времена пушкинские стать членом клуба Английского. Но для Николаева любая щель расширялась до размеров арки: он проник и в Яхт-клуб. Стал здесь «винтить», и ему повезло: разбогател на картах, даже сам, наверное, особенно того не желая. Самые влиятельные люди империи проводили свои вечера в Яхт-клубе, и Николаева они приметили. Скоро в Петербурге стало правилом хорошего тона иметь в своем доме на ужине Сашу Николаева. Среди столпов министерств, среди лысин сенаторов, манишек дипломатов и обнаженных плечей дам теперь частенько слышалось восхищенное:

— Шарман, шарман, шарман!

Николаевым стали угощать гостей. Уже не звали зимой на фиалки, привезенные из Ниццы ночным экспрессом, не приглашали на свежего угря из Пруссии: «Сегодня у нас будет Николаев... мы вас ждем!» Николаев не притворялся оригинальным, не старался умничать. У него хватало ума, чтобы подавать себя к столу таким, какой он есть, — именно в этом заключался секрет его успеха. Обычно люди выдвигаются талантами. Это одна крайность. Николаев понял,

что существует крайность и другая — полное отсутствие каких бы то ни было способностей. Если другие вылезают на талантах, то почему бы ему не выдвинуться на своей бездарности?

Неужели этот человек разгадал дух своего времени?

Безжалостно он опивал и объедал своих поклонников. А жизнь неслась яркой и пестрой каруселью — обеды, ужины, танцы, манежи, конкуры, балеты, парады, — везде Николаев обязательен, всегда с сигарой во рту, всегда полупьян, всегда благополучен, ко всем он хорош, и все к нему хороши... Еще бы не жить!

— Шарман, шарман, шарман...

Рассчитывал получить флигель-адъютантство, но царь дал ему в командование Драгунский полк, квартировавший в Ковно. Полтора года он нудил из Литвы, что ему здесь тошно. Служить он не хотел — он хотел б ы т ь... В день полкового праздника в Зимнем дворце его выручила старая пассия, великая княгиня Мария Павловна, которая подвела Николаева к императрице:

— Алиса, вот тебе на сегодня кавалер... самый лучший!

Он потанцевал с императрицей чопорный котильон, и Николай II протянул ему ладонь, сложенную узкой дощечкой:

— Я рад оказать вам честь, назначая вас в свою свиту...

А полк Драгунский в Ковно — да пропади он пропадом!

1896 год застал его шефом российских кавалергардов.

Что такое Кавалергардский полк — объяснить не надо. Устав здесь заменяли традициями. Полк вбирал в свои ряды самую белую кость, самую голубую кровь. Кстати, многие кавалергарды были высокообразованными людьми, придя в полк после окончания университета. Именно этот полк и отдали под команду безграмотному «шарманщику». Кавалергард Григорий Чертков,

самый культурный человек в полку, точно определил назначение Николаева:

— Совокупность отрицательных качеств, оказывается, способна давать положительный результат...

В конюшнях полка — своя особая жизнь, свои манеры, свой жаргон. Здесь бытует древняя гусарская истина: «Бойся женщину спереди, а кобылу сзади!» В чистых стойлах, помахивая хвостами, стоят кони — Лилиан, Глява, Мисс, Руетка, Автор, Бокал, Вандимер, Сатрап и Авиатор. Хвосты у них подрезаны, на лбах красуются грациозные челки... Разговоры здесь больше такие:

- Фа-фа! Ну и суставы... Сколько платил за жеребца?
- Три «архиерея». Ставлю его на свои гарнцы.
- Брок в колене рассосался. Экспресс, а не кобыла!
- Мой вчера вынес перед лавой, но закинулся на канаве.
- А где красавица Миссюсь?
- Сломала бабку в жестоком посыле. Ее пристрелили...

Пьянства здесь нет. Но выпивают с особым шиком. На одну бутылку шампанского отводится шесть глотков. Если прикончил бутылку на седьмом — не поможет университетский значок, плохой ты кавалергард. В этом полку Николаев ничего не делал. За него трудились другие. Он только б ы л... Под началом Николаева тогда служил граф А. А. Игнатьев, автор книги «50 лет в строю», в которой несколько страниц он отвел и для своего шефа.

Своим хозяйством Николаев не обзаводился, а удобно проживал в чужих дворцах и дачах, где ел и пил за чужой счет. Он жил так широко, будто имел в год по меньшей мере двести тысяч дохода... Одна дама, близко знавшая Николаева, пишет о нем, что этот человек, хотя и зла никому не причинил, но и добра от него на копейку не видели. За всю свою жизнь никому не поднес даже грошового

цветка. Никого ни разу не посадил за свой стол. Получая множество приглашений, он отпраплялся в тот дом, где ему бывать выгоднее. Это был настоящий трутень... Не вор, но хуже вора!

Незадолго до революции он умирал от рака. Но и здесь судьба улыбнулась ему. Он скончался без сознания, не испытывая никаких мучений. Похороны Николаева вылились в придворную демонстрацию. Царская фамилия горько оплакивала смерть его, словно Россия потеряла великого полководца. Вся знать столицы и полки лейб-гвардии шли за гробом, утопающим в цветах. Если бы Николаев мог встать из гроба, он наверняка бы сказал вполне довольный:

— Шарман, шарман, шарман!

Россию трудно удивить фаворитизмом — баловни судьбы всегда оживляли хмурые российские горизонты. Но если перебрать всю череду куртизанов, то Николаев в ней займет особое место. В самом деле, каждый фаворит чем-то резко выделялся. Умственно или физически. Жадностью или щедростью. Добротой или свирепостью. Среди них попадались и люди государственного размаха — такие, как Потемкин-Таврический, как братья Орловы...

Николаев же выделился именно за то, что ничем не выделялся!

И, наконец, последнее... А был ли глуп Николаев?

Может, он, напротив, под личиною беззаботной простоватости скрывал свой расчетливый карьеризм. Ведь на распаде устоев империи, на полном разложении самодержавия — он понимал это! — таким, как он, только и жить, восклицая одно:

— Шарман, шарман, шарман!..

Великолепно прожил стервец — ничего не скажешь.

Быть главным на ярмарке

Прочитывая переписку Максима Горького с молодой женою, я встретил его письмо в Самару из Нижнего Новгорода, где губернаторствовал Николай Михайлович Баранов: «Он — премилый, вежливый и очень разговорчивый; беседовали мы часа полтора... И все они (губернаторы) очень любезны с представителями печати, что вполне естественно. Они наделали массу промахов и ерунды и побаиваются газет. Несмотря на их крупное значение — все они довольно-таки мелкие люди и скоро надоедают...»

Это было сказано о Баранове летом 1896 года, когда Горький описывал чудеса Нижегородской ярмарки для газеты «Одесские новости». Мне давно хотелось рассказать об этом человеке, а отзыв о нем нашего великого писателя лишь заставил вспомнить забытое, но очень громкое дело, после которого имя Н. М. Баранова прогремело на всю Россию.

Шла война за освобождение болгар от турецкого господства. Николай Михайлович в возрасте 33 лет стал командиром пассажирского парохода «Веста», на который посадили военную команду, а палубу оснастили пушчонками. В июле 1877 года «Веста» случайно нарвалась на грозный броненосец османов «Фетхи-Буленд». Это случилось неподалеку от Кюстенджи, нынешнего порта Констанца. Понятно, броненосцу пароходик опасен в той же степени, в какой опасен мышонок, оказавшийся под пятою слона... Николай Михайлович распорядился:

— Погибаем, но не сдаемся... полный вперед!

Мощная машина султана пять часов гналась за ним, обкладывая его чушками могучих снарядов. На «Весте» все разрушалось и пыла-

ло: мертвецы вповалку лежали среди раненых, но пароход героически сражался, и наконец Баранов принял решение:

— Осталось последнее: свалиться с противником на бордаж! Где бессильны пушки, там спор решат ружья, ножи и зубы...

Но именно в этот момент русские комендоры удачно вклепили во врага снаряд, броненосец загорелся, и, сильно дымя, «слон» побежал прочь от «мышонка». После боя Баранов рапортовал: «Как честный человек могу сказать одно, что, кроме меня, исполнившего офицерский долг, остальные заслуживают удивления их героизму». В ответе командования флотом было начертано: «Честь русского имени и честь нашего флота поддержана вполне. Неприятель, имевший мощную броню, сильную артиллерию, превосходство в машинах, был вынужден постыдно бежать от слабого парохода... сильного только героизмом командира, офицеров и его команды!» Из пламени войны Баранов вынес орден Св. Георгия 4-й степени и эполеты капитана 1-го ранга, грудь его украсил золотой жгут флигель-адъютантского аксельбанта. Весь мир ему улыбался...

Казалось, его ожидала скорая карьера адмирала!

Трудно писать о человеке, образ которого двойствен. Мы слишком привыкли видеть героя обязательно положительным. Наивны требования редакторов, чтобы автор делил свои персонажи на хороших и отрицательных. Как быть, если в замечательном человеке находишь гадостные черты и, напротив, дурной человек вдруг оказывается способен на свершение благородных поступков? Я раскрыл XII том «Архива М. Горького», где встретил такую сентенцию: «Человек без недостатков совершенно непонятен, даже больше — неприятен, уродлив, он просто нелеп». Максим Горький понимал, что нельзя красить своих героев только дежурными красками — черной или белой...

После войны Баранов наслаждался славой, и вдруг в печати появилась злая статья Зиновия Рождественского (будущего «героя» Цусимы), обвинявшего Баранова в том, что его реплика о бое с «Фетхи-Булендом» чересчур эффектна, но зато далека от истины. Николай Михайлович, оскорбленный этим выпадом, потребовал суда чести, и суд решил, что результаты сражения с броненосцем преувеличены, а каперангу Баранову лучше всего побыть в отставке, подальше от флота.

Баранов, пылая праведным гневом, взялся писать хлесткие статьи, обличая высшее командование флота в глупости. А генерал-адмиралом флота империи в ту пору был великий князь Константин Николаевич, которому тоже досталось от критика. Однажды они встретились, и генерал-адмирал соизволил орать:

— Такие статьи, каковы ваши пасквили, может сочинять только негодяй и подлец, но никак не офицер русского флота! Вы начали карьеру с начальника Морского музея и лейтенанта, а закончите ее адмиралом на барже для слива фановых нечистот в водах «Маркизовой лужи». .. Тоже мне, Белинский нашелся!

На это Баранов с поклоном отвечал:

— Ваше высочество, на оскорбления я не отвечаю только шансонеткам из «Минерашек» или членам царствующего дома Романовых, прощая им любую глупость...

Его спасла «бархатная диктатура» Лорис-Меликова, который опального каперанга переименовал в полковника. Вчерашний герой занял пост ковенского губернатора. Казалось, чего еще желать бывшему командиру парохода, поскандалившему с высоким начальством? Но Баранов терпеливо выжидал перемен.

— Не знаю, что будет, — говорил он, — но что-нибудь случится, и тогда я снова разведу пары в остывших котлах...

1 марта 1881 года народовольцы взорвали Александра II бомбой, а новый царь Александр III вызвал Баранова в столицу:

— Мне нужны энергичные, brave люди, обожающие риск! Я с семьей укроюсь в Гатчине, а вам вручаю градоначальство в столице, дабы в Санкт-Петербурге вы навели порядок...

«Гатчинский затворник» дал ему большую волю, но Баранов не знал, что ему с этой волей делать. В обществе судачили: мол, такого царя еще не бывало, чтобы сидел взаперти.

— Это Баранов его застрашал! Теперь царь занял комнатенки с такими низкими потолками, что все время бьется головой в потолок, получая шишки, а царица даже не знает, где в замке сыскать место, чтобы поставить пианино... Вот и дожили!

Конечно, не Баранов загнал царя на антресоли Гатчинского замка, где со времен Наполеоновских войн сваливали трухлявую мебель, — император сам выискал себе нору, чтобы прятаться от народовольцев. Но Баранов тоже был немало растерян, совершая выверты, именуемые в газетах «буффонадами». Поймав человека, упорно не желавшего называть себя, он выставлял его напоказ, словно шимпанзе в клетке, предлагал прохожим угадать его имя; угадавший сразу получал десять рублей, при этом гарнизонный оркестр исполнял бравурный «Марш Черномора» из оперы Глинки. В дневнике очевидца записано: «Какой-то мужик на Невском показывал кулак, его схватили, думая, что он угрожает начальству. Одну даму тоже забрали, ибо она махала платком, как бы сигнала. При обыске у нее обнаружили сразу четыре колоды карт. Оказалось, это гадалка...»

Баранов жаловался, что служить ему трудно:

— Нелегко наводить в столице должное благочиние. Стоило мне опечатать кабаки, как повадились шляться по аптекам, где сосут вся-

кую отраву. Генерал Петя Черевин, лично ответственный за жизнь царя, с утра пьян хуже сапожника. «Где ты успел нализаться?» — спросил государь, увидев Петю лежащим на лужайке Гатчинского парка. «В е з д е, ваше императорское величество», — был честный ответ честного человека...

Наконец Баранов решил обратиться к «обществу».

— Для борьбы с крамолою, — утверждал он, — надобно объединить благомыслящие элементы столицы, дабы эти ячейки послужили для создания будущего народного... парламента.

Только он это сказал, как на бирже сразу возникла паника, вызванная резким падением курса рубля. Министр финансов Абаза кричал, что стране угрожает экономический кризис:

— Прав Салтыков-Щедрин, писавший: «Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду». Все у нас в России уже бывало, вот только парламентом нас еще не пугали...

Преисполненный энергии, Баранов сплывал в тесные ряды домовладельцев, обучая их строгостям паспортного режима, а квартирантов призывал сплотиться под знаменем «домовых советов» для слежения за порядком. При градоначальстве возник особый «Совет 25-ти», в котором сам Баранов и председательствовал. На собраниях обсуждали вопрос о политическом воспитании швейцаров, о повышении морального облика дворников, вполне свободно дискутировали о секрете квартирных замков, еще не разгаданных взломщиками. Теперь из канцелярии Баранова выходили резолюции, подписанные двояко, и выглядели они так:

СОВЕТ ДВАДЦАТИ ПЯТИ БАРАНОВ

Барановская «демократия» была высмеяна публикой:

— Живем теперь — словно в Англии! Дождались парламента, только он бараний, а президентом в нем главный баран...

Смех убивает. Убил он и Баранова, настроившего столичное общество на юмористический лад, когда царю было не до смеха. Он спровадил Баранова в Архангельск — губернатором, а в 1883 году переместил в Нижний Новгород...

Максим Горький в ту пору еще месил тесто для кренделей в пекарне, мечтая быть студентом Казанского университета. А нижегородские семинаристы расклеивали на заборах прокламации: «Желающие получить по шее приглашаются вечером на пустырь, угол Гончарного и Поповой. Плата за услугу — по соглашению, но никак не ниже полбутылки водки». Городовые, свирепо матерясь, шашками соскабливали с заборов подобные воззвания.

— Нигилисты! Драть бы их всех... да мы кажинный денечек даем человечеству по шеям, а нам полбутылки не ставит никто.

Быть владыкой в Нижнем — честь великая, ибо город прославил себя ярмарками, во время которых губернатор становился генерал-губернатором, судящим и карающим. Нижегородская ярмарка имела тогда выручку в 243 миллиона рублей. Близ таких денег быть бедным, наверное, нельзя, однако Николай Михайлович — признаем за истину! — оставался кристально честен.

Ярмарка делала волжскую столицу городом многоязычным, театрально-зрелищным. Речь заезжего француза перемежалась с говором индусов и персов, иные купцы знали по три-четыре языка, на ярмарочный сезон из Парижа наезжали дивные «этуали» в легкомысленных платьях, а в Кунавинской слободе, среди канав и куч

мусора, громоздились дешевые притоны. До утра не смолкал пьяный гомон, осипшие арфистки пели похабные куплеты, а потом ходили с тарелками меж столиков, собирая выручку.

— Всех... р а с ш и б у! — обещал Баранов.

Конечно, как бывалый моряк, он строго следил за навигацией на Волге, жестоко преследуя капитанов за аварии. Лоцманов же за посадку на мель лупил прямо в ухо — бац, бац, бац:

— Ты куда смотрел? Или берегов не видел?

— Не было берегов, ваше прево...

— Так не в океане же ты плавал.

— Ей-ей, меня к берегу так и прижимало.

— А! Кабак увидел на берегу, вот тебя и прижало...

Два kota в одном мешке не уживутся, как не ужились Баранов и губернский жандарм генерал И. Н. Познанский (тот самый, что позже допрашивал Максима Горького). Это был законченный морфинист. Горькому он казался «заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять». Познанский активно строчил доносы на Баранова, подозревая его в «крамоле», а Баранов доносил на Познанского, обвиняя его в тихом помешательстве. Познанский и впрямь был помешан на явлениях гальванизма. С помощью ассистентов-жандармов он ставил публичные опыты по электричеству, весь опутанный проводами, и при этом кричал зрителям:

— Бьет меня... спасу нет, как колотит! К чему теперь пытаться человека, если он сам скажет под страхом тока?..

Баранов придерживался старинных методов, доверяя своему кулаку более, чем достижениям технического прогресса.

— Не могу иначе! — оправдывался он. — Меня этот жандарм Игнашка до того насытил токами, что я уже перенасыщен электри-

чеством, как лейденская банка, и в случае чего — моментально разряжаю свою энергию посредством удара кулаком в ухо...

Власий Дорошевич, работавший в ярмарочной газете «Нижегородская Почта», закрепил за Барановым термин: электрический губернатор! Под надзором полиции в Нижнем тогда проживал В.Г. Короленко, и Познанский видел в писателе врага. Баранов же, напротив, отстаивал Короленко перед жандармами: «Вражду генерала Познанского и Короленко, — докладывал он в Петербург, — надо объяснять не опасностью Короленко, а остротой его сарказмов», нацеленных лично в генерала-морфиниста.

Владимир Галактионович с юмором говорил Познанскому:

— Игнатий Николаевич, я не против надзора, но после ваших визитов у меня из буфета пропадают вилки и подстаканники, которые потом фигурируют в опытах по гальванизму...

Короленко, человек умный, делил Баранова как бы на двух Барановых: первый был даже приятен ему, как человек острого ума и активный администратор, а второй был самодуром, которого он безжалостно осуждал. Но Баранову хватало ума не обижаться, читая в газетах статьи Короленко, наносившего язвительные удары по его самолюбию. «Баранов, — сообщал один современник, — проглатывал пилюлю за пилюлей не без пользы для себя, а главное — для населения...»

Достаточно начудив в столице, Баранов переживал, что в его карьере наступил застой, впереди не виделось никакого продвижения по службе. «Орел!» — отзывались о нем местные дебоширы и сынки купцов-миллионеров, уже не раз высеченные губернатором, а Короленко точно определил, что Баранов изнывал от безделья: «По временам он издавал яркие приказы, публично сек на ярмарке смутьянов, приглашая присутствовать на экзекуциях корреспондентов».

тов...» Всю пишущую братию Николай Михайлович призывал писать обо всем виденном без утайки:

— Свобода слова — это великое дело, и наше общество жаждет гласности! Можете открыто печатать в газетах, что я сек, секу и буду сечь... Надо будет, так и всех вас разложу поперек лавок, дабы писали прочувственно!

«Фигура яркая, колоритная, — писал о нем Короленко, — выделявшаяся на тусклом фоне бюрократических бездарностей. Человек даровитый, но и г р о к по натуре, он основал свою карьеру на быстрых, озадачивающих проявлениях “энергии”, часто выходявших за пределы рутины...» Как выдвинуться? — вот вопрос, мучивший Баранова. Как привлечь к себе внимание всей России, чтобы совершить гигантский прыжок к карьере?

— Я погибаю в течении обыденного времени, — печалился Николай Михайлович. — Меня могут выделить лишь исключительные обстоятельства: война, голод, холера, смута или... Вот над этим «или» мне стоит как следует подумать.

21 августа 1890 года он придумал...

Нижегородский статистик А.С. Гацисский первым поспел к дому губернатора, где швейцар рассказывал, как было дело:

— Наутре заявился Владимиров, что писарем в участке служит. Через дверь слышать было, как они с губернатором спорили. Потом что-то как запищит, будто заяц какой попался.

— Ну, а вы-то что? — спросил Гацисский.

— А мы что? Наше дело сторона. Решили, что губернатор писаря грамотности учит, вот он и запищал. Потом хрип раздался. Мы, грешным делом, подумали, что наш «орел» кончает просителя. Вбежали в кабинет и видим такой дивный пейзаж: лежит наш бед-

ный Николай Михайлович, дай ему Бог здоровьица, а на нем сидит верхом, как на лошади, этот прыщ из участка и... душит!

— Кого душит?

— Вестимо, что не себя, а взялся сразу за губернатора...

В кармане писаря обнаружили револьвер. Баранов со словами «Наверное, заряжен?» отошел в угол кабинета и выстрелил в пол. Но по городу быстро разнеслась весть, что в губернатора стреляли, а сам Владимиров, тайный масон, исполнял приказ из Женевы: уничтожить Баранова! К дому губернатора спешил военный оркестр, чтобы исполнить «Боже, царя храни». Под музыку гимна наехали все нижегородские чины, местные дворяне и дамы с архиереем, дабы срочно поздравить Баранова с чудесным спасением. По всей стране полетели телеграммы в газеты с этой новостью, купцы Нижнего потрясли толстущими бумажниками:

— Банкет надоть! Без шампанеи тута не обойтись. Ежели што, так мы за правду-матку постоять всегда готовы. Последней рубахи не пожалеем... Памятник водрузим!

На банкете, данном в его честь, после зачитания поздравительных телеграмм, Баранов произнес пышную речь, в которой выделил политическое значение этого «подлого» выстрела:

— Выстрел прозвучал в райской тиши нашего града Нижнего, в этом замечательном храме мирной торговли, но пуля злодея, направленная масонами из Женевы, не устрасила меня, как не устрасили когда-то и снаряды с вражеского броненосца.

Все кричали «ура», и только один жандармский генерал Игнатий Познанский пить за здравие Баранова не пожелал:

— Кому верите? Да он сам в себя готов выстрелить, чтобы лишний крест на себя навесить. Просто встретились два дурака, и давай врукопашную, как биндюжники! Я через этого «масона» из поли-

цейского участка двести вольт пропущу, так он быстро сознается, из-за чего они там сцепились...

Власий Дорошевич заготовил чертеж кабинета Баранова, расчертив его кубатуру линиями странной траектории.

— Если верить Баранову, — доказывал он, — то пуля пролетела над его ухом, от стенки она отскочила к другой стене, затем рикошетом вернулась обратно к преступнику и врезалась в паркет вертикально, будто в нашего губернатора стреляли с потолка сверху вниз, и никак иначе...

Баранов указал вырезать плашку паркета, пробитую пулей, и хранить ее в музее города как священную реликвию. Короленко не пощадил губернатора: «Престиж власти остался, конечно, во всем ослепительном блеске, пуля хранится в музее, а выстрел занесен в летопись без возражений». Не было возражений и от Владимирова, получившего по суду пять лет непрерывной строевой подготовки в рядах штрафного батальона города Оренбурга.

— Конечно, — сказал он Познанскому. — Ведь не губернатор сидел на мне, а я на губернаторе. А за такое дело можно маршрутировать сколько влезет...

Как бы то ни было, а в России снова заговорили о Баранове, что и требовалось доказать. Впрочем, газеты никак не комментировали это событие. Тем более, что в Петербурге возникла новая сенсация: великий князь Николай, изображая собаку, безжалостно искусал генерала Афиногена Орлова. Искусанный его высочеством, генерал охотно дал интервью журналистам:

— Повредительство ума началось в театре, где великий князь, увидев двести балерин в кордебалете, выразил желание переспать со всеми ними сразу, после чего и накинулся на меня с криком, что сегодня он забыл поужинать...

Драка с писарем не дала Баранову тех лавров бессмертия, на какие он уповал. Но тут, слава богу, подоспел голод в Поволжье, и Баранов воспрянул, словно орел перед взлетом в поднебесье. Из Казани переслали ему циркуляр, как варить кашу из кукурузы и чечевицы, чтобы поедать ее взамен хлеба.

— Дураки! — сказал Баранов. — Ни кукурузы, ни чечевицы в Нижегородской губернии не сеют и есть их не станут...

Министры боялись называть голод голодом, вымирающих от бескормицы скромно титуловали «пострадавшими от неурожая». Накормить голодных взялась власть на местах, собирая подаяния частных лиц. Баранов, пожалуй, лучше других сановников понимал значение прессы, силу ее влияния: если не мог достичь чего-либо сам, то обращался к печати. Антон Павлович Чехов одним из первых писателей начал сборы пожертвований, и сам поехал в Нижний, где встречался с Барановым. Конечно, губернатор привлек к делу и Короленко, явно заискивая перед его талантом, хотя писатель не соглашался с Барановым.

— Почему вы принимаете подачки, — говорил он, — если вы вправе требовать помощи голодающим от государства?..

Баранов скандалы любил, и скандал получился. Лукояновские дворяне вдруг заявили, что в их уезде нет голода, в этом их поддержал князь Мещерский, друг царя, издававший реакционную газету «Гражданин». Но Баранов уже закусил удила, публично разгромив друга царя и самих лукояновцев.

— Дворянский патриотизм «Гражданина», — провозгласил Николай Михайлович, — это грязная бутафорская тряпка из балагана, а совсем не знамя истинной любви к отечеству...

Эти слова обошли всю Россию, радуя интеллигенцию, а Баранов, как опытный игрок, набирал козырные очки в свою пользу.

Ему просто везло: не успели накормить голодающих, как началась холера. Она катилась вдоль Волги от Астрахани, пожирая людей, еще не оправившихся после голодухи. Эпидемия, как всегда, вызвала бунты. Астраханский губернатор Тевяшев, человек большой смелости, прятался под столом, закрываемый от народных взоров широкой юбкой жены. Баранов повел себя иначе! Пока не сколотили холерные бараки, он сразу отдал для размещения больных свой губернаторский дворец. Не боясь заразиться, смело шлялся среди холерных. Когда же глупцы разорались на улицах, что врачи сами травят людей, Баранов цепко выхватил из толпы самого богатого крикуна — миллионера Китаева:

— Ты что, мать твою так? Решил, что меня умнее?

— Никак нет! Но ведь нету холеры, это все телигенты придумали, чтобы народ православный лекарствами извести. Рецепты в аптеку ведь не по-русски пишут... злодеи!

— Ясно. Умен. Снимай портки. Ложись...

Как ни вопил купец, как ни отбивался, но штаны с него спустили и при всем честном народе выпороли во славу Божию, чтобы себя не забывал и чтил медицину. После чего Баранов, подобно Кузьме Минину, выступил перед народом на площади:

— Я вас давно знаю, а вы меня тоже знаете. Зачинщиков бунта против врачей повешу без разговоров... здесь же!

В «Военной энциклопедии» Сытина сказано: «Все знали, что у Баранова дело не разойдется со словом, особенно в этом случае. Баранов спасал всероссийскую ярмарку, т.е. нерв торгово-промышленной России, и, несомненно, повесил бы всякого виновника общественной паники...» Баранов обратился к писателям, чтобы не боялись писать правдиво, и в Нижнем газеты писали правду о холере, хотя в других губерниях холерная эпидемия даже скрывалась. В статье «О том, как

я учился писать» Максим Горький неожиданно припомнил и Баранова, который одного из баламутов отправил в холерный барак — санитаром. Лично убедившись, что врачи не травят больных, а печат, он благодарил губернатора за урок, а Баранов сказал ему:

— Окунувшись башкой в правду — врать не станешь!

«Баранов был человек грубый, но не глупый», — так писал о нем Максим Горький. Именно Баранов придумал тогда плавучие госпитали-баржи, плававшие по Волге, чтобы подбирать с берега заболевших. Холера отступала. Повешенных не было, но многие из горожан еще долго не могли сесть на лавку...

Живя на торжище всероссийской ярмарки, Николай Михайлович жил едино лишь жалованьем, мало того, он не раз закладывал в ломбард свои личные вещи. Сам в долгах по самое горло, он любому бедняку давал в долг, никогда не требуя отдачи:

— Ладно! Бог с вами. Да и где вам взять-то?.. Разве что по ночам выходить с кистенем на большую дорогу...

В 1896 году состоялась Нижегородская ярмарка, слишком знаменитая и фееричная, где в павильонах можно было видеть и новейший электромотор, и картину Врубеля, а через год Баранов был удален в отставку. Он скончался в Петербурге на заре XX века, всеми покинутый, живя в бедности, и был очень скромно погребен на кладбище Новодевичьего монастыря (ныне по Московскому проспекту Ленинграда).

В память об этом человеке один из эсминцев Черноморского флота был наречен его именем: «Кап. лейт. Баранов».

Странных людей иногда порождает русская жизнь!

Порою даже не разобраться: где кончается плохой человек и где начинается человек хороший...

Ничего, синьор, ничего, синьорита!..

Давняя традиция русского флота — быть в Средиземном море. Исстари так уж повелось, чтобы российский Андреевский флаг — от Дарданелл до Гибралтара — гордо реял над идеальной синевой. К этому флагу здесь давно все привыкли, и казалось, без русских кораблей чего-то даже не хватает...

Я рассматриваю старинные фотографии. Вот тихая улочка Гарибальди — по ней бежит ослик; над витринами лавок, истомленных полуденным зноем, полощутся белые тенты; молодая итальянка поливает цветы на балконе. Но... что это? По берегу моря бредут полуобнаженные люди с узелками в руках, а впереди мальчик в рваной рубашке несет надломленное распятие. А вот еще уникальный снимок: из груды битого кирпича высовывается тонкая рука женщины. Уж не эта ли рука еще вчера наклоняла кувшин с водой над цветами?

Итак, читатель, мы с тобою в Сицилии.

Был поздний вечер 14 декабря 1908 года. Практическая эскадра Балтфлота (линкоры «Цесаревич» и «Слава», крейсера «Адмирал Макаров» и «Богатырь») зимовала в теплом и ароматном климате сицилийских прибрежий.

— Райская страна, — сказал контр-адмирал Литвинов, когда ужин в кают-компании закончился и вестовые уже ставили в буфет серебро. — Даже не верится, господа, что в Питере сейчас дворники скребут снег с улиц, а по Невскому, «бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая...».

Под стальными настилами бронированных палуб мягко вздрагивали машины, работающие «на подогрев». Пахло морем, ма-

нильской пенькой, крепкой мадерой и апельсинами. Команда уже «отошла ко сну», офицеры, позевывая, разбрелись по своим каютам; Литвинов и старший врач Практической эскадры Новиков поднялись на спардек «Цесаревича», оглядывая пустынный рейд порта Аугуста.

— А великий Господь Бог, — произнес врач, — похоже, вновь запаливает над Сицилией свою старинную лампадку... Владимир Иваныч, вам не кажется, что дымком откуда-то потянуло?

Из отдаления — за городом Катания — желтовато светилась Этна, и дым с паром, выползая из кратера, словно теплое одеяло, укрывали лимонные рощицы, виноградники и посевы.

Доктор щелкнул крышкой часов, откровенно зевнув:

— А ведь завтра нам раненько вставать.

— Да. Еще до восхода солнца буду снимать эскадру с якорей. Предстоит отработка учебных стрельб с классом гардемаринов...

— Спокойной вам ночи, Владимир Иваныч.

— Не уверен, милейший док, что она будет спокойной. Честно говоря, мне что-то не нравится поведение Этны...

Ночью адмирала разбудил вахтенный офицер:

— Прошу прощения, что беспокоил. Не могу понять, что стряслось. Вдруг послышался странный гул, и все броненосцы, будто сам сатана ухватил их за кили, развернулись носами в открытое море. Из города донеслись крики; потом... тишина.

Контр-адмирал сунул ноги в каютные шлепанцы.

— Здесь такое бывает часто. Наверное, итальянцев малость потрянуло. Пусть горнисты играют: «Вставать. Койки вязать».

Чадя дымом из широко расставленных труб, корабли уходили в смутный рассвет, и там, вдали от городов и людей, где никто не мог помешать им, они обстреливали квадраты пустынного моря,

в щепы разбивая воображаемого противника. Практическая эскадра исправно выполнила учебную задачу, и к вечеру бивни форштевней развернулись на обратный курс — к берегам Сицилии.

Этна издалека уже светила им своим дымным факелом. Якоря с грохотом «забрали» грунт в свои раскоряченные лапы.

— От боевых постов отойти. Чехлы закинуть!

— Ужинать, — отозвался Литвинов и, подтянув на руках перчатки, шагнул в провал шахты трапа, уводящего с мостика в низы.

Но к борту «Цесаревича» уже подваливал катер командира порта. Итальянский офицер еще от самой воды закричал:

— Помогите, чем можете... на вас вся надежда!

Литвинов перенял из его рук телеграмму местного префекта, в которой сообщалось, что Мессины более не существует, железная дорога от Катании уничтожена, телеграфы молчат.

— Спасите, — умолял командир порта Аугуста...

Пять горнистов вскинули к небу звонкие трубы (сигнал: «По местам стоять. С якорей сниматься»).

— Крейсеру «Богатырь» остаться на рейде Аугуста, — велел адмирал, — дабы обеспечивать радиосвязь между Сицилией и Калабрией. Господа, — повернулся он к офицерам, — мы должны сделать все, что в наших силах. А что не в силах, мы тоже обязаны сделать. Иначе нельзя...

Три корабля России уходили в сторону Мессины, разводя перед собой волны неестественно молочного цвета. Черное небо низко присело над их мачтами. Матросы и гардемарины всю ночь трудились как муравьи, таская по трапам носилки, медикаменты, палатки, саперные принадлежности, ящики с консервами, кипы кальсон и тельняшек; батареи спешно резали простыни — на бинты, на бинты, на бинты. Заготовили десятки и сотни верст бинтов!

Слева протекала Сицилия, справа вырос берег Калабрии.

Корабли входили в Мессинский пролив, который издревле стерегли два легендарных мыса — Сцилла и Харибда (нынешние Силла и Каридди). Последние обороты винтов рвали белесую, неприятного вида воду... Флаги были приспущены в знак международной человеческой скорби!

Оставшийся в живых мессинец потом рассказывал:

— Перед тем как земля вздрогнула, мы слышали грохот. Я прислонился к стенке, потому что ноги меня не держали... Мебель скакала по комнатам как сумасшедшая. Стекла лопались не как обычно, а как-то особенно звонко. В разбитые окна тут же врывался горячий ветер. Еще ни один дом не рухнул, а над городом уже пронесся всеобщий стон, который Мессина, прежде чем ей умереть, обращала к небу... Больше меня ни о чем не спрашивайте!

Деревья и столбы стали качаться, булыжники вертикально выскакивали из мостовой, как мячики. Мессина спала, когда стены домов вдруг разлетелись, словно осенние листья. Всего несколько секунд — и Мессины не стало, а 160 000 человек были тут же погребены в хаосе камней, карнизов, стропил, балок, мебели, утвари, посуды и кроватей... Над городом выросло большое черное облако, из которого наружу выбивало многоголосый вопль погибающих.

Когда трясется земля, природный инстинкт заставляет человека спасаться у моря. Оставшиеся в живых кинулись бежать на великолепные набережные мессинского Палаццато и там взывали у моря:

— *Ai uti... ai uti!* (Спасите... на помощь!)

Но стихия слепа — вот в чем весь ужас стихии...

Колонны дворцов падали замедленно, как в кошмарных снах; стены Палаццато с треском разрушились, осыпая несчастных каме-

нями. Но с моря уже шла на Мессину гигантская волна, и цунами обрушило на людей многие тонны водяной массы, а пароходы, поднятые над городом, падали днищами на плиты набережных, давя все живое. Титаническая волна вкатилась в улицы, постепенно ослабевая в кривых переулках, среди руин, и схлынула обратно в море, унося в бездну кричащих людей. Эта волна оставила на земле биться и умирать глубоководных животных, один вид которых внушал омерзение (и которые до этого были совсем неизвестны науке). Но их было три — таких волны, и цунами обрушивались с интервалами в пятнадцать минут. От разрыва кораблей загорелись в городе газгольдеры, потом вспыхнули нефтехранилища, и горящая нефть побежала по улицам Мессины, с шипением сбегая на воду, продолжая полыхать в гавани... теперь горело и море!

— *Ai uti*, — кричали живые, — *ai uti*...

Они кричали! Но некоторые потеряли дар речи. Известный ученый Чезаре Ламброзо писал: «В момент катастрофы 300 рабочих, готовых войти на фабрику, остались на улице и чудом спаслись, но они так обезумели, что когда директор хотел произвести переключку, то никто из них не назвал своего имени — они не могли его произнести». А русские корабли приближались...

О люди и улицы нежной Мессины,
Приветствуйте каждого русского сына...
Движимые к людям любовью высокой,
Пришли из страны вы — великой, далекой.

Практическая эскадра якорей не бросала, ибо грунт под морем ходил ходуном. Броненосцы работали машинами, удерживая себя в дрейфе возле Мессины — еще содрогавшейся в затуханиях катаклизмов земли и моря.

— С Богом! — сказал Литвинов крестьясь. — Врачей, фельдшеров и санитаров высаживать с первыми шлюпками, обратно забирайте раненых, детей и женщин... Братцы! — обратился он к матросам. — Всегда помните, что вы — р у с с к и е...

Итальянская журналистка Матильда Серао писала:

«В истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости. Но самую первую, самую вечную и самую нетленную страницу в эту историю вписали они — светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые на деле...»

Мессина еще с грохотом разрушалась, когда русские моряки вошли в эти грандиозные руины, как в пламя ужасной битвы. Каждый из них сохранил в своей памяти что-то свое, незабываемое. Один помнил человека с оторванной рукой, который бежал куда-то ничего не видя. Другой запомнил мертвых супругов, убитых в кровати, застрявшей под самой крышей дома. Третий видел, как из окна четвертого этажа, связав простыни в жгут, спускалась при свете пожаров обнаженная девушка, а ее сестра, уже мертвая, зацепилась за карниз балкона и свисала вниз головой над провалом улицы...

Матросы пошли — как в атаку.

— Давай, давай! — кричали они. — Давай работай...

К кораблям уже подваливали шлюпки с первыми ранеными. Матросы не знали итальянского языка, а потому всем мужчинам и всем женщинам говорили только одно:

— Ничего синьор... ничего, синьорита...

Услышав где-либо стон, доносившийся из-под развалин, они разбрасывали камни и балки, чтобы добраться до задавленных, но еще живых людей. Лом или кайла в таких условиях не годились — можно было поранить человека под обломками. Вся основную работу ма-

тросы проводили голыми руками. И иногда приходилось разбирать горящие завалы — и опять-таки голыми руками!

Офицеры и гардемарины трудились с матросами наравне...

Вечером Мессина испытала еще один толчок, и знаменитая церковь Аннунциата ди Каталони, краса и гордость Италии, рухнула. Под обломками зданий теперь оказались и многие наши матросы. Шлюпки доставляли на корабли не только спасенных, но и самих спасителей — обгорелых, с переломами рук и ног, с пробитыми черепами; в корабельных лазаретах неустанно визжали пилы — ампутация шла за ампутацией.

На помощь русским пришли корабли английские и французские; прослышав о беде, поворачивали на Мессину пассажирские лайнеры; на полных парах примчались русские канлодки «Гиляк» и «Кореец», до этого ходившие возле берегов Кипра. На улицах города застучали выстрелы — все мародеры расстреливались на месте, без суда и следствия. Русская эскадра выставила караулы около префектуры и развалин Аннунциата ди Каталони; скоро на борт крейсера «Адмирал Макаров» матросы с трудом взвалили несгораемую кассу итальянского банка.

— Двадцать пять миллионов лир, — сказали они, вытирая пот. — Можете пересчитать... копеечка в копеечку!

Чезаре Ламброзо, как психолог, заметил: «Дети оставались по три дня на подоконниках третьего и четвертого этажа, имея вокруг себя со всех сторон пропасти, а между тем не давали ни холоду, ни головокружению, ни усталости, ни сну себя победить. Более всех сопротивлялись смерти дети!» А самая трудная доля выпала врачам: операционные пункты были устроены посреди улиц, и они сутками выстаивали на ногах, испытывая под собой

содрогания почвы, и — оперировали (ночью при свете факелов). Всех раненых матросы сначала относили сюда, клали на землю, утешая, как умели:

— Ничего, синьор... ничего, синьорита...

Итальянцы это слово запомнили:

— Ничако... ничако... ничако, марини!

Семнадцатого декабря на рейд Мессины ворвался на полной скорости итальянский крейсер «Витторио-Эммануэл» под флагом королевской четы, причем Литвинов указал сигнальной вахте:

— Салютации не учинять... сейчас не до этого!

Итальянская королева Елена сразу же прибыла на «Славу»; она получила образование в России, считала себя наполовину русской и просила называть ее просто — Еленой Николаевной.

— Владимир Иваныч, что я могу сделать для вас?

Литвинов, сняв фуражку, поцеловал руку королевы.

— Умоляю — марли и медикаментов и, ради бога, позвольте мне отпустить в Неаполь хоть один броненосец: уголь в бункерах на исходе, а машины все время работают винтами, в отсеках навалом лежат раненые. Их надо поскорей переправить в госпитали!

«Слава» ушла в Неаполь, имея на борту 550 раненых детей и енщин (мужчин не брали). Из этого числа некоторые умерли в пути — их погребли в море, учинив салютацию, как положено всем павшим.

— Я слышала от англичан, — сказала Литвинову королева, — среди ваших матросов уже имеются жертвы.

— Да, ваше величество. К великому сожалению. Люди пропали без вести. Очевидно, засыпаны под развалинами. В этой суматохе трудно пересчитать все команды... А жертвы неизбежны.

Газеты Италии писали о русских не иначе как «наши русские братья... наши спасители». Один очевидец-итальянец оставил нам сердечную запись: «Славные ребята! Вот уже три дня я наблюдаю за ними, как они разбирают развалины домов, извлекая из них людей, хлопочут возле каждого раненого. Их руки не ведают усталости после 10–14 часов чудовищной работы. “Вы здорово устали!” — сказал я им с помощью переводчика. “Ничего, синьор, — отвечали они. — Это ведь наш долг... Ничего, синьор, ничего”». А ведь многие из них навсегда остались в развалинах итальянского города, погибшие при спасении итальянцев. Иногда, прежде чем добраться до живых, приходилось убирать сверху «начинку» руин, прослоенную, как в страшном пироге, рядами уже разложившихся трупов.

Контр-адмирала Литвинова просили матросы:

— Разрешите нам еще поработать!

— Но ваша вахта трудится без отдыха уже два дня.

— Это ничего. Мы ведь с ног-то еще не валимся...

Тысячи (тысячи!) итальянцев, раненых и бездомных, обожженных и полураздетых, русские команды спасли и эвакуировали в госпитали Палермо, Неаполя, Сиракуз и Катании. Итальянский поэт Фацио Умберто Марио закончил поэму, посвященную мессинской трагедии, так:

О матери в траурной скорбной одежде
и жены, убитые болью и горем,
не плачьте. И головы выше!
Надежду
и радость приносит лазурное море...
Как праздник,
как день долгожданной весны,
пришли к нам на помощь России сыны.
Вам, р у с с к и е, слава!
В минуты агоний смертельных и мук
мы все ощутили тепло ваших рук.

Движимые к людям любовью высокой,
пришли из страны вы очень далекой
О люди и улицы нежной Мессины,
приветствуйте каждого русского сына
Спасибо, Россия!
Твои корабли
нам веру и счастье с собой принесли

До конца исполнив свой общечеловеческий долг, русские корабли покинули Мессину... 19 января 1909 года парижская «Фигаро» писала, что Россия живее всех откликнулась на беду итальянцев: «И деревня бедных мужиков, затерявшихся в степях, прислала в Италию 21 рубль. Их нищая деревня не знает ужаса землетрясений. Они живут в ином климате, говорят на другом языке, и, однако, для них достаточно было услышать о далеком народе, жестоко пораженном стихией, ради священных уз, которые создает горе, они предложили Мессине свою помощь». Так было!

Недавно нашу страну посетил сицилиец по имени Марио, который привез всем нам, читатель, поклон от своей старой матери. Журналистам в Москве он сказал:

— России я обязан тем, что живу на свете. Русские матросы спасли мою мать во время мессинского землетрясения.

— Сколько же ей было тогда лет? — спросили Марио.

— О, меня не было еще на свете! А моей маме было всего пять лет... Она жива до сих пор, и я с молоком матери впитал в себя благодарность к России.

Так история иногда смыкается с современностью.

Прошло два года, и печать Италии оповестила мессинцев, возрождавших свой прекрасный город: «Граждане, завтра к нам прибывает русский крейсер “Аврора” для принятия благодар-

ственной медали от жителей Мессины... да будут вечны наши благодарность и признательность тем, кто показал великолепные образцы человеческой солидарности и братства, первыми придя к нам на помощь!»

В ночь на 16 февраля 1911 года с моря уловили трепетные радиосигналы: «Аврора» приближалась, и Мессина в этот день уже не работала — Мессина только праздновала. В городе и на всех судах в гавани были подняты русские национальные флаги. Празднично одетые, оживленные, с детьми на руках, неся бутылки с пахучим кьянти, мессинцы еще с утра заполнили обширные набережные. Легкая черточка возникла вдалеке, словно по синеве моря мазнули акварельной кисточкой, — это подходила «Аврора», русский крейсер первого ранга, еще не ведавший своей громкой судьбы в истории мира...

Петр Николаевич Лесков, командир «Авроры», обозрел панораму города через хрустальную оптику боевого дальномера:

— А нас встречают, и, кажется, с музыкой. Якорей не бросать. Будем вставать прямо к набережной — на швартовы...

Кажется, что на берегу собралась вся Мессина, ветер еще изда-дека доносил бурные возгласы экспансивных итальянцев:

— Вива Руссия... вива «синьор Ничако»!

Оркестры обрушили в котловину гавани два гимна сразу.

Прозвучал салют наций. Швартовы поданы.

Боже! Что тут началось... Белыми камелиями и розами, алыми гвоздиками и фиалками осыпали серую броню «Авроры». На борту крейсера находились сейчас и те, кто два года назад выкапывал мессинцев из-под толщи развалин; прибыл в Мессину один матрос, потерявший обе ноги при спасении погибавших... Узнав об этом, итальянцы подхватили боевого матроса на руки и, восторженно

крича, несли его через весь город, а он ничего не мог говорить от волнения — он качался на плечах мессинцев и... плакал!

Самый счастливый в Мессине дом — это дом, в котором побывал дорогой гость, русский моряк. Самая счастливая женщина в Мессине — та женщина, которой удалось поцеловать русского моряка. В кубриках «Авроры» безмятежно текло в эти дни розовое игривое кьянти... Всем было хорошо.

Но вот провыли горны, возвещая «большой сбор». Замерла толпа на берегу, когда на борт крейсера ступила делегация Италии во главе с епископом д'Арриго. Перед строем моряков епископ вручил от имени Италии золотую мемориальную медаль с надписью:

«Мессина — мужественным русским морякам балтийской эскадры».

До сих пор в музее «Авроры» хранится шелковое полотнище, на котором вышиты восторженные слова:

«Вам, великодушным сынам благородной земли, героизм которых войдет в историю...»

Это не просто слова — это пророческие слова!

Над крышами новостроек Мессины «Аврора» произвела холостой залп, возвещавший прощание.

Оркестры играли не уставая...

Тысячи людей пели, рыдали, смеялись.

Мессина покрылась морем огней — началось торжественное факельное шествие, и это было незабываемое зрелище.

— Уходить не хочется... Хороший народ и райская страна, — говорили матросы. — Побратались мы с ними славно!

Последний взгляд на Мессину с кормы уходящего крейсера.

Долго еще виднелись струи огня — люди с факелами в руках все шли и шли; наконец и последние огни погасли в отдалении.

Надвинулась ночь — открывался простор.

— Вот и море... прощай, Мессина!

Этна, закутанная мраком, была совсем не видна в ночи.

«Аврора», зарываясь форштевнем в упругие воды, уходила в свою судьбу — прямо в историю...

Как все это просто и до чего душевно!

Флаг нашего флота и поныне реет над идеальной синевой древнего Средиземноморья...

Выстрел в отеле «Кломзер»

Над Веною императора Франца-Иосифа рассветало: начальник австрийского Генштаба Конрад фон Гетцендорф сказал:

— Сделаем так, чтобы об этом узнали посторонние. Позвоните в отель «Кломзер», попросите портье разбудить полковника Рэдня, что приехал из Праги... пусть подойдет к телефону.

Портье через минуту в ужасе прокричал в трубку:

— Полковник Рэдль лежит на постели весь в крови... он застрелился! А кому он понадобился в такую рань?

— Повесьте трубку, — велел фон Гетцендорф. — Теперь сплетня о самоубийстве побежит из отеля и дальше...

Двадцать шестого мая 1913 года австрийское телеграфное агентство сделало официальное сообщение о смерти Рэдня: «Высокоодаренный офицер, которому, несомненно, предстояла блестящая карьера, в припадке нервного расстройства покончил с собой...» Эта фальшивая телеграмма в тот же день лежала на рабочем столе начальника русского Генштаба генерала Я.Г. Жилинского в Петербурге.

— Ну что ж, — хмыкнул он. — Рэдль стоил нам страшно дорого. Но мы недаром с ним столько лет провозились...

Солнце светило в Вене и Петербурге одинаково ярко, из Ниццы спешили ночные экспрессы, везущие в вагонах-лоханях свежие цветы. Европа жила как обычно, и лишь несколько человек в мире раздумывали о смерти Рэдя: кто выиграл и кто проиграл?

У истории — предыстория... В 1896 году, когда проходила коронация Николая II (и последнего), в числе прочих гостей в Москву пришла и румынская королева Мария — полуангличанка, полурусская. Женщина ослепительной красоты, она в Бухаресте разыгрывала роль византийской принцессы, возрождая нравы времен упадка Римской империи. В Москве к длинному шлейфу королевского платья, как и положено в таких случаях, приставили пажу. Это был некий В. Когда он взялся за пышный трен платья королевы, она живо обернулась и сказала по-русски:

— Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей?..

Перед отъездом в Бухарест она устроила пажу вечер прощания, затянувшийся до утра. Но самое пикантное в том, что королева была под надзором русской разведки, ибо отношения с румынской династией в ту пору были крайне натянуты, и, конечно, В. тоже попал под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, сообразительность, умение сходиться с любыми людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Любовный успех у королевы вскружил ему голову, и, выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. занимался не столько службой, сколько романами со столичными львицами и тигрицами. Вскорости задолжал в полку, разорил отца, попался на нечистой игре в карты, а когда запутался окончательно, русская разведка схватила его за жабры.

— Согласитесь, — сказали ему, — что, если ваши позорные связи обнаружатся, гвардия и дня не станет держать вас под своими

штандартами. Вы уже некредитоспособны. Но мы готовы великодушно предоставить вам случай исправить скверное положение... Это ваш последний шанс!

— Что я должен делать? — спросил В., расплакавшись.

— Вы поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали и раньше в Петербурге. Все расходы берем на себя. Деньги вы должны тратить не жалея, и чем шире будет круг ваших венских знакомств, тем щедрее мы станем вас субсидировать.

— Я начинаю кое-что понимать, — призадумался В. — Вы, господа, решили подкинуть меня, как жирного карася, в тот германский садок, где плавают хищные акулы.

— Нас не волнует, что вы понимаете и чего не понимаете. Нам важно, чтобы жадная до удовольствий Вена оценила вас как щедрого повесу, который не знает, куда девать бешеные деньги.

— Задача увлекательная! — согласился В.

— Не отрицаем. Она тем более увлекательна, что в Вене можно узнать все, если действовать через женщин... Итак, вы едете!

В. закружило в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий, порочная и продажная. Русская разведка, издали наблюдая за окружением В., старательно процеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опереточных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и дирижеров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпиком. Прошел год, второй. В. кутил напропалую и уже начал подумывать: не забыли ли о нем «под аркою» Главного штаба? Нет, не забыли. Однажды, придя под утро в отель, В. застал в своем номере человека, в котором с трудом узнал одного из тех, кто его завербовал.

— Среди ваших приятелей, — сказал он, — недавно появился некий майор Альфред Рэдль... Что вы можете сказать о нем?

Непутевый В. был, кстати, достаточно наблюдателен.

— Рэдль, — доложил он, — явно страдает от непомерного честолюбия. Никогда не был богатым, он завистлив к чужому богатству. Подвержен содомскому пороку, который окупается чрезвычайно дорого, отчего Рэдль вынужден кредитовать себя в долг.

— Очень хорошо, — заметил приезжий. — Но это все качества отрицательные. А что можете сказать положительного о Рэдле?

— Он мне... противен! Вот это самое положительное мнение. Но согласен признать, что Рэдль человек необычный. Владеет массой языков. Знаток истории и географии мира. Умеет держать себя в руках. Не знаю, умен ли он. По некоторым его фразам могу заключить, что Рэдль интересуется новинками техники... Ну и, наконец, могу повторить, что он замечательно отвратителен!

— Это уже лирика. Немцы в таких случаях говорят, что отбросов нет — есть кадры. Скажите: а просил ли Рэдль у вас денег?

— О, да! Он даже слишком навязчив в просьбах...

— Вернул ли взятое?

— Нет.

— Чудесно! Давайте ему, сколько ни попросит.

— Слушаюсь. А теперь я спрошу вас... Рэдль до сих пор не проговорился о своей службе. Я хотел бы знать: кто он?

— Сейчас он начальник агентурного бюро при австрийском Генштабе. Работает против нас — против России...

Вскоре В. при свидании с Рэдлем огорченно сказал, что денег больше не стало и он вынужден вернуться на родину.

— Я сильно задолжал вам и, к сожалению, не могу своевременно рассчитаться... Жаль, — вздохнул Рэдль (кажется, искренно), — что я теряю щедрого и приятного друга.

— Не огорчайтесь! — отвечал В. — Скоро у вас появится новый русский друг, который и богаче меня, и щедрее меня...

Вернувшись на родину, В. уже не мог оставить привычек широкого образа жизни и стал опускаться. Буквально с панели его взял на службу бакинский нефтепромышленник Нобель. В. стал его московским агентом по обслуживанию иностранных гостей фирмы: возил к «Яру» слушать Варю Панину, угощал их блинами с икрой, в Кремле показывал Царь-пушку. Революция прикрыла эту синекуру, но В. не пропал. По некоторым данным, в конце своей жизни он обучал игре в бридж.

Австрия, как писали тогда, это «двуединая монархия, которая с одной стороны омывается Адриатическим морем, а с другой стороны загрязняется императором Францем-Иосифом!» Вена — самый дорогой город в Европе; о венской жизни, сложной и трудной, нельзя судить по игровым опереттам Иоганна Штрауса... Вот конкретные данные из верных источников.

Отель — 20 франков в сутки за пустые стены. Скромный обед — 6 крон, а это два с полтиной. «Венец не позволит себе ничего, кроме кружки пива, он привык обедать дома...» В ресторанах Вены принято лишь завтракать. На обедающего смотрят с подозрением: уж не казнокрад ли? Множество славян, живущих в Вене честным трудом, нищенствуют; для них даже проезд на конке — роскошь. Кому же здесь хорошо? «Бережливые немцы попрятались по своим норам, за исключением кичливой финансовой аристократии. Пиршествуют в Вене только еврейские банкиры да разные между-

народные пройдохи...» Понятно, что майор Рэдль, одержимый стыдным пороком, который обходился ему баснословно дорого, с нетерпением поджидал «русского друга», еще не догадываясь, что он уже здесь — рядом...

На пост русского военного агента в Вене заступил полковник Марченко, обаятельный человек, большая умница, образованный генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Перед отъездом из Петербурга генерал Жилинский сказал ему: «Завербуйте Рэдля, и больше нам ничего не надо от вас...» Генштаб вскоре же получил от Марченко исчерпывающую характеристику Рэдля:

«Среднего роста, седоватый блондин, с короткими усами, несколько выдающимися скулами и улыбающимися, вкрадчивыми глазами Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, работоспособный Склад ума мелочный Вся наружность слащавая Речь мягкая, угодливая Движения рассчитанные, замедленные Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив Ц и н и к'!»

Марченко сначала опутал Рэдля долгами, обворожил комплиментами, а потом припер его к стенке. Свидание произошло на конспиративной квартире. Опытный разведчик, атташе знал, что Рэдль уже завел под столом фонограф, дабы записать его слова, через щели в стене он будет сфотографирован дважды (в анфас и в профиль), а подлокотники кресла, в котором сидел Марченко, смазаны особым составом, удобным для снятия дактилоскопических отпечатков... Рэдль как следует взвесил все «за» и «против». Понял, что деваться некуда: сейчас он целиком в руках русского полковника.

— Ну что ж. Я согласен... помочь вам! Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потянула его за хвост.

Марченко даже не удивился.

— Я так и думал, что вы не откажетесь от выгодной комбинации. А теперь российский Генштаб заинтересован в том, чтобы вы стали богатым и сделали головокружительную карьеру. Поверьте, что это будет и вам приятнее, и нам полезнее.

— Как Петербург может сделать мою карьеру в Вене?

— Это уж наша забота... А сейчас при мне уничтожьте валик фонографа, разбейте негативы снимков и сотрите мои следы с этого кресла. Я понимаю: вы — человек, идущий вровень с наукою нашего времени, но я, к моему немалому прискорбию, человек все-таки отсталый и всякие новшества недолюбиваю...

Рэдль продался в 1902 году!

А русский Генштаб сдержал свое слово — он устроил Рэдлю «блестящую» карьеру. Делалось это просто. Допустим, один из агентов начал «франтить», иначе говоря, не давал точных сведений или продавал сведения и Германии, а шпионы-двойники всегда опасны. Такого «франта» безжалостно выдавали Рэдлю со всеми потрохами! Рэдль за «раскрытие русского шпиона» имел материальные выгоды по службе, а взамен выдавал «под арку» австрийского агента, засланного в Россию. Когда же случалось так, что предатели со стороны России (а такие бывали!) предлагали Рэдлю планы русской армии, Рэдль заменял подлинные планы фальшивыми, а об изменнике тотчас же сообщал в Петербург.

Мировая война была неминуема, и будущие противники не церемонились, действуя настойчиво, цепко и беспринципно. Европу уже много лет потрясали политические кризисы, готовые вот-вот разразиться грозой батарей; разведки всех стран усиленно работали, генштабисты Вены и Берлина изучали армию России, со всеми ее достоинствами и недостатками, причем генерал фон Гетцендорф

пришел к забавному выводу: «Русских победить невозможно, но и самим русским трудно стать победителями!» В этих сложных условиях Рэдль, расчетливый и хладнокровный, как хищник, работал с колоссальным усердием, заслуживая похвалы начальства (как в Вене, так и в Петербурге). Вскоре он прославился в венских военных кругах как ловкий «разоблачитель» русской агентуры. Стал полковником и был назначен помощником начальника разведотдела. Венская военная олигархия доверяла Рэдлю полностью, и вскоре для русских уже не было тайн австрийской армии. Рэдль брал из бюро секретные документы к себе на квартиру, ночью делал с них фотокопии, а утром бумаги снова лежали в запретном сейфе. На явочные адреса нейтральных государств почта доставляла пакеты с фотокопиями, их изымали русские агенты, а в Вену на вымышленное имя поступали денежные переводы. Рэдль жил широко и даже купил себе автомобиль, что по тем временам не каждый мог себе позволить...

Так тянулись годы. Согласно австрийским уставам каждый офицер Генштаба должен был время от времени стажироваться в войсках. Подошел срок и Рэдлю уйти из бюро — его отправили в Прагу, где сделали начальником штаба Австрийского корпуса. Но даже здесь он сохранил доступ к самой секретной документации. На своей холостяцкой квартире полковник оборудовал потаенную фотолабораторию, где по ночам продолжал щелкать «кодаком», печатая копии для России. Ничто не предвещало беды!

Настала весна 1913 года — Европа уже дышала порохом...

Второго апреля в «черном кабинете» императора Франца-Иосифа работали перлюстраторы, вскрывавшие подозрительные письма. В руках чиновника оказались сразу два конверта, на которых адрес был отстукан на пишущей машинке: Никону Ницетасу, до востребования. Судя по штампам, конверты отправлены со станции

Эйдукунен — на русско-германской границе. Подержав конверты над струей горячего пара, чиновник легко вскрыл их: в одном было 6000, в другом 8000 крон. Перлюстратор положил деньги перед начальником императорского «черного кабинета»:

— Вот четырнадцать тысяч и... никакой записки.

— Явный гонорар шпиону. Обратные адреса указаны?

— Да. Парижский и женеvский.

Последовал звонок в бюро агентуры Генштаба.

— Перешлите конверты нам, — приказали оттуда.

Проверка показала, что император Франц-Иосиф не имеет подданного с именем Никона Ницетаса. А так как отправной адрес был прусским, обратились за содействием к полковнику Николаи — главарю германского шпионажа. Тот позвонил из Берлина в Вену.

— Ищите у себя, — сказал он...

Гетцендорф переправил конверты обратно в «черный кабинет», где их исправно запечатали. После чего обычным почтовым порядком конверты с деньгами поступили на венский почтамт — в отдел выдачи писем до востребования. Чиновника отдела предупредили:

— Сейчас от вашего стола мы незаметно протянем электрический провод до полицейского участка, из окон которого виден вход в ваше помещение. В случае, если появится человек, желающий получить письма на имя Никона Ницетаса, вы обязаны нажать кнопку звонка... А больше вам знать ничего не следует!

Настал май, и май уже заканчивался. Второй месяц сидевшие возле окна сыщики не сводили глаз с дверей почтамта и ждали звонка. Но звонка не было! Сыщики стали относиться к дежурствам шалаяй-валяй. В Генштабе тоже разуверились, что таинственный Никон Ницетас явится за деньгами. Чиновник почтамта иногда поглядывал на кнопку звонка и скоро привык к ней... Лишь 24 мая, когда до за-

крытия почты оставались считанные минуты, перед окошечком «до востребования» появился долгожданный человек:

— Прошу выдать мне почту на имя Никона Ницетаса...

Это было так неожиданно, что чиновник сначала выдал ему два конверта и лишь потом вспомнил о кнопке. Весь в поту, он давил и давил на эту кнопку, но из полиции никто не являлся. Дело в том, что детективы разбрелись по комнатам — звонка не слышали. Когда же они прибежали, все было кончено: Никон Ницетас уже захлопнул дверцу такси — укатил прочь...

— Номер авто — девяносто три, — заметил один агент.

Опрос чиновника почтамта ничего не дал:

— Вы знаете, я так растерялся, что ничего не запомнил...

Историки, как и психологи, давно заметили, что в событиях человеческой жизни казус роковой случайности иногда играет большую роль. Детективы, упустив шпиона, в полной протрации блуждали перед почтамтом. Хорошо, если их понизят в должности, но могут вообще выкинуть со службы. Тогда набегаешься... В этот же момент, когда они уже поставили на себе крест, с легким шуршанием шин на площадь вкатилось венское такси.

— Девяносто три, — сразу опознали они машину...

Если сегодня кому-либо в мире и повезло, так это им!

— Кого сейчас вез? — набросились они на шофера.

— Не знаю. Но господин вполне приличный.

— Где ты его высадил?

— У отеля «Кломзер».

— Вези и нас. Туда же! Быстро...

На заднем сиденье такси они нашли забытый пассажиром чехол от перочинного ножичка. В вестибюле отеля допросили портье:

— Кто за последние полчаса возвращался в отель из города?

— Только полковник Рэдль, что вчера приехал из Праги.

Агенты переглянулись: опять неудача! Рэдль — слишком большая шишка в секретном бюро Генштаба, и он — вне подозрений. На всякий случай чехол от ножичка они передали портье:

— Мы постоим в сторонке, а вы, любезный, все-таки покажите его гостям отеля — может, кто и признается?

По мраморной лестнице, в элегантном смокинге, что-то мурлыкая себе под нос, уже спустился полковник Рэдль. В самом хорошем настроении! Он бросил ключ от своего номера на стол портье:

— Я буду в ресторане... вернусь поздно.

Портье с испуганным видом предъявил ему чехол:

— Простите, полковник, это случайно не...

На месте Рэдля любой разведчик мира должен был улыбнуться и ответить с безразличием: «Простите, не имею привычки иметь при себе перочинных ножей». Но Рэдль уже протянул к нему руку:

— Да, это м о й... спасибо вам.

Он уронил его в такси, когда с помощью ножа торопливо взрезал конверты с деньгами. Рэдль глянул на типов, что слонялись по вестибюлю, с нарочитым вниманием глаза по сторонам, и понял, что это конец... конец всему! Сразу сторбившись и старчески шаркая, он направился к выходу на улицу, уже не сомневаясь, что эти типы следуют за ним, наступая ему на пятки...

Один из детективов уже звонил по телефону в бюро.

— Это был полковник Рэдль, — сообщал он шепотом.

Австрийский Генштаб объял ужас! Гетцендорфа отыскиали в ресторане, где он со вкусом обсасывал фазанье крылышко.

— Деньги взял Рэдль, — сказали ему...

Начальник Генштаба машинально продолжал жевать.

— Что будет, если это дойдет до ушей старого императора? Нет, нет! Я не верю... Срочно пошлите на почтамт человека: нужно слить роспись получателя конвертов с почерком Рэдля.

С почтамта позвонили — почерк один и тот же!

— Катастрофа, — сказал фон Гетцендорф...

Рэдль все это время прилагал страшные усилия, чтобы оторваться от погони. В конце концов, еще не все потеряно. Деньги в кармане, а в гараже — мощный «Бенц», способный проломить радиатором любой пограничный шлагбаум... Полковник петлял в переулках, забегал в магазины, подолгу торчал в уборных, но, оглянувшись, каждый раз убеждался, что агенты прилипли к нему, как пластырь к больному месту. Их было двое! На глазах сыщиков полковник задержался возле мусорной урны и стал демонстративно рвать над нею бумаги. Это был страшный, но оправданный риск! Он рвал не просто бумажонки — он рвал свои шпионские донесения, приготовленные для отправки в Россию. Рэдль рассчитывал, что один из детективов останется разгребать урну, а второго сыщика он сможет оторваться... Это не удалось: погоня продолжалась!

Рэдль вдруг гибко переменял тактику. Он позвонил своему приятелю Виктору Полляку, который был генеральным прокурором в Верховном суде Австрии, и предложил — ему «посидеть вечеров» в ресторане. В данном случае он поступал как игрок, ставящий на банк свой последний грош... Заказав архиизысканный ужин, Рэдль пил старейшие ликеры мира, он поглощал самые пикантные закуски. При этом говорил Полляку, что давно страдает пороком, который обходится ему дорого, говорил о смятении чувств и надломленной психике... После ужина прокурор, мало что понявший, но встревоженный, позвонил Гайеру, бывшему в Вене начальником тайной

политической полиции. Гайер, продувная бестия, уже был в курсе измены Рэдля, но ответ дал, какой надо:

— Не знаю, что случилось с Рэдлем? Пускай выспится...

За полчаса до полуночи, подавленный и помятый, волоча за собой на хвосте сыщиков, Рэдль вернулся в «Кломзер».

— Номер убрали? — спросил он портье.

— Нет. Без вас никто не входил...

За отелем было установлено такое плотное слежение, что даже самый хитрый клоп, если бы он хотел выбраться на улицу, не мог бы этого сделать. Гетцендорф, растирая виски, сказал:

— Самое главное — не допустить огласки этого позора...

Ровно в полночь Рэдля навестили в номере два офицера.

Полковник Урбанский — начальник контрразведки.

Полковник Ронге — бывший заместитель Рэдля в бюро.

О чем они там беседовали, судить трудно. Урбанский позже писал, что Рэдль якобы сказал ему:

— Посезжайте в Прагу, там, на моей квартире, вы найдете обо мне все, что ищете, а говорить с вами я не желаю.

Ронге писал, что Рэдль будто бы заявил ему:

— Я могу рассказать все, но только одному тебе.

Это лишь версии. Очевидно, домыслы.

Ясно только одно:

— Дайте мне револьвер, — попросил Рэдль.

Но возможна и другая ситуация:

— Вот тебе револьвер, — сказали Рэдлю...

До пяти часов утра он не решался покончить с этой историей. Только на рассвете раздался приглушенный подушкой выстрел. В отеле «Кломзер» никто даже не проснулся... Урбанский выехал в Прагу, где на квартире Рэдля обнаружил фотолабораторию. Имущее-

ство самоубийцы было распродано с аукциона. Фотоаппарат купил один гимназист. Принес его домой и обнаружил в нем пленку. Он ее проявил, а там оказались фотоснимки с документов австрийского Генштаба. Об этом узнали газеты Праги и разболтали по всему миру. Промах Урбанского стоил ему карьеры. Опростоволосилось и австрийское телеграфное агентство: весь мир узнал, что Россия имела своего агента в самом центре немецкого империализма...

Русская разведка совершала немало ошибок, но имела и очень много заслуг перед родиной. У нас чаще пишут о ее недостатках, нежели о ее успехах. Это неправильно. Еще задолго до войны наши разведчики сумели раздобыть пресловутый «план Шлиффена» — план прорыва германских дивизий к Парижу через земли нейтральной Бельгии. Германия как зеницу ока берегла в недоступных местах три экземпляра «Приказаний на случай войны», подписанных лично кайзером. Русская разведка ухитрилась выкрасть один из этих трех экземпляров. За несколько часов до начала Первой мировой войны «под аркой» на Невском, в условиях сугубой секретности, был награжден высоким военным орденом российский офицер. Награжден за то, что он уже выиграл ту войну, которая завтра начнется! Подвиг его остался для общества неизвестен. Но это был самый крупный разведчик России. К сожалению, о нем почти ничего не узнать. Так, словно он навсегда засекречен. Известно лишь одно: когда он поворачивался в профиль, вы ясно видели — перед вами... Наполеон (столь разительно было сходство!).

А дело полковника Рэдля до сих пор привлекает к себе внимание историков и всех разведчиков мира. Рэдль работал на Россию целых одиннадцать лет. За такой срок можно продать не только планы своей армии, но и самого императора Франца-Иосифа, если

бы кто-либо в нем нуждался... Первое упоминание о деле Рэдля я встретил в русской печати 1915 года — в статье доцента Михаила Хохловкина, который в канун войны проживал в Вене, гневно бурлившей при известии о «предательстве в верхах». Хохловкин встречался с профессором русской истории Гансом Иберсбергером, проходившим научную стажировку в Московском университете на кафедре профессора Ключевского. Известный историк, он был и австрийским шпионом в России! В этом нельзя сомневаться. Иберсбергер был близок к генштабистским кругам Вены, и еще в феврале 1914 года, за полгода до «июльского кризиса», он сказал Хохловкину:

— Вы, как военнообязанный, возвращайтесь домой. Скоро будет война, и вы должны явиться в свой полк...

Иберсбергер говорил, что «Австрия после измены Рэдля могла очень легко пасть жертвой России, если бы Россия воспользовалась моментом». Это понятно: все военные планы Австрии были в русских руках. До сих пор в истории продолжается дискуссия на тему: много или мало выдал Рэдль секретов Австрии?

Э. Захариас, разведчик США, работавший против Японии, пишет: «В результате измены Рэдля шансы Австрии на успех в войне с Россией в 1914 году значительно снизились, так как не было возможности внести радикальные изменения в систему крепостей, на которой базировался австрийский план развертывания» (автором плана являлся генерал фон Гетцендорф). Захариас отчасти прав: Рэдля разоблачили в мае 1913 года, а в июле 1914 года уже вспыхнула война — времени у Вены не оставалось!

Австрийская армия сразу же напоролась на героический отпор сербского народа; успех сопротивления плохо вооруженной Сербии объясняется еще и тем, что планы Австрии против славян были

заранее переданы в Белград из Петербурга, а Петербург получил их от Рэдля. Быть может, и взятие нами крепости Перемышль и знаменитый Брусиловский прорыв тоже подготовлены на основе агентурных данных...

Вена поначалу, чтобы успокоить общественное мнение, утверждала, что Рэдль передал русским лишь мелочи. После поражения в войне (когда из «лоскутной» империи Габсбургов выделились самостоятельные государства — Венгрия и Чехословакия) реакционные силы Вены, дабы оправдать свое поражение, стали называть Рэдля «могильщиком великой и славной империи».

Истина лежит где-то посередине...

Но во всей этой истории есть один момент, крайне запутанный.

В номере отеля «Кломзер» полковники Урбанский и Ронге мило побеседовали с полковником Рэдлем.

После чего дали ему револьвер и оставили одного.

Тут можно развести руками — в полном недоумении!

Как же так? Схвачен крупнейший шпион России. Теперь бы, казалось, надо схватить его за глотку и трясти до тех пор, пока он не расскажет все, что знает о своих связях. Вместо этого ему желают остаться мужественным и удаляются, милостиво дозволив уйти не только от суда, но и от следствия.

Тут что-то не так!

А что не так?..

На этот вопрос ответить трудно. Можно лишь догадываться.

Очевидно, кому-то было нужно как можно скорее вложить револьвер в руки провалившегося агента.

З н а ч и т...

Уж не значит ли это, что в числе высших офицеров австрийской разведки был еще кто-то, работавший в пользу России?

Он и спешил устранить Рэдя как ненужного свидетеля!

А кто он был?..

Этого мы уже никогда не узнаем.

Но если это так, то можно лишь восхищаться оперативной точностью дальнобойной русской разведки!

Человек известных форм

Понятно, когда полководец, признанный народом, предстает перед нами при всех орденах. Зато страшно смотреть на разжиревшего борова, таскающего на себе пудовый иконостас из орденов, «заслуженных» на тучной ниве общенародного грабительства и рвачества. Не о таких ли вот пузырях, раздутых от непомерного чванства, еще в давние времена писал наш знаменитый историк князь Михаил Щербатов:

О муж почтенный, ты, украшенный звездами,
Подобно — как корабль обвешан лоскутами,
Скажи мне: для чего толико испещрен?
Созвездьем на тебя какой знак наложен?

Если уж мы решили поговорить о лихоимцах, то без экскурса в прошлое никак не обойтись. Наша великая литература перенасыщена фактами о взятках. Но я не знаю еще ни одного аспиранта-историка, который бы осмелился защищать диссертацию на тему о взяточничестве как социальном явлении. Если такой храбрец сыщется, я подскажу ему, с кого начинать и кем закончить.

Среди множества неистребимых лихоимцев бывшего меня больше всего поражает личность Константина Скальковского. Тайный советник, писатель и балетоман, он служил вице-директором горного

департамента. Приведу случай из его яркой биографии. Однажды к нему, изнывая от страха, явился проситель — сибирский золото-промышленник.

— Ваше превосходительство, не подумайте чего-либо худого. Я ведь не человек, а — могила. Даже родная жена не узнает...

После чего он выложил перед вице-директором двадцать тысяч рублей. Скальковский небрежно пересчитал деньги:

— Вот что, милейший! Добавь к этому тридцать тысяч, не только жене рассказывай, а можешь даже в газетах напечатать, что Скальковский брал, берет и будет брать...

Взяточничество на святой Руси имеет давнюю и, прямо скажем, богатую историю. В канун нашего века ноздрей клещами не рвали, посему чиновники, уличенные в лихоимстве, смело представляли перед судом:

— Так чего не брать, если сами дают? Я ведь не просил у них денег — они сами несли. Даже плакали, чтобы я взял... Ну как тут не пойти навстречу страдающему человеку?

— А воздерживаться пробовали? — спрашивали судьи.

— Так воздержись я, он ведь, сукин сын, лишнюю сотню доложит и выше меня полезет, а я в дураках останусь. Меня ведь даже подчиненные засмеют, я всякий авторитет потеряю!

Но сейчас, опережая защиту научных диссертаций, я спешу поведать читателю о столичном градоначальнике Николае Васильевиче Клейгельсе, который в многотомной летописи великороссийского казнокрадства занял самое почетное место.

Мне известны его великодушные изречения:

«Дамы и господа, вы сами знаете, что я человек известных форм, а посему советую... лучше молчать!»

Для вызревания Клейгельса история отвела ему конюшни. Признаем за истину, что наш герой сидел в седле идеально: его плечо, колено и носок сапога составляли одну отвесную линию. Он четко проделывал «рысь на пяточке» или «галоп на месте», к чему способен не каждый. Кроме того, Клейгельс смолоду проявил сочный и выразительный талант, каким славятся цыгане на лошадиных ярмарках. Клейгельсу ничего не стоило с большой выгодой для себя продать пару гнедых, давно пригодных лишь для производства мусульманских бифштеков.

Когда летом 1868 года юный Клейгельс появился в драгунах лейб-гвардии, все оценили его посадку и хороший «срыв» по сигналу стартера. Инспектор кавалерии, великий князь Николай Николаевич, алкоголик с большим и заслуженным стажем, тоже одобрил умение, с каким Клейгельс брал любые барьеры:

— Подстричь хвост, и можно в мой эскадрон... Фа!

В этом эскадроне, вращаясь среди титулованной знати, корнет Клейгельс не повысил интеллекта, зато возымел желание преуспеть в жизни, уповая на свою голенастую кобылу:

— Фа-фа-фа! Мою карьеру Глява далеко вынесет...

В ту пору он не думал еще о взятках, зато получал немало призов на знаменитых конкурсах в Михайловском манеже; там в ложах сидели красавицы столичного света, банкиры и адвокаты, балерины, бывшие на содержании немощных сенаторов, и упитанные «коты», бывшие на содержании балерин. По выстрелу стартера распахивались ворота падьока: галопируя на влажном песке, вылетал перед публикой Клейгельс, его пылкая Глява ни разу не помяла цветов у барьерной «корзинки», не задела копытом ни одного кирпича в только что сложенной «стенке». Оркестр гвардии исполнял праздничный туш, а дамы наводили лорнеты на победителя, слышался их говор:

— Опять этот душка Клейгельс! От такого кентавра, я уверена, не спастись никакой амазонке.

Все складывалось как нельзя лучше. А тут началась война на Балканах, и Клейгельс расценил ее как удачный повод для выдвижения. Свое геройство он проявил в должности конного ординарца великого князя Николая Николаевича, от которого получил первые ордена и чин ротмистра. Далек позади остались балканские кручи с их незабываемой Шипкой; перед усталой кавалерией блеснули синие воды Мраморного моря, и здесь великий князь отблагодарил своего ординарца:

— Чтобы тебе отличиться, езжай в Петербург с известием его величеству о благополучном исходе войны...

Естественно, такого посланца ожидала высокая награда. Клейгельс получил от царя золотое оружие «за храбрость», его грудь украсилась аксельбантом флигель-адъютанта.

— Спасибо Гляве, — сказал он. — Взяла барьер...

Время после войны было спекулятивное. Петербург лихорадило в припадках наживы и прибылей. Обыватели зорко следили за курсом акций, в захолустье провинции рождались и лопались банки, в Английском клубе аристократы играли, ставя на последнюю карту золото стаканами, кокетки брезгливо морщились при виде сотенной, ибо свои грациозные шалости оценивали гораздо выше, кучера и дворники сверяли номера лотерейных билетов с таблицами, а газетные репортеры подсчитывали гонорары согласно прейскуранту столичных происшествий:

— Карманная кража — гривенник, из блинной лавки стащили ушат с тестом — пятнадцать копеек, поджог квартиры с целью получения страховки — полтинник, драка в публичном доме — рубль, опоздание брандмайора на пожар по случаю именин... ладно, пусть

пяточок! Наконец, вчера престарелый бонвиван искушал на улице гимназистку — червонец, никак не меньше!

Столица развращалась, чтобы обогащаться, она же обогащалась, чтобы развращаться и дальше. Клейгельс размышлял:

— Где тот барьер, который надобно взять? Обидно, если другие раньше меня выйдут к призовому столбу...

Вскоре он занял место офицера для особых поручений при петербургском генерал-губернаторе и в 1882 году стал полковником. Николай Васильевич освоил солидность в поступках, жесты его сделались величавы, он холил седеющие бакенбарды, которые свисали со щек, словно две банные мочалки, и любую свою энциклику начинал обычно рефреном:

— Я достаточно известен как человек известных форм...

Было бы болото, а черти всегда найдутся. От орлиного взора Клейгельса не укрылось, что Акакии Акакиевичи в столичной канцелярии живут с бесподобной лихостью. Получая гроши жалованья, они хвастались лошадьми, у которых подковы отлиты из чистого серебра; даже мелкая чиновная тля, подшивающая входящие-исходящие, кутала плечи красавиц в роскошные манто. С чего бы такая роскошь? Клейгельс заметил, что чиновралы ретиво исполняли прошения, уголок которых чуть загнут, и они безжалостно откладывали «слезницы» без такого загиба. Сообразить нетрудно, что это потаенный сигнал: загнул проситель бумагу — даст, не загнул — дурак, жизни не знает...

— С одних орденов да аксельбантов много не наживешь, — здраво рассудил Клейгельс, — тут еще пособие нужно...

История забыла отметить торжественную дату, когда некто загнул для него уголок на прошении, а Клейгельс тот уголок распрямял. Но близость к генерал-губернатору делала его персону столь зна-

чительной, что не дать ему было никак нельзя. Стоило поужинать в ресторане и подняться из-за стола, как перед ним почтительно склонялся вышколенный метрдотель:

— Вы нечаянно обронили сто рублей.

— Врешь! — отвечал Клейгельс. — Я уронил сразу триста.

— Может, полтора? — намекал метрдотель.

— Согласен, что уронил двести...

Это был «десерт» его ужина. Клейгельс уже был женат на Телешевой, имел двух сыновей; жене он признавался, что в рамках «особых поручений» ему становится душно.

— Ты же, душечка, сама знаешь, что мне для успеха надобен весь город. Имей я власть над целым городом, можно на одних унитазах составить приличный капиталец. Если даже по копейке с унитаза, так подумай, сколько получится?

Жена впадала в истому райского блаженства.

— Ужас! — отвечала она, закатывая глаза.

Клейгельс подзывал сыновей, Алешеньку с Жоржиком, костяшками пальцев стучал по их черепам, словно проверяя их прочность, как на базаре проверяют целость горшков.

— В конце концов, — говорил он жене, словно извиняясь, — о детях тоже подумать надобно... Им еще жить и жить!

В 1887 году обнаружилась вакансия на пост варшавского обер-полицмейстера при тамошнем генерал-губернаторе Гурко, который был человеком честным, а роль «гешефтмахерши» при нем исполняла жена. Она же и подсказала мужу:

— Клейгельс и я берем на себя гигиену города...

Сколько там наворовал Клейгельс, этого я не выяснил, но доход с унитазов был ошутим. Журнал «Нива» заверял читателей, что в

«лице Н. В. Клейгельса Варшава получила деятельного администратора, который поставил на должную высоту санитарную часть города», за что и произведен в генерал-майоры...

Человек «известных форм» кормился от унитазов! Раздобрел. Напыжился. Бакенбарды стали еще длиннее...

— Моя Глява брала и не такие барьеры! — хвастал Клейгельс. — Вы же знаете, что я человек известных форм и дезинфекции всегда придавал философское значение... чтобы не пахло!

Все резолюции Клейгельса были однозначные по форме: «К исполнению» или еще проще: «Поступать по закону...»

Трудно вникнуть в психологию хапуги и взяточника.

Смею думать, что лихоимство (сиречь взяточничество) — это порождение бюрократии, а сама бюрократия — это каста, сознательно отгородившаяся от народа, который зависим от капризов канцелярий. Чиновник всегда ощущал свое превосходство перед жалким просителем, мнущимся на пороге его кабинета; убедить или разжалобить бюрократа нельзя, зато его всегда можно подкупить, и на взятку он идет охотно. Бюрократу наплевать на то, что будут писать о нем через сотню лет: ему важно урвать сегодня, проглотить кусок поскорее, пока его не схватили другие, более алчные и проворные. Наверное, психология казнокрада такова, что он верит в свою исключительность, ибо живет лучше других; хапуга не будет страдать о нуждах отечества, ибо все идеалы его кабинетного патриотизма легко умещаются в бумажнике. «Если взятка стала большой с и л о й, — думает рвач, — так зачем мне тратить силы на борьбу с ней? Не выгоднее ли самому примкнуть к этой силе?» Такова примерно паучья канва преступного мышления взяточников и мерзавцев, и по этой трясущейся паутине они иногда

вышивают золотом различные узоры, составленные из красивых слов о благородстве и величии гражданского подвига...

В 1894 году император Александр III скончался, и Клейгельс взял высокий барьер без сигнала стартера, сделавшись любовником Марии Федоровны... Чего не сделаешь ради успеха!

— Моя Глява брала и не такие барьеры, — говорил он.

Вступив на престол, Николай II заявил, что толки о народной свободе лишь «бессмысленные мечтания», но Клейгельс никогда и не витал в облаках (вспомним об унитазах). В столице повторяли слова профессора Безобразова, заключавшие его лекцию: «Кому в наше время открыты все дороги? Только холопам и подлецам...» Безобразова сослали, а холопы с подлецами теснее сомкнули ряды вокруг престола, и среди них развевались бакенбарды Клейгельса... Николай II жаловался:

— Когда мне докладывает Дурново, я все понимаю, зато сам Дурново ничего не понимает. Когда я выслушиваю Витте, я не понимаю его, зато он меня понимает. Когда делают доклады другие, ни я, ни они не понимаем, что творится... Один только Клейгельс прост и ясен, как деревянный чурбан!

— Наш государь разбирается в людях, — заметил Витте...

Это было время, когда в русском народе зрели надежды на близость революции, террористы убивали жандармов и губернаторов, все знали, что кричала жена Боголепова мужу, когда тот рискнул стать министром народного просвещения:

— Посмотри на себя! Ну какой из тебя министр? Да еще просвещения... Или тебе хочется подставлять свою б а ш к у?

Но Клейгельс не устрасился занять пост петербургского градоначальника. Первым делом он заказал для ношения под мунди-

ром пуленепробиваемый панцирь, а за башку не боялся — это не мишень! Секретарю Бутовскому он велел:

— При полиции следует завести особые курсы. Дворники столицы обязаны изучать приемы английского бокса.

— Зачем? — ошалел Бутовский.

— Дабы студенты боялись дворников... Также, — указал Клейгельс, — доведите до сведения воров-карманников, чтобы в толпе они смелее обшаривали карманы, нет ли у кого револьвера, а за верную службу разрешаю им красть сколько хотят.

Из воспоминаний очевидца: «В день коронации толпа помяла Клейгельса, ему пришлось снять фуражку, чтобы его не избили, во все последующие дни на улицах он не показывался». Но скоро выпал ему случай отличиться. Жена Николая II, будучи нелюдима, не пожелала видеть гостями сенаторов и министров. Уступая жене, царь велел правительственному синклиту укрыться в отдельной комнате. Но при этом сломался замок, двери не открывались, с девяти утра до трех пополудни весь кабинет великой империи сидел взаперти, как под арестом, истошно взывая о милосердии — по причинам не столько моральным, сколько чисто физиологическим. Во дворце появился Клейгельс:

— Слесаря вызывали?

— Так точно. Не нашли.

— Где же он?

— Жена плачет — опять запил...

— Посторонись! — велел Клейгельс. — Я человек известных форм и никакого формализма не потерплю...

Развеваясь бакенбардами и аксельбантом, он взял хороший разбег, как перед прыжком, всей массой упитанного тела хлестнулся в

двери, украшенные золотыми гирляндами и лепными амурчиками, прижавшими пальчики к губам...

Смело сокрушая дворцовые двери, Клейгельс боялся показываться на Обводном канале, где бастовала резиновая фабрика «Треугольник», рабочие которой забросали его блестящими га-лошами. В феврале 1899 года университет готовился праздновать свой юбилей: Клейгельс вывесил инструкцию — как вести себя, какие петь песни — и заранее развел мосты через Неву, чтобы студенты с Васильевского острова не могли выйти на Невский проспект. Этот юбилей был отмечен грандиозной дракой на Дворцовом мосту. Клейгельс пустил вперед конную жандармерию, студенты обнажили шпаги и тыкали в морды лошадям метлами, отнятыми у дворников. Царь с царицей наблюдали за побоищем из окон Зимнего дворца, до них долетали вопли городских и голоса студентов, распевавших в разгар драки старинную «Гаудеамус», зовущую к познанию наук. Столичное общество было возмущено таким проведением юбилея, даже Суворин ворчал, что свалка была не по правилам: против одного студента Клейгельс выставил пешего полицейского с нагайкой и конного жандарма с палашом. Клейгельс всюду оправдывался:

— Легко осуждать меня, вас бы всех на мое место! Меня рабочие га-лошами уже били, на базаре бабы в меня картошку кидали, а на мосту метлой попало... Я же и виноват!

Клейгельс всегда был туп, как бревно, но там, где дело касалось личной выгоды, его виртуозность становилась просто гениальна. Вдруг, ни с того ни с сего, последовал указ: все двери и вывески питейных переокрасить в зеленый цвет.

— Не исполнившие моего приказа будут оштрафованы...

Трактирщики нанимали маляров за большие деньги, но маляры говорили, что во всем Петербурге не стало зеленой краски (ее запасы Клейгельс заранее скупил через подставных лиц, торгуя краской только в тех лавках, доходы с которых поступали в его карман). Трактирщики втридорога платили, чтобы избавиться от штрафов, а Николай Васильевич подсчитывал выручку с «зеленого змия»... По столице ходили стихи:

Наш мудрый Клейгельс цвет зеленый возлюбил.
И говорит: «Не пить» — то утопия.
Теперь все до зеленого напьются змия...

Вскоре началась забастовка на Обуховском заводе, в голову полиции летели уже не галоши, а кирпичи и железяки. В таких случаях Клейгельс «заболевал» очень красивым недугом.

— Опять инфлюэнца, — вздыхал он...

В один из таких приступов страха он написал книжку «Приемы самообороны для полиции», весь тираж которой размакляли среди полицейских по изрядной цене. Кто не хотел ее покупать, тот терял надежды на повышение в чине, а подхалимы брали сразу по два-три экземпляра, говоря:

— С каким талантом, с каким блеском написано... Думаю, это лучше, нежели «Мертвые души» Гоголя!

Впрочем, когда по этой книжке стали изучать приемы самообороны, то многих списали по инвалидности: кто свернул шею, кто пошел на костылях, а кто остался без глаза...

Плеве терпеть не мог Клейгельса, открыто возвещая:

— Помилуйте, да это же типичный барышник.

Кажется, именно Плеве подвел Клейгельса под суд Сената: когда его стали уличать в превышении власти, Клейгельс не стал спорить, заявив, что выполнял указание свыше:

— В о т! — И показал перстом на портрет императора...

Страховое общество «Саламандра» отказалось страховать стекла в окнах квартиры Клейгельса на веском основании:

— Сегодня вы новые стекла вставите, а завтра все равно их булыжником с улицы высадят... Какой смысл для нас?

Плеве был министром внутренних дел, и Клейгельс его побаивался, ибо этот дремучий реакционер никогда не брал взятки. Между тем жена Клейгельса грезилась о парюре из бриллиантов, а сыновья вышли в офицеры и просили у папы денег.

— Мне на вас не напасть, — огрызнулся Клейгельс. — Вам сколько ни дай, все разматаете... А копить я должен?

Клейгельс вызвал к себе секретаря Бутовского:

— Митрий Леонидович, срочно ко мне Мосягина...

Алексей Мосягин был в Петербурге фигурой значительной, его фирма считалась главным поставщиком конины для татарских столовых. Клейгельс сразу ему в морду — бац.

— За что, ваше превосходительство? — завопил Мосягин, никак не ожидавший такого «здрасте».

— Это ты, сволочь, татар гнилою кониной кормишь?

— Никак нет, покупаю лошадей самых отличных.

— Где покупаешь?

— Известно где... Прямо с живодерни. Не скакунов же с ипподрома на котлеты переводить.

Клейгельс выложил перед Мосягиным гривенник.

— Покупаю, — заявил он.

— Что купить изволите? — обомлел Мосягин.

— Любую... хочу котлет из конины попробовать.

Мосягин привел ему старую клячу с выпавшими зубами. Клейгельс отвел ей почетное место на своей конюшне. После этого вышел грозный указ градоначальника, обращенный к владельцам самых

шикарных ресторанов Петербурга и ко всем владельцам кафешантанов, чтобы все заведения подобного рода закрывались в 11 часов вечера. Ужас объял рестораторов:

— Без ножа режет! Да ведь после одиннадцати часов у нас только и начинается самая гульба...

Попробовали сунуться к градоначальнику, но Клейгельс остался неприступным, как твердыня Порт-Артура (до его падения).

— Никаких поблажек не потерплю, — орал он. — Куда ни пойдешь, всюду пьяные рожи, разврат и святынь поругание... Не в ваших ли ресторанах пропивают казенные деньги? Разговор окончен. Борьба с пьянством началась по указанию свыше...

Настало страшное время: только разлетится гусарский поручик к Дону, но там швейцар не пускает:

— Без пяти одиннадцать — закрываемся...

Сунется гуляющий портной в кабак, а там:

— Нашел время пить... или газет не читаешь?

— Да мне бы стопочку — тока похмелиться.

— Завтрева приходи поране и пей, скока влезет.

— Господи, да живые вы али каменные?

— Живые, но указ вышел: к ночи быть трезвыми...

Скоро в ресторанах стал появляться ротмистр конной стражи Галле, который считался фаворитом Клейгельса еще по совместной службе в Варшаве. Владельцы заведений обласкивали его:

— Владислав Францевич, мы борьбу за трезвость всегда поддерживали, но... спасите нас! Воздействуйте на градоначальника, чтобы не грабил средь бела дня на большой дороге.

Галле сочувствовал, но тут же разводил руками:

— Я что, господа, могу поделывать? Понимаю, что ваши заведения работают в убыток, вы уже прогорели... понимаю. Но когда идет

война с пьянством, столь губительным для народа, мир между пьянством и трезвостью невозможен. Х о т я...

Рестораторы вытянули шеи из крахмальных воротничков.

— Хотя, — досказал Галле, равнодушно глядя в окно, — если нет всеобщего мира, то можно заключить мир сепаратный.

— Каким образом? Научите! Осчастливьте, голубчик.

Галле сказал доходчиво и ясно:

— Сами знаете, что у Николая Васильевича лучшая конюшня в столице, лошади как на подбор. Но все стойла заняты, одну лошадь он хотел бы продать. Кто из вас, господа, купит ее, тому, надеюсь, разрешим торговать вином до утра...

Намек сделан! Люди опытные, рестораторы не стали философствовать на эту тему и направились к дому градоначальника, чтобы купить «лишнюю» лошадь. Конечно, на этом свете она давно была лишней, и рестораторы сразу раскрывали бумажники, по-деловому спрашивая у ротмистра Галле:

— Сколько, Владислав Францевич?

— Пять «архиереев», — скромно отвечал Галле, держа под уздцы конягу, подслеповато щурившуюся на солнце.

Отсчитав по пять тысяч, покупатели говорили:

— Оставьте этого огненного рысака на память Клейгельсу, а мы уверены, что можем торговать до утра...

Но вот однажды пришел Умар Хасанович Карамышев, тоже владелец ресторана. Не глядя на лошадь, он долго торговался с Галле из-за каждого рубля, наконец отсчитал деньги и вдруг... вдруг потащил клячу за собой со двора.

— Ты куда ее? — оторопел Галле.

— Так я же купил, — отвечал Умар Хасанович. — Котлеты из нее не получатся. Но суп из костей сварить еще можно.

— Да ты с ума сошел! — растерялся Галле.

В самом деле, можно и растеряться: эту дохлятину еще не видели рестораторы от Кюба и Донона, обещавшие крупные барыши, а что им показывать, если этот Умар желает суп из костей варить... Мало того, он еще вступил в полемику.

— Это не я, а все вы с ума посходили, — сказал татарин. — Где это видано, чтобы я лошадь купил и обратно отдал.

Галле с руганью вернул ему обратно деньги:

— Только убирайся отсюда подобру-поздорову...

Скоро жена Клейгельса танцевала на балах в Зимнем дворце, блистая крупными бриллиантами. Клейгельс процветал.

Клейгельс процветал, и не было такого преступления в Петербурге, в котором бы он не был замешан. Скамья свидетелей не раз грозила ему обернуться скамьей подсудимых. Но прокуроры, взывающие с трибуны к правосудию, боялись затронуть Клейгельса, и великолепная Фемида каждый раз отступала в тень, жалобно стоная, как побитая собачонка.

На суде Клейгельс держался наивным скромником.

— Господа, — взывал он к судьям, — вы же знаете меня за человека известных форм, всю жизнь исполняющего законы...

Но скоро случилось невероятное: с Невы пропал пароход типа «речной трамвай», на котором петербуржцы катались на невские острова, ездили отдыхать на дачах в Мартышкино, на променады в Ораниенбаум. Сначала пропажу восприняли с юмором: наверное, капитан «трамвая» выпил лишку и загнал свой пароход в Ладожское озеро или в финские шхеры. Этой пропажей заинтересовался сам император Николай II:

— Не иголка же! Куда мог деться пароход, если все соседние державы подтвердили, что он не появлялся в их гаванях.

— Ваше величество, — почувственно отвечал Клейгельс, — это темное дело прошу доверить мне...

Вражда с Плеве не прекращалась, и быть бы Клейгельсу под судом или в отставке, но градоначальника выручил Евно Азеф: он рванул Плеве бомбой вместе с его коляской, и Клейгельс перекрестился:

— Так ему и надо. Сам не жил и другим не давал...

Но еще до убийства на Клейгельса свалилась целая лавина чинов и наград: в чине генерал-лейтенанта он был возведен в генерал-адъютанты царя. Наконец, его назначили в Киев — генерал-губернатором киевским, волынским и подольским.

Прощаясь с Клейгельсом, царь вспомнил:

— Все-таки куда же делся пропавший пароход?

— Ума не приложу, ваше величество.

— Странные дела творятся на Руси, — призадумался царь.

— Даже очень странные, — согласился Клейгельс...

Как и все жулики, Клейгельс был дальновиден. Приближение революции он ощутил заранее, как животные ощущают близость грозы — шкурой. Понимая, что она сметет его, словно мусор, Клейгельс уже не думал о спасении царя и отечества, а помышлял едино лишь о личном благополучии. Заняв пустующий в Киеве дворец, он сразу смекнул, что тут пожива богатая. Хотя дворец со всем его драгоценным убранством принадлежал казне, это никак не охладило служебного рвения Клейгельса.

— Отвинчивай люстры, — повелел он прислуге. — Ручки от дверей и окон тоже открутить. Ширмы снимайте с окон, ковры со стен скручивайте в рулоны. Какой замечательный паркет! — восхи-

тился он. — Выбить все плашки, да осторожнее... О-о, и оранжереи! Красота... все растения придется пересадить!

Под сурдинку он распускал в городе слухи, что Киевское генерал-губернаторство скоро будет переименовано в «Киевский край». Выпросив у казны шестьдесят тысяч рублей, он объяснял свою просьбу необходимостью пошива новых скатертей и постельных покровов. Все новое белье он хотел видеть обязательно с метками «Н. К.», что означало «начальник края».

Как только гроыхнуло первыми раскатами грома революции, Клейгельс со всем добром бежал в свои имения и там затих, будто его никогда и не было на свете. Вот этого царь ему не простил: Клейгельс, как негодный товар, был изъят из обращения и сдан на догнивание в обширном складе отставных военных, опозоренных во время революции или в поспешном бегстве на полях Маньчжурии... Клейгельса быстро забыли.

Наверное, никто бы и не вспомнил Николая Васильевича с его «известными формами», если бы в Киев не нагрянула ревизия сенатора Евгения Федоровича Турау. Прибыв в Киев, сенатор остановился во дворце генерал-губернатора и тут едва пришел в себя от увиденной картины беспощадного разгрома.

— Сразу видно, что местные революционеры не пощадили даже бывлой красоты интерьеров... Боже, какое запустение!

Но ему сказали, что революция не коснулась дворца: здесь похозяйничал Клейгельс с женою. Турау ужинал во дворце, как в сарае, кушая с тарелок, взятых из трактира, а дворцовое серебро, как ему объяснили, исчезло вместе с Клейгельсом. Евгений Федорович долго взирал на потолок, из которого торчал ржавый крючок, пригодный для казни через повешение.

— А где же все люстры? — спросил он лакея.

— Когда-то были люстры... чистый хрусталь!

Турау нагрянул в имение Клейгельса, расположившееся на берегу поэтического озера. Пройдя в аванзалу, он невольно зажмурился от ослепительного сияния хрустальных люстр. Расторопные лакеи подали ему ужин на посуде старинного серебра. Из оранжереи доносило ароматы тропических растений, когда-то наполнявших благовонием киевский дворец генерал-губернатора.

Утром сенатор учинил допрос хозяину имения:

— Вами взяты шестьдесят тысяч казенных рублей на пошив постельного и столового белья... По моим подсчетам, шитье обошлось только в тридцать, а где же еще тридцать тысяч?

Клейгельс отвечал не моргнув глазом:

— Они ушли на нужды, известные лично императору.

— Верните в казну казенное белье.

Клейгельс не поленился развернуть простыню.

— Пожалуйста! — пояснил он с усмешкою. — Всюду вы можете видеть отметки «Н. К.», что означает «Николай Клейгельс»... Что вам еще угодно, господин ревизор?

Вдали слышался гудок пароходной сирены: по озерной глади спешил «речной трамвай», когда-то бесследно исчезнувший из списков Невского пароходства. Турау сказал:

— У меня к вам никаких вопросов более не имеется...

Обо всем виденном он рассказал царю, доказывая, что генерал-лейтенант Н. В. Клейгельс достоин суда и сурового приговора за крупные расхищения. Конечно, Николай II мог бы потребовать от Клейгельса и его наследников, чтобы они вернули в казну все награбленное, но царь этого не сделал.

— Лучше молчать, — сказал он. — Уж если в России так воруют, значит, мы не бедные... у нас есть что воровать!

Летом 1916 года русская печать известила читателей, что в финском санатории Рауха скончался от паралича сердца Н.В. Клейгельс, находившийся не у дел. Шла жестокая война с Германией, до революции оставался один год, и русская общественность даже не заметила газетных некрологов. Судьба всех подлецов и воров одинакова: как бы высоко они ни забрались, все равно повергаются в могилу и забываются так скоро, словно их никогда и не было на вершинах власти, даже бывшие друзья и соратники делают вид, что таких гадов не помнят.

Начав с истории, я историей и закончу. Еще Геродот писал о мудром царе Камбизе, который с берущих взятки сдираал шкуру, чтобы шкурами взяточников обтягивать судейские кресла; на таких вот седалищах, покрытых шкурами предшественников, судьи о взятках уже не думали... На Руси дающий взятку назывался лиходеем, а берущий от него — лихоимцем. При Иване Грозном расправа была короткая: «Обыщется то в правду, что он посулы взял, тогда да вкинуть в тюрьму». В XVII столетии взяточник обязан был вернуть взятое в казну, но уже в тройном размере. При Петре I делали еще проще: рубили голову, семью ссылали в Азов или Воронеж, а имущество конфисковывали.

Но со временем законы становились все изощреннее, затемняя вопрос о наказании взяточников, и ко времени революции 1917 года русские суды совсем устранили из Уголовного кодекса это слово — «взятка», заменяя его словом «порядок» или «подношение», а взятокбравцев именовали «мздоимцами».

Карающая секира блаженно повисла в воздухе...

Был город, которого не было

У стола прокурора — еще один свидетель:

— Как сейчас вижу — лежит голая мертвая женщина. Груды и правая рука у нее отрублены. Левый глаз вынут заостренной палкой. Палка с этим же глазом воткнута в землю. Недалеко от убитой всажен кол в землю. На колу — грудной младенец. Из рта младенца торчит грудь, отрубленная у его матери.

— Свидетельница Петрова, подойдите к столу. Отвечайте.

— ... девочка была еще жива. Один глаз ей вырезали. На одной щеке срезана лентой кожа. На руке пальцы отрублены. Правая нога завернута назад и привязана к спине лентой кожи, срезанной со щеки. Конец этой ленты прибит гвоздем к кости... А сама девочка, вы не поверите, была еще жива!

— Свидетель Пастухов, вы были в красных партизанах?

— Да, был. У нас в отряде много народу умерло.

— Свидетель, отчего они умерли?

— От этого.

— Отчего от «этого»? Выразайтесь яснее.

— Умерли от ужасов, которые они там видели...

— Свидетельница Анисова приехала из деревни?

— Здеся... Они всех изрубили! Насиловали с десятилетних и кончая старухами. Мужу моему отрезали нос, вырвали язык, а глаза выжгли раскаленным шомполом. Разве это забудешь?

— Свидетельница, знаете ли вы атамана в лицо?

— А как же! Вон он сидит... в серой сатиновой рубашке. Я видела его, когда он к нам на село в церковь приезжал.

— Что он там делал, в церкви, свидетельница?

— А ничего не делал. Только сказал потом, чтобы мы принесли жареных куриц и угощали его адъютантов.

— Благодарю. Вы свободны, свидетельница...

Шел народный суд. Судили черного атамана Б. В. Анненкова и его начштаба генерал-майора Н. А. Денисова — люди они были еще молодые и внешне вполне приличные, даже высокообразованные.

Процесс проходил в 1927 году в городе Семипалатинске, в столице дикого степного раздолья. За сотни верст шли по доброй воле свидетели. Толпами двигались из деревень, чтобы посмотреть на легендарного «зверя». Театр имени Луначарского не мог вместить всех людей, и многие свидетели ждали вызова в суд на улице. Вся наша страна следила за этим процессом, газеты публиковали подробные стенограммы речей. На митингах люди требовали для Анненкова самой лютой казни — без суда и следствия.

Прокурор сам поседел от ужаса, пока вел этот процесс.

— Свидетель Сидоркин, вы служили в банде Анненкова?

— Это уж так. Точно. Пострадал.

— Обнажите свою грудь...

На груди бандита — выжженное каленым железом тавро: череп под крестом, скрещение двух костей и множество змей-гадюк, которые, расплзаясь по телу, опутывают мрачную эмблему атамана.

— Застегнитесь. Вы тоже участвовали в убийствах?

— Уже помилован... мне амнистия выпала.

— Не об этом спрашивают. Отвечайте по существу.

— Ну, приходилось. Может, кого и убил — не помню.

— Свидетель Сидоркин, — велел прокурор, — расскажите подробнее об отступлении отряда Анненкова в Китай...

И вдруг атаман Анненков гортанно выкрикнул одно слово.

Не русское! Скорее всего, восточное слово.

Одно лишь слово — никому в суде непонятное.

Свидетель сжался, будто его огрели дубиной по затылку.

Прокурор обратился к подсудимому атаману:

— Повторите, что вы сейчас сказали свидетелю.

Загадочная улыбка выгнула тонкие губы атамана.

— Свидетель Сидоркин, что вам сейчас сказал подсудимый?

Но одного слова атамана оказалось достаточно, чтобы свидетель онемел. Анненков снова превратил его в своего сообщника!

...Недавно в Новосибирске вышла интересная брошюра В. Шалагинова о конце черного атамана. Автор, еще молодым студентом, видел Анненкова на суде. Он перелистал шесть томов допросов, решив выяснить: какое же слово произнес тогда атаман? Конечно, протоколы суда его не зафиксировали. Анненков свободно владел французским, английским, китайским, монгольским и разговорными наречиями Туркестана. Первые два языка отпадают. Вряд ли слово китайское. Может, жаргонное? Шалагинов пришел к мысли, что это страшное слово может быть только местного происхождения.

И он нашел это слово — вот оно:

— К а р а г а ч!

Да, именно это слово и выкрикнул на суде черный атаман. Шалагинов стал выяснять смысл этого слова и узнал, что так назывался город, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.

А между тем он... был! Все-таки был он, проклятый!

Банда атамана Анненкова началась с 24 сабель, а затем превратилась в корпус всадников... Под напором Красной Армии она откатывалась прочь, оставляя после себя смрадные изувеченные трупы, дымя на бивуаках гашишем и опиумом, пьяно отрыгивала атаманщина злющей маньчжурской «ханшей». В составе банды числились: табун скаковых лошадей атамана, парикмахерская

атамана, гардероб атамана, утонченная кухня атамана, телохранители атамана, хор песенников атамана, оркестр народных инструментов атамана и личный зверинец атамана, в котором — лучше людей — уживались волки, медведи и лисицы. Был еще шут (точнее — рассказчик анекдотов). Надо всем этим табором реяло мертвенно-черное знамя с черепом и костями, поверх которого белели слова: С НАМИ БОГ И АТАМАН. Шевроны, вензеля, аксельбанты, бранденбуры — ими, сложно и вычурно, переплетались рубахи всадников.

Наконец, эта орава докатилась до той незримой черты, за которой Россия кончалась навсегда. Здесь, на рубеже Китая, атаман Анненков велел зачитать манифест, обращенный к армии:

«Славные бойцы, два с половиною года мы с вами дрались против большевиков... Теперь мы уходим вот в эти неприступные горы и будем жить в них до тех пор, пока вновь не настанет время действовать... Слабым духом и здоровьем там не место! Кто хочет оставаться у большевиков — оставайтесь. Не бойтесь. Будете ждать нашего возвращения... Думайте и решайтесь сейчас же».

После этого команда — спешиться, оружие класть на землю.

А когда приказ исполнили, Анненков повелел:

— Всем отойти от оружия на шестьсот шагов...

Между рядами людей и брошенного ими оружия встала, цикая плевками, шеренга телохранителей атамана в черных рубахах.

Анненков, стоя в стороне, ждал, когда люди примут решение.

Одни подходили к нему и целовали стремя его коня:

— Мы с тобой, атаман... возврата нет!

Но их было мало, а большая часть отряда покинула его:

— Прости, атаман, но мы останемся на родине...

— Хорошо, — сказал атаман, щурясь из-под челки на яростный блеск подталых снегов в горах. — Повоевали, попили, погуляли... расстанемся по-доброму, как друзья. Я не сержусь. Я знал, что такие сыщутся. И заранее все приготовил. Сейчас вы пойдете в город Карагач, где вас ждут подводы и запасы провианта.

Армия Анненкова разошлась в разные стороны, как два враждующих корабля. Атаман ушел в Китай, другие потянулись обратно в Семиречье, где киргизы из Алаш-орды сопровождали их в загадочный Карагач... Шли семейные офицеры, шли казаки с женами и детьми. Следы людей быстро заносило песчаными вихрями.

Сам же Анненков, скатившись с гор, клином врезался в территорию «Поднебесной империи», а когда перед ним встала, бравируя количеством, китайская армия, атаман разбил ее в клочья, так что от китайцев ничего не осталось. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Китайским властям все же удалось арестовать атамана: три года Анненков провел в заточении, откуда его выпустили по настоянию англичан. Выйдя из тюрьмы, он стал в китайском обществе желанной особой — за ним ухаживал сам Чжан Цзо Лин, вокруг атамана на цыпочках ходили консулы — французский и китайский. Анненкова стали прочить в главнокомандующие всеми боевыми силами на Дальнем Востоке:

— Вот фигура! Крепкая, как монолит, безо всяких компромиссов с совестью. И, заметьте, сэр, совсем не сентиментален...

Но «монолит» неожиданно дал трещину. Анненков не принимал никаких предложений — ни от Китая, ни от Европы, ни от своих собратьев по движению. Все эти годы он внимательно, с завидною усидчивостью следил за укреплением в мире авторитета СССР.

В 1926 году наш пограничник, стоя на часах, увидел, как две фигуры стараются пересечь рубеж. Щелкнул затвор винтовки:

— Стой, кто идет? Стрелять буду.

— Да не пугай, мы уже пуганые, — ответили ему. — Идет домой черный атаман Анненков... Слышал такого?

— А с тобой кто крадется?

— Мой начштаба — генерал Колька Денисов.

Дерзким возвращением на родину потомок декабриста Анненкова доказал, что он человек мужественных решений. Конечно, при первом же допросе был задан деликатный вопрос:

— Борис Владимирович, как вы могли решиться? Вы же весь в крови замученных людей. На что вы надеялись, переходя границу? Ведь мы вас миловать не собираемся.

— Я это знаю, — отвечал Анненков, и в показаниях ОГПУ написал следующее: «Белое движение немыслимо и не нужно... Советская власть признана всеми народами Советского Союза, и при полной поддержке создается сильное государство». — Потому я и пришел, — сказал атаман, — что не хочу больше бороться с вами. Нет, я не устал, я понял! Учтите, что я вернулся добровольно и сейчас твердо стою на платформе советской власти...

А когда в Семипалатинске его вели в здание суда, он с ухмылкой читал лозунги на красном коленкоре, которые держали на древках жители степей: «СМЕРТЬ ЧЕРНОМУ АТАМАНУ!»

Суд продолжался. Дело разбухало от крови.

Все было ясно, и вдруг... гортанный выкрик атамана:

— К а р а г а ч!

— Свидетель, что сказал вам сейчас подсудимый?

— Не знаю я... ничего не слышал... отпустите с богом!

Постепенно суд выяснил, что единства в армии Анненкова не было. Среди головорезов находились и такие, что были неспособны

служить с атаманом по чувству... совести! Иногда злостные враги советской власти соглашались сдать красным, лишь бы не участвовать в страшных изуверствах, когда под пение молитвы насиловали женщин, когда пьянствовали, сажая трупы убитых попеременно с их же убийцами, и бандиты обнимали трупы, дружески уговаривая мертвецов выпить с ними за компанию.

В мучительстве всегда есть ненормальность, и здоровый человек органически протестует против насилия... Ярушинская бригада Семиреченской армии Анненкова, устав от крови, однажды взбунтовалась. Анненков послал на усмирение свой китайский полк, и в непроходимых алакульских камышах китайцы вырезали бунтовщиков.

Цифра всех убитых Анненковым вообще не поддавалась учету. Никак не давалась суду и цифра уничтоженных атаманом своих же «братьев-атаманцев». Засыпанные песками трупы «выпадали» из портфелей следствия, чем ловко пользовались ухищренные адвокаты. Анненков вывел на рубеж 18 000 человек из состава своей армии. Естественный вопрос: куда же делись остальные? Их не могли найти. Степные ветры глушили голоса сгинувших в безвестности...

Их так бы и не нашли никогда, если бы не случайность. Во время процесса с китайской стороны в область Семиречья въехал советский консул. Его сопровождали в автомобильной поездке: начальник погранзаставы, секретарь Фурманова и шофер. Не доехав до озера Ала-Куль, все вышли из машины.

— Кажется, это они, — сказал консул, мрачней...

Перед взорами путников открылась долина, в которой лежали пять гигантских могил, одна из которых уже была вскрыта кочев-

никами, доверху наполненная перемешанными костями. Здесь и покоились анненковцы, покинувшие атамана в каменных воротах Джангара и повернувшие от рубежа назад — на родину!

Так отыскался Карагач — город, которого никогда не было.

Люди в надежде шли в этот город, а увидели могилы, заранее для них выкопанные. Здесь все уже было приготовлено для их массового уничтожения... И атаман Анненков точно рассчитал удар по свидетелю, когда убил его лишь одним словом:

— Карагач! — Очевидно, атаман знал свидетеля как участника этой дикой расправы, и тот сразу онемел...

«КАРАГАЧ» — вот последнее слово подсудимого.

Выездная сессия Верховного суда СССР обвиняла Анненкова не только в убийстве крестьян и коммунистов — его судили и за убийство большей части своего же отряда.

Государственный обвинитель сказал:

— Мы судим Анненкова не за убеждения... не за монархизм в мыслях, платонический и мечтательный. Мы судим его за монархизм, конкретно проявленный в действиях!

Новосибирские адвокаты с большим умением, иногда блистая старомодным остроумием, защищали Анненкова и его начштаба Денисова. Атаман еще до революции получил по суду год и четыре месяца тюрьмы за отказ вывести свою часть на расстрел восставших — один плюс. Атаман не сразу поднял черное знамя, а пришел с фронта в Сибирь под красным знаменем — второй плюс. Атаман добровольно сдался ОПТУ и, как сам удостоверяет, сейчас находится на «платформе» советской власти — третий плюс...

Но тяжесть преступлений против народа была столь велика, что приговор мог быть очень краток — п у л я!

В те годы кинематография по свежим следам событий отсняла фильм «Анненковщина» — получилась добротная, насыщенная трагизмом лента, и жаль, что наше поколение не видело этого фильма. Дети до шестнадцати лет, конечно, на просмотр «Анненковщины» не допускались. Я посмотрел его в тринадцать лет, в заблокированном Ленинграде, когда все возрастные понятия были резко смещены в сторону смерти...

В сибирских степях анненковщину еще помнят.

Да и разве можно забыть?

СОДЕРЖАНИЕ

Быть тебе Остроградским!	5
Двое из одной деревни	21
«Ошибка» доктора Боткина	35
Ртутный король России	54
Последние из Ягеллонов	76
Под золотым дождем	88
Славное имя — «Берегиня»	102
Маланьина свадьба	114
Коринна в России	124
Что держала в руке Венера	138
Наша милая, милая Уленька.....	150
Удаляющаяся с бала.....	165
Посмертное издание	179
Душистая симфония жизни	192
Дама из «Готского альманаха».....	210
Портрет из Русского музея.....	223
Реквием последней любви	233
Букет для Аделины	253
«Радуйся, благодатная...»	266
В стороне от большого света	279
Зина — дочь барабанщика	290
Закройных дел мастерица!	306
Желтухинская республика.....	314
Ужин у директора государственного банка	328
Шарман, шарман, шарман!.....	339
Быть главным на ярмарке.....	345
Ничего, синьор, ничего, синьорита!.....	359
Выстрел в отеле «Кломзер»	371
Человек известных форм.....	387
Был город, которого не было.....	406

Литературно-художественное издание

Полное собрание сочинений

Пикуль Валентин Саввич

**РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ
(МИНИАТЮРЫ)**

Выпускающий редактор *В.И. Кичин*

Верстка *И.В. Хренов*

Корректор *Н.К. Киселева*

Оформление обложки *Е.А. Забелина*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 24.07.2015. Формат 84 × 108 ½
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага газетная.

Печ. л 13 Тираж 5000 экз Заказ №11124.

ООО «Имидж Принт»

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129.

Отпечатано в ООО «Тульская типография».

300026, г. Тула, пр. Ленина, 109.



Исторические миниатюры Валентина Пикуля — уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества». Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею блистательных портретов женщин и других колоритных личностей, оставивших свой след в истории XVI — начала XX в.



ISBN 978-5-4444-2987-7



9 785444 429877

